ДѢЛА И ЛЮДИ ВѢКА.

ОТРЫВКИ ИЗЪ СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ, СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ.

П. К. МАРТЬЯНОВА.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1893.


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Мартьянов Петр Кузьмич (1827–1899) — русский литератор, известный своими работами о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова и публикациями записок и воспоминаний в литературных журналах. «Дела и люди века» — самое полное издание записей Мартьянова. Разрозненные мемуарные материалы из «Древней и Новой России», «Исторического Вестника», «Нивы» и других журналов собраны воедино, дополнены недостающими фрагментами, логически разбиты на воспоминания о литературных встречах, политических событиях, беседах с крупнейшими деятелями эпохи.

Издание 1893 года, текст приведён к современной орфографии.

- Петр Мартьянов
  - От автора
  - Дитя и поэт А. С. Пушкин
  - Панихида по А. С. Пушкину
  - Москва в сентябре месяце 1839 г.
  - Назаровы и Т. Н. Грановский
  - Сюжет песни о купце Калашникове
  - Обер-полицмейстер Цынский
  - Как Мина попала в фавор
  - Архиерейский прием
  - Как определяли в учебные заведения
  - Как определялись на должности
  - «Блудный Булавин»
  - Один из «отцов-командиров»
  - Наши администраторы
  - Ретивый инспектор
  - Суворов в ссылке
  - Император Александр Первый и обер-вагенмейстер Соломка
  - «Скифы»
  - Изумительные цифры
  - Император Николай I и генерал Пенхержевский
  - Император Николай I и пажи
  - Императрица Александра Феодоровна и смолянки
  - Николай I в 5 московской гимназии
  - Декабрист Тизенгаузен
  - Митрополит Филарет и ротмистр Соломка
  - Великий князь Михаил Павлович и отставной солдат

- Император Николай I и французы
- Кадеты в Александрии
- Великий князь Михаил Павлович в новгородских поселениях
- Борщов и медвежонок
- Отверженцы и отщепенцы общества
- Резолюции императора Александра II
- Генерал Клугин
- Генерал Рамзай
- Граф М. Ю. Виельгорский
- Генерал Бурмейстер
- Гвардейцы в Калише
- Нилус
- Бодиско
- Лазаревич
- Статс-секретарь А. Д. Комовский
- Последняя эмиграция татар из Крыма в 1874 году
- Три встречи
  - I. Встреча А. С. Пушкина с А. А. Бестужевым на Кавказе
  - II. Встреча И. С. Тургенева с Д. И. Писаревым
  - III. Встреча А. Ф. Писемского с «самоуправцами»
- М. Н. Глинка у графа Виельгорского
- Мои литературные знакомства. Год 1865
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
- Полковые офицерские библиотеки
- Как погибли мои «Беседы»
- Три дня в Севастополе
- Князь А. Дадиан, флигель-адъютант императора Николая I
- Николай I на саперных работах
- Император Николай I в адмиралтействе
- Кадеты морского корпуса в Александрии
- Великий князь Михаил Павлович и подпоручик Симанский
- Великий князь Михаил Павлович и коннопионеры
- Генерал Дрентельн
- Генерал, граф Никитин

- Генерал, граф Евдокимов
- Генерал Мещеринов и полковник Кюхельбекер
- Директор полиции исполнительной Оржевский
- Министр финансов Канкрин
- А. Н. Муравьев
- Генерал, граф Тотлебен
- Статс-секретарь Панютин
- Генерал Шлосман
- Генерал Алопеус

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34

- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51

Петр Мартьянов
Дела и люди века
Отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки
Том первый

От автора



Давно, очень давно, чуть еще не с первых дней юности, я стал записывать для памяти: что видели очи, что слышали уши, что чуяло сердце. Но это не был, строго говоря, дневник или мемуары, куда заносилось изо дня в день, точно и пунктуально, всё виденное, слышанное или перечувствованное, — нет! Это были одиночные листы, листики и листочки, или же небольшие тетрадки, где, по мере возможности, иногда подробно, иногда вкратце и сокращенным способом, записывалось всё, что поражало взор, мысль или сердце. Конечно, с течением времени, этих листов, листиков, листочков и тетрадок накопился целый ворох, уберечь который оказалось более трудным, чем накопить. Походы, передвижения, служба, не могли не повлиять на утрату некоторых бумаг. Но тем не менее большинство их, т. е., добрая половина, сохранилась и, по надлежащем разборе и рассмотрении, оказывается составляющей нечто интересное по отношению некоторых исторических событий, или же общественной деятельности, домашней жизни и чудачеств более или менее известных лиц прошлого времени. Два-три очерка, два-три отдельных эпизода из спасенного вороха бумаг, названного мною для однообразия: «Старой записной книжкой», появлялись уже в печати, а именно: в журналах «Военный Сборник», «Всемирный Труд», «Древняя и Новая Россия» и «Исторический Вестник», и газетах «Эхо» и «Свет». Масса отдельных мыслей, слов и изречений извлечена из «Книжки» и составила особое двухтомное издание, под заглавием: «Умные речи, красные слова великих и невеликих людей». Некоторые тетрадки, касающиеся близко стоящих к нам лиц и событий, не могут еще появиться в печати, по крайней мере в настоящее время. Но есть много материала, который должен увидеть свет. Отлагать появление этого материала в печати — не следует: время бежит, и завтрашний день в руде Божией. Пока есть силы и

возможность, я считаю себя обязанным привести в порядок те накопившиеся у меня бумаги, которые имеют какой-нибудь общественный интерес, и, разделив на несколько выпусков, приступить к их печатанию. На первый раз я полагаю ограничиться выпуском в свет двух томов, а остальные будут издаваться впоследствии частями, по мере изыскания потребных для того средств. В первые два тома войдут отрывки из старой записной книжки, статьи и заметки, появлявшиеся уже в печати и только немногие из вновь подготовленных, как, наприм.: «Литературные встречи и знакомства», «Рассказы о днях минувших» и проч.

Предназначенные к помещению в первые два тома статьи, сведения и заметки о лицах и событиях, имеют вполне историческую достоверность, так как записаны мною как участником и очевидцем их, или же со слов лиц, тоже лично участвовавших в событиях, или стоявших близко к ним. В видах же удостоверения сего последнего, считаю нужным пояснить здесь, что статьи: «Александр I и обер-вагенмейстер Соломка», «Скифы», «Митрополит Филарет и штаб-ротмистр Соломка», «Император Николай I и пажи» и «Ретивый инспектор», записаны со слов генерал-майора Сергея Афанасьевича Соломки, сына обер-вагенмейстера Соломки и личного участника трех последних событий. Им же сообщен и рассказ об А. Н. Муравьеве, случившийся во время посещения им тюрьмы по званию чиновника для поручений бывшего с.-петербургского военного губернатора, князя Суворова. Статьи: «Николай Павлович в адмиралтействе» и «Великий князь Михаил Павлович и подпоручик Синайский» переданы генерал-майором Василием Борисовичем Албенским, участником первого события и другом г. Синайского. Статьи: «Император Николай I в 5 московской гимназии», «Император Николай I на саперных работах», «Генерал Рамзай» и «Кадеты в Александрии», сообщены генерал-лейтенантом Александром Дмитриевичем Симановским, личным свидетелем событий. Рассказы «Великий князь Михаил Павлович в новгородских поселениях», «Как определялись в учебные заведения», «Как определялись на должности», «Генерал, граф Никитин», «Бодиско» и «Лазаревич», записаны со слов действительного статского советника Дмитрия Андреевича Иванова, участника и свидетеля событий. «Встреча А. С. Пушкина с А. А. Бестужевым на Кавказе» передана сенатором, статс-секретарем Александром Дмитриевичем Комовским, который, как бывший секретарь графа М. Ю. Виельгорского, сообщил также и рассказы: «Император Николай I и французы», «Граф М. Ю. Виельгорский» и «М. И. Глинка у графа Виельгорского».

Статьи: «Генерал Бурмейстер» и «Гвардейцы в Калише» сообщены участником событий отставным моряком Николаем Семеновичем Лазаревым-Станищевым. «Встреча И. С. Тургенева с Д. П. Писаревым» передана находившимся при свидании полковником Петром Павловичем Суворовым. «Архиерейский прием» записан со слов участника события, дворянина Василия Степановича Александрова, который сообщил также и рассказ о «Блудном Булавине», событии, случившемся на его глазах. Рассказ о «декабристе Тизенгаузене» сообщен московским старожилом Владимиром Львовичем Клумовым, слышавшим его от майора Михаила Дмитриевича Поздняка, свидетеля события. Рассказ «Наши администраторы» передан участником события, надворным советником Петром Ивановичем Вигилянским. Рассказ «Великий князь Михаил Павлович и отставной солдат» записан со слов генерал-лейтенанта Кушелева, слышавшего его от самого великого князя, а статьи «Великий князь Михаил Павлович и коннопионеры», «Борщов и медвежонок» и «Кадеты морского корпуса в Александрии» — со слов участников событий: первые два — полковника Сергея Михаиловича Борщова, а последний — поручика Павла Александровича Брылкина. Событие «Император Николай I и генерал Пенхержевский» передано статс-секретарем А. Д. Комовским, слышавшем его от участника события генерала Карла Ивановича Бистрома. Рассказы о генералах: Дрентельне, графе Евдокимове, графе Тотлебене, Шлосмане и министре финансов Канкрине, записаны со слов свидетелей или лиц, находившихся при них на службе, а именно: первый — капитана Александра Викторовича Дробышевского, второй и третий — статс-секретаря Сергея Федоровича Панютина, четвертый — коллежского асессора Николая Михайловича Ивановского, а последний — бывшего городского головы, купца Василия Григорьевича Жукова.

Петр Мартьянов.
С.-Петербург.
Первая половина 1893 г.

Дитя и поэт А. С. Пушкин

После смерти нашей матери, умершей во время холеры в Москве, в 1831 году, меня, моего старшего брата Александра, и сестру Надежду принял к себе на воспитание мой крестный отец, известный в то время стряпчий, надворный советник Владимир Матвеевич Глазов.

Глазов происходил из выслужившихся чиновников, но за ним числилось, как говорили, в Костромской губернии имение с 1000 душ крестьян.

Он жил постоянно в Москве, в собственном доме, в Грузинах, где у него было много земли, лавки, бани и тот знаменитый «Глазовский» трактир, куда москвичи и их залетные гости ездили слушать знаменитых грузинских цыган.

Дом его походил на большинство барских домов того времени. Это было довольно большое, одноэтажное, с мезонином здание. Балкон с красивым портиком выходил в обширный сад, со всеми прихотями, как-то: беседками, горками, статуями разных мифологических богов и героев, аллеями, цветниками и неизбежным прудом с мостиком и лодками. Вокруг огромного двора ютились флигеля для гостей, людские, кухни, конюшни, сараи, погреба и другие службы. На дворе царил вечный шум и гам. Лакеи, прачки, повара, садовники, кучера, сновали взад и вперед, перебранивались и кричали. Лошади, множество разных собак и домашняя птица дополняли шумную картину обыденной, скопированной с больших барских домов, жизни.

Владимир Матвеевич жил в доме с женою Ульяной Ивановной, дамою почтенной и богобоязненной. Детей у них в живых не было, кроме одной дочери, Екатерины Владимировны, находившейся в замужестве за Федором Осиповичем Мазуровым, директором московской сохранной казны. Но за то их постоянно окружали воспитанники, воспитанницы, их учителя, многочисленная дворня обоего пола и разные приживалки.

Дом имел все удобства того времени. Тут были и громадная зала с хорами, и комфортабельная гостиная с балконом и террасою в сад, и уютные внутренние комнаты хозяйки дома, и большая светлая столовая, и буфетная, девичьи и другие комнаты. В мезонине располагался сам владелец, устроивший там себе рабочий кабинет, приемную и спальню. Кроме того, в особой комнате при нём жил воспитанник, Гавриил Иванович Глазов, побочный сын его от дворовой женщины, тогда медицинский студент, а впоследствии уездный врач. Меблировка дома вполне отвечала широкой натуре его обладателя. Кладовые и погреба ломились под тяжестью всяких сбережений и заготовлений. Повсюду виден был избыток средств. Каждая мелочь напоминала о довольстве, прихоти и тщеславии.

Сам Владимир Матвеевич не обладал представительною наружностью. Это был мужчина лет 45–50, среднего роста, с круглым животом и большою на короткой шее головой, остриженной гладко. Черты лица крупные, щеки мясистые, глаза смеющиеся, веселые, лицо гладко выбритое. Служил ли он, и где — я не знаю, но ходил всегда в вицмундире с светлыми пуговицами. Каждый день утром куда-то уезжал и возвращался домой к обеду, за которым было всегда несколько человек гостей. После обеда отдыхал или работал в кабинете, а вечер проводил с гостями, засиживаясь иногда далеко заполночь. Изобильный ужин заканчивал еще более изобильный разными случайностями день.

Ульяна Ивановна — симпатичная, небольшого роста старушка, слыла большою домоседкой. Более всего она любила высшие сферы, хотя там и не была принята. Ей доставляло большое удовольствие видеть у себя людей, принадлежащих, или соприкасающихся этим сферам. Приемы её были торжественны и чинны: тишина и скука царили в них. Друзей и коротких знакомых принимала она запросто в своей уборной, сидя в покойном вольтеровском кресле; туда же подавали и чай. Для знакомых же мужа и так называемых церемонных гостей она удостаивала выходить в гостиную, но сидела не долго, извинялась нездоровьем и уходила, предоставляя занимать гостей или мужу, или своей дочери Екатерине Владимировне Мазуровой. В числе гостей у Глазовых, я помню, появлялись: Кологривовы, Небольсины, кн. Грузинские, Багговут, Мерлины, изредка наезжал кн. П. П. Гагарин, С. Т. Аксаков и другие московские именитые люди. Иногда собиралась молодежь, и тогда пели и танцевали под фортепиано, а старики играли в карты. Особые балы давались 15-го июля, в день именин Владимира Матвеевича, и в декабре, в день рождения его супруги. Тогда приглашались и родня и знакомые. Играла полковая музыка, пели песенники, делалась

иллюминация, вино лилось рекой, веселились нараспашку, как только могут веселиться москвичи.

Значение Владимира Матвеевича в московском обществе обусловливалось его превосходными личными качествами и знанием дела. Он принадлежал к числу тогдашних знаменитых дельцов-законоведов. Ему поручались дела, выиграть которые не было никакой надежды, и он выносил их на своих плечах. Расскажу один случай.

В Москве проживал один известнейший кутила и безобразник, купчина-миллионер Александр Петрович Квасников. Он проматывал по нескольку тысяч в один вечер, производил дебоши и безобразия, за которые платил десятки тысяч. Долго ему сходили с рук всевозможные выходки на стогнах города и гульбищах; наконец, пробил час расплаты. На каком то поминальном обеде он снял с архимандрита или архиерея, не помню, клобук и надел ему на голову выдолбленный арбуз. Вышел скандал ужасный, погасить который ему не удалось. Дело дошло до Петербурга, и, по резолюции императора Николая, его отдали в солдаты.

Строгий приговор переполошил всех его сочувственников; бросились хлопотать о смягчении наказания, но едва-едва удалось исходатайствовать небольшое облегчение. По свидетельству докторов, его признали неспособным к строевой службе и зачислили в московскую пожарную команду. В этой команде он только числился, но службы никакой не исполнял, лечась от болезни на квартире. Спустя несколько времени, московское начальство попыталось было просить о помиловании Квасникова, но представления его не уважили. Вот тогда-то и обратились к Владимиру Матвеевичу, который и взялся дело это обработать.

Во избежание каких-либо новых проказ с его стороны, во время ведения дела, Глазов поселил Квасникова в одном из флигелей своего дома, под условием гулять у него где хочет, но за ворота не выходить.

Как теперь вижу эту высокую, немного сутуловатую фигуру добровольного заключенника с его худощавой выразительной физиономией. Глаза в глубоких впадинах, брови насуплены, нос большой, длинный, с горбом, голова острижена под гребенку, усы большие, бакенбарды висячие, подбородок тщательно выбрит. Он носил какой-то полувоенный плащ, венгерку, шаровары в сапоги и фантастическую фуражку. Вся его фигура напоминала тип отставного гусара. Опираясь на тяжелый костыль, с опущенною на грудь головою, часто прогуливался он по глазовскому саду, напевая себе под нос какую-нибудь песенку и сильно ударяя

костылем в землю. Встреч с незнакомыми избегал, на глазовских вечерах не показывался, но порой в его небольшой квартирке появлялись старые друзья, хлопали пробки, бренчала гитара и до утра гикали и топали цыгане.

Владимир Матвеевич два или три раза ездил по его делу в Петербург, и всякий раз возвращался без успеха. Но это был не такой человек, чтобы спасовать перед неудачею. Спустя некоторое время, он вновь поехал — и привез Квасникову прощение.

Прощение это, как объяснял Владимир Матвеевич, получено им при исключительных обстоятельствах. Он нашел доступ в графу А. Х. Бенкендорфу и после долгих, подкрепленных самыми вескими аргументами доводов, успел склонить его к заступлению за несчастного Квасникова, представленного им жертвой злой интриги. Граф дал обещание ходатайствовать перед государем, но с оговоркой, что для этого нужно выждать благоприятный случай. Пришлось ждать, но, к счастью, не долго. Говея на страстной неделе, император Николай имел обыкновение перед исповедью просить прощения у своих приближенных. Граф Александр Христофорович воспользовался этим случаем, и, когда государь обратился к нему, осмелился напомнить о прощении наказанного не по вине Квасникова. Государь милостиво выслушал и повелел: возвратить Квасникова в первобытное состояние, но с тем, что если он и засим будет вести себя по прежнему, то поступить с ним безо всякого снисхождения.

Нужно ли говорить с каким авторитетом возвратился в Москву Владимир Матвеевич. Начались пиры. Квасников задал такой обед своему освободителю, что Москва удивилась. Но это дело было последним в длинном списке удач Владимира Матвеевича. Во время кутежа у Квасникова, он простудился, заболел, месяца два или три пролежал в постели и умер.

Но я забежал далеко вперед. Нужно возвратиться ко времени нашего водворения у Глазова. Владимир Матвеевич был другом нашего отца и душеприказчиков матери. Действуя на правах опекуна, он перевез нас (меня, брата и сестру) к себе и поселил в особом флигеле, имевшем четыре комнаты и кухню, и отдал под попечительство одной доброй старушки, дворянки Агафьи Ивановны, в помощь которой назначены были две дворовые женщины. Мне шёл тогда 5-й, брату 8-й, сестре 4-й год. Владимир Матвеевич любил нас, как своих детей, озаботился устройством для нас всего нужного и нередко заходил наведаться: не нужно ли нам еще чего-нибудь? О чём бы ни просила его наша заботливая воспитательница Агафья Ивановна, всё старался исполнить, по возможности, без замедления. В воскресенье и праздничные дни мы ходили в церковь к обедне, а после отправлялись в дом

Владимира Матвеевича, где и оставались целый день, а иногда и вечер, резвились и играли с приезжавшими детьми. В 9 часов вечера возвращались домой.

В начале 1833 года, Владимир Матвеевич прислал нам учителя. Это был диакон из причта церкви св. Георгия в Грузинах, человек не молодой, но старательный. Он объявил нам, что мы должны пройти полный курс обучения, и не смотря на то, что мы, т. е. брат и я, умели уже читать, он засадил нас, наравне с сестрою, за азбуку и только пройдя с нами сию стадию, почтеннейший наш педагог стал упитывать нас всяческими премудростями от грамматики, арифметики и катехизиса. Он занимался с нами каждодневно (кроме дней праздничных) с 10 до 1 часов утра, а Агафья Ивановна приготовляла с нами вечерние уроки. Мы учились охотно и делали порядочные успехи, так что весною 1835 года, сдали блистательно первый экзамен Владимиру Матвеевичу, и за оказанное прилежание получили от него подарки. Он подарил мне вышитую золотом куртку, штаны с галунными лампасами и сапожки охотничьи с кисточками, брату бархатный полукафтан с короткими панталонами и башмаки с пряжками, а сестре — тирольский костюм. Кроме того каждому из нас он дал по 25 р. ассигнациями на гостинцы.

Это были мои первые деньги. Но я ими не воспользовался. Я отдал их на сохранение добрейшей Агафье Ивановне, которая, потом, не выдавала мне из них ни копейки, говоря: «береги денежку на черный день». Когда же год или два спустя она умерла, мне не возвратили моих денег.

В последнее время, т. е. 1834–1836 годы, в доме Владимира Матвеевича царило особенное оживление. Гости, преимущественно же молодежь, съезжались часто. Много пели, много танцевали. Катинька Львова была прекрасная музыкантша и чрезвычайно мило пела. Её высокий, чистый, звучный сопрано приводил в восторг всё наше маленькое общество. Особенно хорошо она исполняла «Красный сарафан» и Пушкинскую «Черную шаль». О Пушкине тогда говорили много. Однажды, кто-то сообщил, что знаменитый поэт на днях приезжал в Грузины слушать цыган и добавил: «цыгане — его стихия».

Рассказ о поездке Пушкина в Грузины возбудил всеобщее любопытство. Молодой Дорохов заметил, что интересно было бы видеть Пушкина в обществе цыган. Слова эти возбудили во мне желание взглянуть на Пушкина. Агафья Ивановна часто недомогала. Пользуясь этим, мы убегали играть на двор и выходили иногда за ворота. Брат мой заходил часто к Гавриилу Ивановичу Глазову и у него читал некоторые из Пушкинских стихотворений. Он восхищался ими и называл Пушкина гением. Я

сообщил брату мое желание хотя мельком взглянуть на Пушкина, когда он приедет в Глазовский трактир слушать цыган. Он ухватился за эту мысль с радостью и сказал, что это можно устроить. День или два спустя, он забежал в трактир и обещал трактирным половым дать денег, если они сообщат ему, когда приедет Пушкин. Долго ждали мы и, наконец, забыли было совсем об этом, как вдруг, в конце лета, или в начале осени — не помню хорошо, прибегает к нам на кухню девочка, дочь буфетчика, и передает брату записочку с двумя словами: «он здесь». Мы всполошились. Агафья Ивановна лежала в своей комнате больная, мы допивали вечерний чай. Повернув вверх донышком чашки, мы бросились в спальню и легли в постель. Часа полтора мы провели в каком-то лихорадочном напряжении, пока все в доме угомонились. Часов в 11-ть мы встали, тихонько оделись, вышли на цыпочках из комнаты и не слышно ускользнули из дому.

Озираясь на все стороны, мы пробежали по двору и вышли за ворота. Приезд гостей к цыганам произвел вокруг трактира оживление. У подъезда толпились извозчики, кучера, троечные ямщики, лакеи. Они вели шумные разговоры, курили свои носогрейки, переругивались между собою или ругали хозяев и господ.

Против окон, на площадке, стояла небольшая кучка людей разного звания, жадно ловя каждый вырывавшийся изнутри звук шумного цыганского пения. Мы проскользнули в эту кучку. Из окон трактира неслись припевы: «старый муж, грозный муж, режь меня, жги меня, не боюсь я тебя!», раздавался раскат смеха, хлопали пробки, и всё покрывало неистовое гиканье и пляска.

Но вот кучка, поглазев, послушав, мало-помалу стала таять и, наконец, разбрелась по домам. Остались только: я, брат и два знакомых соседних мальчика, не захотевших отстать от нас, вероятно, во внимание к тому, что мы числились на положении полубарчат-воспитанников. Ночь, между тем, была уже поздняя, дул осенний свежий ветерок. Месяц ярко светил, обливая серебристыми лучами полусонную окрестность. Боясь упустить случай посмотреть на Пушкина вблизи, мы расположились у самой лестницы, с которой он должен был сойти, чтобы сесть в экипаж. Но прошел час, другой, и мы, перезябнув, хотели было идти уже домой, как вдруг раздался с лестницы громкий голос полового: «эй, ямщик, экипаж!» мы встрепенулись, и как бы боясь чего-то, отошли от лестницы в сторону. Пока полусонный ямщик взнуздывал тройку и усаживался на козлы, на лестнице показались два господина. Один брюнет, невысокого роста с небольшими баками, в шинели с капюшоном и шляпой на голове;

другой высокий с усами, в какой-то длиннополой бекеше, с замотанным на шее шарфом и тоже в шляпе. Наверху, на площадке, стояли еще два господина, окруженные цыганами и прислугой, и громко хохотали.

— Который же Пушкин, — спросил я брата. Он отвечал: «не знаю». Между тем, вышедший прежде других господин в шинели, видя, что экипаж еще не подан, спустился с крыльца и пошел в глубь двора. У перил, окаймлявших берег пруда, на котором стояли бани, он остановился и начал смотреть на отражавшуюся в воде луну, деревья и строения. Другой же стоял на крыльце и перебрасывался словами с оставшимися на верхней площадке товарищами.

Я толкнул брата и мы (все четыре мальчика), окружили господина, стоявшего у пруда. Он оглянулся и спросил: «что вам нужно?»

— Вы — Пушкин? — спросил я тихо.

— На что вам?

— Так… интересно его видеть.

— А почему вам интересно его видеть?

— Он пишет стихи.

— Как вы узнали, что он пишет стихи?

— Я — крестник Владимира Матвеича… у нас в доме барышни поют «Черную шаль»; интересно узнать: ваша ли эта шаль.

— А что у вас еще поют? Что вы еще знаете?

— Я ничего не знаю, но вот брат мой читал у Гавриила Ивановича много ваших стихов. (Я не сомневался более, что это — Пушкин).

— Так вы ничего больше не знаете, — сказал он как будто в раздумье и, погладя меня по голове, продолжал:

Одну вы знаете лишь «Шаль»…
Какая жалость!..
Моя, мой милый, это шаль.
А проще — шалость.

Слова эти привели меня в восхищение, я схватил руку Пушкина и горячо поцеловал ее. Мальчишки загалдели: и я, и я! и бросились также целовать его руку. Пушкин отнял руку назад и, добродушно улыбаясь, сказал: «к чему это»?

Между тем лошади были поданы и он, направляясь к экипажу, спросил меня: «А вы грамотный»!

— Учусь, — отвечал я.

— Учитесь!.. будете знать более, чем мои «шалости».

Затем, он сел в коляску, товарищи за ним; цыгане, окружая экипаж, просили скорее приезжать опять к ним; прислуга кланялась и желала счастливого пути. Пушкин в ответ кивал им головой, товарищи, смеясь, отвечали: «да, да, хорошо, хорошо»!

Но вот ямщик тронул вожжей коренника, лошади тронулись, коляска громыхнулась и покатила. Еще мгновение — и вечность легла на след её…

В первое следовавшее за сим воскресенье я рассказал m-lle Львовой и другим гостям Владимира Матвеевича о нашем ночном путешествии и передал от слова до слова разговор мой с гениальным поэтом. Все восторгались нашей смелостью, нашей находчивостью. Я сделался героем вечера. Меня расспрашивали по нескольку раз, заставляли повторять каждое слово Александра Сергеевича, кормили сластями и отпустили домой, нагрузив карманы гостинцами.

Но финал был ужасен: наутро меня и брата, сильно наказали за то, что мы осмелились без спросу выходить ночью на улицу…

Панихида по А. С. Пушкину

В начале февраля 1837 года, в Москве получено было известие о смерти Пушкина. Это известие взволновало студенческий мирок. На Никитской улице, в доме князя Вадбольского, в квартире г-жи Линденбаум, которая содержала меблированные комнаты, отдаваемые в наймы, большей частью, студентам, была назначена сходка. Вечером студенты собрались и поставили на обсуждение вопрос: что делать? Дебаты произошли жаркие. Имена Данзаса, д'Аршияка, Дантеса, Геккерена не сходили с уст, крики благородного негодования, проклятия и угрозы раздавались то и дело. Некто Баранов, богатый помещик, степняк, натура горячая и необузданная, вызывался ехать в Петербург и драться с Дантесом, а если бы он отказался, отстегать его хлыстом. Его предложение не приняли. Другие тоже не прошли. Остановились на том, чтобы отслужить по Пушкину панихиду. На утро сообщили товарищам, начались сборы, подписка пошла хорошо. Но университетское начальство под рукою не одобрило. Назначено было новое совещание и решили отслужить панихиду не по Пушкину, а по усопшем рабе божием Александру. День назначили праздничный — следующее воскресенье; место — Никитский монастырь. Пригласили певчих, заказали полное освещение церкви. Хлопотали было поставить печальный катафалк, но игуменья не разрешила. Время прошло быстро; наступил день панихиды. Началась обедня, народу собралось много. Студенты сходились и переговаривались; одни слушали обедню, другие прохаживались по монастырскому двору. Но полиция проведала, явился квартальный со своими будочниками, за ним прибыл частный пристав, позднее пожаловал и сам полицмейстер. Развязно вошел он во храм, еще развязнее подошел к игуменье и довольно долго беседовал с нею келейно: ясно было, что что-то затевается.

Но вот обедня кончилась, полицмейстер незаметно уехал. Народ стал выходить из церкви. Потушили свечи. Потянулись монахини, в церкви стало пустеть, а панихида не начиналась.

Два, три студента пошли в алтарь за объяснениями к священнику, собиравшемуся уже оставить церковь. Он ответил, что панихиды не будет. Спрашивают: «почему»? — «А потому, говорит, что по живому человеку панихид не служат». «Как по живому?» — изумляются студенты. — «Да так, — отвечает, — Пушкин жив… не верите — спросите мать игуменью». Обращаются к игуменье, та отозвалась, что, по сведениям, сообщенным ей сейчас полицмейстером, Пушкин, хотя и болен,

но еще жив. Бросаются к приставу, — пристав утверждает, что подобное известие только что получено из Петербурга. Студенты, обрадованные такою доброю вестью, расходятся по домам.

Спустя час или два истина открылась; но собраться снова на панихиду студентам не позволили.

Москва в сентябре месяце 1839 г.

Старушка Москва, в конце тридцатых годов, жила жизнью тихою и безмятежною. После усмирения Польши, особо важных политических событий в русской жизни не было, дела шли обыкновенным чередом, как говорится, ни шатко, ни валко, ни на сторону, и общество дремало в сладком неведении и забытье. Вдруг летом 1839 года до слуха Белокаменной дошла весть, что осенью должна совершиться торжественная, в присутствии самого государя императора Николая Павловича, закладка храма Христа Спасителя, — и первопрестольная столица встрепенулась. Пошли толки, догадки, предположения о том, когда, что и как должно быть исполнено. Наговорившись досыта, Москва начала готовиться к торжеству, желая отпраздновать это, столь близкое её сердцу, событие как можно грандиознее. Первым делом привели в порядок мостовые, тумбы и фонарные столбы подчернили, дома, ворота и заборы принялись красить, шатающихся собак ловить, хожалых и будочников облачать в новую амуницию. К июлю сделалось положительно известным, что закладка совершится в сентябре, после открытия памятника на Бородинском поле, что Государь Император, прибудет в Москву в сопровождении приглашенных на бородинские маневры иностранных принцев и что в закладке храма примут участие командированные на маневры гвардейские войска. Известие это взволновало весь город: такого блестящего собрания именитых и знатных гостей в Москве давно уже не было, чуть ли не с самой коронации в 1826 году, и вот, начиная с великосветских гостиных и кабинетов сановников и кончая купеческими светлицами и рынком, всё пришло в движение. Тысячи надежд, тысячи ожиданий возбудило прибытие царя. Кузнецкий мост с утра до ночи запружали экипажи, магазины переполнялись покупателями, дамы заказывали, шили и покупали новомодные костюмы и украшения. Городские ряды, равномерно, торговали на славу, так как всякая, даже самая простая женщина хотела иметь к приезду царя какую-нибудь обнову. Полиция усугубила свое рвение: улицы мели, деревья на бульварах подстригали, скамейки красили и нищих забирали. Всё это — такие меры, которые принимает Москва только в экстренных случаях. До 1839 года я Государя не видел, потому приезд его в Москву не мог не интересовать меня. О характере, рыцарстве и доброте императора Николая Павловича ходили целые легенды. Его хладнокровие и неустрашимость при усмирении бунта в 1825 году, его заботливость о солдате и мужество, выказанные в турецкую войну

1828 года, и его самоотвержение на Сенной площади в холеру 1831 года, невольно влекли к нему сердца народа и заставляли каждого добиваться возможности хотя раз в жизни взглянуть на него и выразить ему, чем можно, свое сочувствие и преданность.

Мне было тогда 12 лет; я жил у опекуна на Никитской, в доме князя Вадбольского, где и как увидеть царя не знал, и потому обратился за советом к другу и учителю моему, студенту Назарову.

— Подожди, — отвечал Назаров — надо подумать.

Между тем, август месяц был уже на исходе; каждый новый день приносил в Москву животрепещущие новости о военных празднествах под Бородиным, маневрах и открытии памятника воинам, павшим в Бородинском сражении; сообщавшие об этом «Московские Ведомости» читались с жадностью.

— Скоро и на нашей улице будет праздник! — говорили собиравшиеся в кучки горожане. — Сам Царь прибудет и сделает закладку храма, а это будет почище бородинского памятника.

— Смотри, парень, — хихикала фризовая шинель — чтобы и ныне не вышло того же, что было на Воробьевых горах. В 1817 г., там, чай, тоже закладывали храм, да что вышло: три стены размокли на дожде, а четвертая испарилась на солнце.

— Ну, это было при Благословенном, а теперь Николай, теперь щелкоперам потачки не дадут, — отвечал горожанин.

3 сентября, в 6 часов пополудни, император Николай Павлович изволил прибыть в Москву с государем наследником цесаревичем Александром Николаевичем. Вслед за ним приехали: великий князь Михаил Павлович, герцог Максимилиан Лейхтенбергский (молодой супруг великой княгини Марии Николаевны) и гости русского царя: принцы: Альберт Прусский, Евгений Виртембергский, Александр Нидерландский и эрцгерцог Австрийский Альберт. Массы народа покрывали улицы и площади по пути следования Государя. Я предполагал увидеть Царя на Красной площади, достал себе у сторожа рядов скамейку и расположился на ней у памятника Минина и Пожарского. Но едва показалась коляска Государя от Иверской, народ, стоявший до того времени в порядке, разом обнажил головы и с криком «ура»! бросился навстречу Государю. Меня сшибли со скамьи на землю и едва не затоптали ногами. Благодаря вмешательству какого-то купца, поднявшего меня, я отделался только потерей фуражки, разбитым носом и несколькими ссадинами на руках и теле. Царя я даже не видел, я видел только массу голов и вдали мелькавшие шляпы с разноцветными перьями. В Кремле гудели колокола, а на площади стоял стон от приветственных кликов народа.

— Ну, что, хорошо? — спрашивал меня Назаров, по

возращении моем домой. — Благодари Бога, что голова осталась цела. Впрочем, это тебе на будущее время урок! Прежде отца в петлю не суйся!

На другой день рано утром я отправился с ним в Кремль, посмотреть на выход Царя из собора. Мы прошли к самому Успенскому собору и стали за линией войск, расположенных против Красного крыльца. День был ведреный. Народу собралось много, но, благодаря внимательности полиции, тесноты и давки не было и мне удалось видеть церемонию царского выхода довольно хорошо.

Ровно в 11 часов Государь вышел из дворца. Он был в мундире с эполетами, белых штанах и ботфортах, шляпа с перьями, голубая лента через плечо. Высокий, стройный и красивый собою, с орлиным взглядом и величественною поступью, он выделялся из массы следовавших за ним принцев и генералитета, видно было, что это — Царь. Едва Государь показался с крыльца, войска взяли на караул и народ восторженно его приветствовал.

— Какой молодец! какой красавец! кровь с молоком! Дай ему Бог здоровья! — слышались восклицания из толпы.

За Государем следовал наследник цесаревич Александр Николаевич, великий князь Михаил Павлович, герцог Лейхтенбергский, иностранные принцы и свита.

— Наш москвич! земляк! Коренной кремлевский Царевич! Эх, как выровнялся-то! Весь в Отца! — встречала толпа наследника.

— Наш зять! Пятый сын Царя! И с виду как будто русский! — летели возгласы по адресу герцога Лейхтенбергского.

— Смотри, — толкнул меня Назаров, — вот идет фельдмаршал князь Варшавский! Это — князь Петр Михайлович Волконский! Это — граф Карл Федорович Толь! Это — князь Голицын! Это — граф Орлов-Денисов! Это — граф Пален! — указывал он на сопровождавших государя генералов.

Глаза мои перебегали с одного лица на другое, я припоминал 1812 год, Варшаву, Кавказ и события, в которых они участвовали. Какое-то теплое хорошее чувство наполняло душу, я видел всех этих тузов земли русской, и хотя физиономии некоторых из них не располагали к себе, я всё-таки считал себя вполне удовлетворенным. Первые сильные впечатления невольно овладевают душой и упоят ее.

При входе в Успенский собор, Император был встречен митрополитом Филаретом с тремя епископами и всем церковным клиром и, приложась ко св. Кресту, вступил в собор, при пений тропаря: «Спаси, Господи, люди Твоя». После молебствия, Государь проследовал мимо Грановитой палаты в Терема, а

оттуда в Верхо-Спасский собор и в церковь Рождества Богородицы.

Вечером у матери Назарова собралось большое общество. Было несколько профессоров, студентов, два доктора и пастор. Позднее приехал плац-адъютант комендантского управления, рассказавший, между прочим, следующий анекдот о коменданте, генерале Стаале.

От одного из полков, расположенных в Москве, поступил в ордонанс-гауз рапорт, в заголовке которого, вместо слов: московскому коменданту, стояло: «московскому комедианту». Может быть, это была, просто, описка писаря, но комендант, суровый службист и педант, прочитав бумагу, ужасно рассердился. «Они мне пишут, что я — комедиант, — кричал он, дрожа от гнева, — я им покажу, что я за комедиант». И, вытребовав к себе полкового адъютанта, посадил его под арест на две недели, а командиру полка приказал объявить выговор.

Московские скалозубы, любившие посмеяться, довели о случившемся до сведения великого князя Михаила Павловича.

Его высочество послал за комендантом и тот тотчас явился, догадавшись в чём дело, встревоженный и хмурый.

— Что это ты, Карл Густафыч, как будто не в своей тарелке, — обратился к нему шутливо великий князь — это тебе не к лицу, это вовсе не твоя роль…

— У меня одна роль, ваше императорское высочество, — отвечал генерал Стааль, — роль московского коменданта, которую я и исполняю по мере моих сил и способностей.

— Да ты не сердись на меня, пожалуйста, — рассмеялся Михаил Павлович, — я знаю, что ты строгий комендант, но не будь же чересчур строгим.

Генерал Стааль улыбнулся.

— Ну, вот видишь, ты сам согласен, что чересчур строгим быть не следует, а ты с адъютанта слишком строго взыскал.

— Нельзя же, ваше высочество, дозволить смеяться над званием, которое я ношу по воле моего всемилостивейшего Государя.

— Нельзя, Карл Густафыч, но всё-таки лучше бы было, если бы ты отпустил его ночевать домой.

Комендант молчал; ему, очевидно, не хотелось освободить офицера, но и возражать он не решался. Тогда великий князь положил ему руку на плечо и сказал:

— Сегодня в Москве праздник, Карл Густафыч, ради этого праздника поди выпусти его.

Комендант, понимая буквально слова великого князя, сам лично отправился на гауптвахту и освободил из-под ареста

адъютанта.

Чрез несколько дней вступили в Москву гвардейские войска, находившиеся на маневрах под Бородиным. Первопрестольная встретила их вполне по-родственному: клики, приветствия, маханье шляпами и платками сопровождали это вступление. Гвардейские солдаты, в высоких того времени киверах, казались великанами, но особенно громадным ростом выделялся тамбур-мажор преображенского полка, который, как говорили, имел около семи футов росту. Большинство солдат были старые ветераны со множеством медалей и крестов на груди. Москва любит всё величественное и грандиозное, и гиганты эти ей нравились. Они, в течении своего кратковременного в ней пребывания, собирали вокруг себя толпы народа и становились предметом всевозможных бесед и угощений. Некоторые москвичи приглашали их к себе в дома, угощали и дарили деньгами. Говорили даже, что солдаты в двух-трех домах были приглашены в восприемники детей и крестили, но на зубок получили не родильницы, а крестные отцы. Это выходило уже совсем по-московски!

Несколько молодых людей, интересовавшихся событиями 14 декабря 1825 года, о которых в то, запретное, время, никто ничего достоверного не знал, устроили вечер в честь ветеранов. Я был на этом вечере с Назаровым. Мы пришли часов в 7 вечера, общество было уже в сборе и пир начат на славу. Несколько нумеров в меблированных комнатах г. Линденбаум на Никитской, где обыкновенно ютились студенты и другая молодежь, было обращено в одно помещение. Ветераны разных полков вперемежку с молодежью сидели на стульях, на окнах и на студенческих постелях (мебели было мало) с трубками в руках, у некоторых мундиры были сняты, у других расстегнуты. Пили и закусывали без церемоний. Пили кому что нравилось: водку, пиво, пунш, вино. Беседа шла приятельская и шумная: русский солдат во всяком обществе осваивается чрезвычайно скоро, со студентами же, как с товарищами по оружию (студенты тогда имели мундиры и шпаги) старики-ветераны стали на короткую ногу с первого же раза.

Меня сначала удивила подобная компания, но когда мне объяснили цель, я сел и стал слушать. Студенты расспрашивали, солдаты отвечали, но с такой осторожностью, что из их рассказов о ходе самого события ничего нельзя было понять. Они говорили только о «молодом Императоре» и восхищались его мужеством и смелостью.

— Мы присягнули ему без заминки, — ораторствовал старик преображенец. — 14 декабря, утром, нас потребовали ко дворцу.

Спешно, на ходу застегиваясь, мы вышли, взяли ружья на плечо и марш на площадь. Пришли и выстроились правым флангом к главным дворцовым воротам, спиной к комендантскому подъезду; смотрим, у ворот стоит куча народу и больше простого, а в середине молодой Император в измайловском мундире, с лентою через плечо, но без шинели, один одинешек, стоит и читает народу манифест о восшествии своем на престол: мы только диву дались, никогда ничего подобного не слыхивали и не видывали. Прискакал Нейдгарт, отрапортовал что-то, и Государь, обратясь к толпе, заявил, что московцы (Московский гвардейский полк) не признают его царем и бунтуют. Народ заволновался и закричал, что никого не допустит до него и никому его не выдаст! «Спасибо, ребята, — отвечал Царь — хотел бы, за ваше ко мне расположение перецеловать вас всех, но, сами знаете, не могу, а потому поцелую ближайших ко мне, а они уже передадут мой поцелуй и остальным». И он обнял и поцеловал двух-трех человек, стоявших впереди. «Теперь, — продолжал Царь: — не мешайте мне распорядиться войском и идите с Богом по домам»! И народ отхлынул. Затем он подошел к нам, и, поздоровавшись, спросил: «Готовы ли мы идти за ним куда велит»? Мы отвечали: «Хотя на край света! Рады стараться! Рады умереть за вас, ваше императорское величество!». Тогда он велел зарядить ружья боевыми патронами, скомандовал: «К атаке, в колонну стройся! Четвертый и пятый взводы прямо! Скорым шагом, марш»! И повернув нас направо, велел ножовому нашему командиру Исленеву вести нас к Сенатской площади, где стояли мятежники. Мы тронулись, при нём осталась только одна рота, с которой он потом, сев на лошадь, и прибыл на сенатскую площадь. Мы первые присягнули ему, мы первые встали за него, мы первые пошли за него на мятежника, и он за то любит нас и зовет не иначе, как «моя семья»!

— Первыми встали за него финляндцы (Финляндский гвардейский полк), — перебил преображенца егерь — рота финляндцев в караул пришла, еще вас не было, он вышел к ней, и она первая отдала ему императорскую честь, салютовала знаменем и била поход. Первым, словом нового Царя к войскам был его вопрос финляндской роте: «Присягнула ли она ему и знает ли, что присяга ему совершена по воле его брата, цесаревича Константина»? Финляндцы ответили, что присягнули и знают. Тогда, значит, вам надо показать мне верность на деле, — заговорил молодой Император — московцы шалят, не перенимать у них, делать дело молодцами! Готовы ли вы стоять и умереть за меня»? Финляндцы закричали: «Ура, Николай»! Тогда он велел зарядить им ружья и сам отвел их к главным воротам

дворца. А затем уже обратился к народу и стал читать манифест.

— Ну, это всё равно, кто первый стал, кто последний, — вмешался в спор солдат студент Стахович: — дело в том, что стали за Царя, поэтому я предлагаю выпить за его здоровье.

Раздалось «ура»! и стаканы были опорожнены.

— Всё время он держал себя молодцом, истинно по-царски, — заговорил семеновский фельдфебель, затянувшись жуковским табаком из громадной трубки: — встретя гренадер, бежавших на место бунта, он хотел остановить их и закричал: «стой»! Гренадеры ему отвечали: «мы не за тебя, за Константина»! «Ну, когда так, то вот вам дорога»! — воскликнул Николай и указал им на Сенатскую площадь. Гренадеры проходили по обе стороны сидевшего на коне Царя, некоторые задевали амуницией ему за ноги. Нужно мужество, чтобы находиться одному среди обезумевших бунтовщиков, и полное хладнокровие. Или вот, когда мятежники стреляли по нашим на Сенатской площади и некоторые молодые солдатики сторонились от пуль, он выскакал вперед за ряды войск и стал, как на разводе, впереди всех. Разве это не храбрость?.. храбрость!

— Нет, лучше всего, как он обрезал немца — засмеялся преображенец: — кавалер какой то иностранный, говорили даже посланник, подошел к нему на Сенатской площади и говорит: «Мы за вас, государь, мы вам поможем если хотите»! Так он его так турнул, что тот едва пятки унес. «Убирайтесь, крикнул — это дело не ваше, это дело мое, чисто семейное, я его и без вас устрою». Молодец, право!

— А правда ли, что дворец то, как говорят, чуть не захватили мятежники? — спросил один из устроителей вечера Вольский.

— Нет, саперы не допустили! — отозвался семеновец — саперы за полчаса раньше заняли дворец, они стояли уже у главных ворот, на государевом и посольском подъездах, как прибежали мятежные гренадеры. Посмотрел, посмотрел их командир, подумал, подумал, да и махнул рукой. «Это не наши, ребята», — сказал он и повел своих на Сенатскую площадь.

Студент Обрушин предложил выпить за сапер. Выпили.

— А правда-ли, что Наследника выносили из дворца под защиту войск? — спросил Стахович.

— Это чистая выдумка! — возразил преображенец: — после усмирения мятежа, когда Государь возвратился во дворец, он пожелал показать войскам своего сына. Царский камердинер вынес его на руках, и молодой Император, передавая его на руки георгиевским кавалерам, просил полюбить его, как он сам их любит. Потом вызвал от каждой роты по одному человеку и велел Наследнику поцеловать их. Конечно, войска были в восторге,

солдаты целовали ручки и ножки Наследника престола, а он, поцеловав одного солдата, схватил за нос, а другого за баки. Потом вдруг отняв ручку, — сказал: «Какие жесткие у тебя волосы!» А теперь, смотри, какой молодец!

Студент Мухин предложил выпить за «молодца Наследника» и все чокнулись и выпили.

На вопросы о числе мятежников, их планах и целях, солдаты отвечали: «А кто их знает, нам не ведомо».

Пробило 8 часов — и солдаты стали собираться домой, «на перекличку», как выразился егерь. Одевшись, они очень вежливо поблагодарили хозяев за хлеб-соль, водку и табак. Студенты дружески пожали им руки и подарили на память студенческого, как выразился Вольский, побратимства по фунту Жуковского табаку, а фельдфебелю, кроме того, и большую пенковую трубку. Обрушин предложил выпить «отвальную». Выпили и разошлись.

Описание этого вечера, конечно, более подробное приведенного мною, было составлено распорядителями его, и циркулировало потом в известных кружках молодежи. Для людей конца XIX века подобные приглашения и расспросы солдат могут казаться крайне неуместными, смешными и даже глупыми, но для того запретного времени они явились единственным источником для уяснения интересовавших общество событий и были пикантной новостью дня, о которой говорили и вспоминали потом долго. Я же записал об этом просто, как об историческом факте.

10 сентября совершена закладка храма Христа Спасителя на берегу реки Москвы, близ Каменного моста. Мысль о постройке храма принадлежит императору Александру I. В благодарность Господу Богу за изгнание из России французов в 1812 году, он положил воздвигнуть храм, который бы выражал собою идею благодарности неисповедимому Промыслу и, вместе с тем, напоминал потомству о доблестных деяниях его предков. В манифесте о создании храма, состоявшемся 25 декабря 1812 года, говорилось между прочим: «И да стоит храм сей многие века, и да курится в нём, пред святым Престолом Божиим, кадило благодарности до позднейших родов вместе с любовью и подражанием к делам их предков». Храм этот первоначально предполагалось построить на Воробьевых горах по проекту академика живописи Карла Витберга. Проект талантливого, но несчастливого художника представлял феноменально-редкое явление. Предполагалось воздвигнуть трех-этажный храм, вышиною 110 сажен, с колоннадою по обеим сторонам храма в 300 сажен длины, а на концах её — два памятника по 50 сажен высоты каждый: один из пушек, отбитых у неприятеля во время

преследования ею от Москвы до русской границы, другой — из пушек, взятых у него во время похода от границы до Парижа. Здание гигантское, делающее честь гению художника-мыслителя, но в самом существе своем во многом неисполнимое. Укажу хотя на то обстоятельство, что мы не взяли у французов и их союзников в войны 1812–1814 годов столько пушек, чтобы воздвигнуть из них два памятника, по 50 саж. высоты каждый. Местом для постройки избрали Воробьевы горы, но почва местности, где предполагалось строить храм, оказалась впоследствии неудобной — чрезвычайно рыхлою и не могущей выдержать тяжести колоссальной постройки. Самый способ постройки храма рабами[1] не мог гарантировать успешности и прочности работ. Закладка храма на Воробьевых горах была совершена 12 октября 1817 года, работы продолжались до 1825 года. Но «строитель, — как выразился московский военный генерал-губернатор, князь Д. В. Голицын, — хотел один есть хлеб». А так как одному есть хлеба нельзя, когда вокруг масса людей лязгает зубами, то, конечно, начались пререкания, ссоры и кляузы, кончившиеся тем, что комиссию сооружения храма закрыли, членов её предали суду, а строителя Витберга сослали в Вятку. 4 132 560 р., израсходованных комиссией на первоначальные работы, списали со счетов, рабов-работников передали в казенное ведомство, остатки заготовленных материалов частью продали, частью отдали погорельцам села Всесвятского, частью бросили. В тридцатых годах дело постройки храма вступило в новый фазис. Место для его сооружения избрано императором Николаем Павловичем. Самый храм предположено соорудить в более скромных размерах, по проекту архитектора К. А. Тона. Для постройки храма учреждена новая комиссия, под председательством московского военного генерал-губернатора, работы начались в 1838 году и ко времени закладки бут был положен и фундамент здания высился выше уровня земли.

На торжество закладки я явился с Назаровым. Мы пришли на место закладки утром рано, но народу было уже так много, что мы не могли найти места, откуда можно было бы видеть церемонию. Построенные для публики особые места Москва раскупила заблаговременно, а за две-три оставшиеся скамейки просили баснословно дорого. На месте закладки белелась довольно большая и хорошо выровненная горизонтальная плоскость с выдающимися из земли очертаниями стен, окруженная массой строительного материала. Над этой плоскостью высилась обширная богато убранная палатка, с настланными до неё мостками, покрытыми красным сукном.

Справа от палатки виднелся простой, топорной работы деревянный крест, рабочие наполняли двор храма, что-то носили, что-то двигали, что-то убирали. День, не смотря на сентябрь, выпал солнечный, безветренный и теплый. Город убрался по-праздничному: в окнах и на балконах домов виднелись разноцветные ковры, цветы и зелень. Не найдя места около храма, мы отправились искать его на Красную площадь, обошли Кремль и пристроились на груде строительных материалов близ Спасских ворот.

На всём протяжении от Успенского собора до места закладки стояли шпалерами войска, сперва кавалерия, потом пехота. Народ запружал все улицы и Красную площадь. По совершении божественной литургии митрополитом Филаретом в Успенском соборе, началось церемониальное шествие с хоругвями и чудотворными иконами Богоматери Владимирской и Иверской. Процессия следовала из Кремля, чрез Никольские ворота, по линии стен Кремля, мимо Спасских ворот, по набережной Москвы реки и Пречистенке. Первые её ряды вышли на Красную площадь около полудня. Во главе процессии шли инвалиды 1812 года, потом комиссия для постройки храма, далее длинный ряд придворных и других чинов, камер-юнкеров, камергеров, сенаторов, генералов, участвовавших в войне 1812 года, среди которых особенное внимание обращали на себя Алексей Петрович Ермолов, граф М. С. Воронцов, граф А. И. Чернышев, князь И. Ф. Паскевич, граф К. Ф. Толь, князь П. М. Волконский, граф П. П. Пален, граф В. В. Орлов-Денисов, П. А. Тучков и др. Потом следовало духовенство, певчие, хоругви, образа, ряды диаконов, священников и иеромонахов, архимандриты, епископы и митрополит Филарет. За митрополитом изволил шествовать государь император Николай Павлович с наследником цесаревичем Александром Николаевичем, великий князь Михаил Павлович, герцог Максимилиан Лейхтенбергский, эрц-герцог Австрийский, принцы Прусский, Нидерландский и Виртенбергский и свита Его Величества и адъютанты принцев и герцогов, министры, члены государственного совета и другие сановники. Колокольный звон всех церквей столицы, отдание чести войсками, преклонение знамен, музыка, команда и барабанный бой, шитые золотом мундиры, плюмажи и перья шляп, звезды, ленты, ордена, эполеты, каски, кивера, парчовые ризы священнослужителей, нарядные кафтаны купечества, всё это вместе взятое усугубляло торжественность минуты и производило сильное впечатление. При приближении процессии, вся масса народа, как бы по команде обнажила головы и осенилась крестным знамением. Некоторые благочестиво вспоминали

покойного императора Александра Благословенного и молились за упокой его души. Более часу прошло, пока вся процессия проследовала мимо.

Мы не дождались обратного шествия процессии, сочтя за лучшее заблаговременно выбраться из окружающей толпы, и отправились домой.

Вечером студент Вольский, бывший на месте закладки храма, говорил, что в основание храма положен Государем камень с предметами закладки храма в 1817 году и крестообразно вырезанной доской с двумя плитками, из коих одна с его именем, а другая — с именем Императрицы. Подобные же плитки с своими именами положили: Наследник Цесаревич, великий князь Михаил Павлович, герцоги, принцы и митрополит. Кроме того положено: 30 золотых полуимпериалов, 24 серебряных пятизлотника, и по 60 четвертаков, двугривенных, пятиалтынных и гривенников, все монеты чекана 1839 года. Митрополит Филарет произнес при этом речь — один из шедевров духовного красноречия, в которой сравнил императора Николая с царем Соломоном, так как на долю их обоих выпало счастье воздвижения храмов Богу Истинному, тогда как мысль о создании храмов принадлежала их венценосным, предшественникам.

На другой день, бывши в гостях у А. П. Шестова (известного впоследствии московского городского головы), я слышал от него, что Государь, после закладки храма, беседуя с князем С. М. Голицыным, изволил отозваться: «Вот владыко сравнил меня с Соломоном, которому после царя Давида, как и мне после брата Александра, предопределено было свыше воссоздать храм Богу Истинному. Не знаю, удастся ли мне создать в Москве такой же великолепный храм, как создал Соломон в Иерусалиме; но знаю, что рядом с храмом во имя Христа Спасителя, я не воздвигну уже храма Ваалу. Для меня нет Бога иного, кроме Бога Истинного».

В память торжества закладки храма выбита медаль с изображением на одной стороне, как на медали 1812 года, Всевидящего Ока, с надписью: «Не Нам, не Нам, а имени Твоему», а с другой — вида строящегося храма и надпись: «Завещал Александр, начал исполнение Николай I».

Во всё время нахождения царя в Белокаменной, Москва веселилась до упаду. Выходы во дворце, обед у генерал-губернатора князя Д. В. Голицына, дворянский бал, вечер в только что открытом в Петровском парке вокзале, который удостоил своим посещением Государь Император, составляли такие крупные события для Москвы, что они многие годы были в памяти добродушных москвичей, и для многих составили эпоху

жизни. Гвардейских войск Москва после того не видала долго, именно до коронации Императора Александра II в 1856 году. А это чего-нибудь стоит.

Но и гвардейцам не могла не быть памятна Москва. Не говоря уже о том, что доступно каждому большому цивилизованному городу, первопрестольная давала своим гостям такие своеобразные, исключительно местные удовольствия, о которых иные цивилизованные страны не имеют даже понятия. Я говорю о цыганах и медвежьей травле.

Цыгане составляли исконную славу и гордость Москвы. Их хоры известны были, по слухам, в Париже и Лондоне. Но жили они постоянно в Москве. Гастроли их, а потом и самое переселение в Петербург и другие наши города начались не ранее сороковых годов. Поэтому, не только гвардейский офицер или петербургский администратор и магнат, но каждый приезжавший в Москву иностранец-художник, музыкант или писатель, считали долгом послушать «*дикую песню*» цыган, полюбоваться их «*огневою*» пляскою. Знаменитый виртуоз-пианист Лист, как известно, в день первого своего концерта в московском дворянском собрании, был увезен к цыганам и там так заслушался и увлекся их пением, что заставил собравшуюся в концерт публику ждать себя более часа. Зато первой его пьесой, которую он сыграл в концерте, по возвращении от цыган, была его известная импровизация на цыганские мотивы, доставившая ему самые восторженные овации. У цыган по неделям пропадали раскутившиеся бары. Сам А. П. Ермолов иногда наезжал в табор. Он любил бесшабашную разнузданную пляску и гики цыганских песен. Узнав, что известный организатор цыганского хора Илья Соколов задумал отправиться с хором в Петербург, он приехал к нему и долго уговаривал не делать этого, чтобы не подорвать славы московского табора. Когда же Соколов, прельстясь на заманчивые предложения, поехал в Петербург с лучшими солистками хора, он с горечью упрекал оставшегося в Москве его племянника и пророчески говорил: «Будете кочевать — пропадете, сядете в Москве оседло — будете благоденствовать».

Медвежья травля была также исконное наследие доброго старого времени. Исстари наши бояре, служивые и посадские люди любили всякие схватки и бои, будь это бой кулачный, травля дикого зверя или бой петушиный. Всякая подобная потеха имела своих поклонников и собирала сотни, а иногда и тысячи людей. Доныне еще памятны Москве кулачные бои, которые устраивал в начале текущего столетия вельможа, граф А. Г. Орлов-Чесменский. Со временем, конечно, потехи и забавы эти заменялись более утонченными, но в 1839 году в Москве не

только существовали кулачные бои и травля медведей, быков и кабанов собаками, но последняя возбуждала большое внимание общества и служила предметом оживленного спорта. Для неё был выстроен особый амфитеатр за Рогожской заставой, и там по воскресеньям и праздничным дням давались кровавые зрелища. Как сейчас вижу этот амфитеатр. Версты полторы или две от заставы, вправо, стояло небольшое деревянное одноэтажное здание. Нечто вроде цирка, с круглою ареною посредине, — жалкая пародия на амфитеатры для боя быков в Испании. Арена, выравненная и посыпанная песком, имела пространство не более 200–300 квадратных сажен и была обнесена высоким барьером, вокруг которого шли в два ряда места для зрителей. Против входа в места устроены были ворота для выпуска зверей, а справа дверцы для вывода собак. Нужно думать, что учреждение это процветало, так как цены на места назначены были, относительно того времени, довольно высокие, именно: первое место — два рубля, а второе — один рубль. Самые афиши о травле зверей составлялись курьезно и по смыслу, и по своему типичному, неподражаемому языку. Вот что, например, гласили сентябрьские афиши 1839 года. «Амфитеатр за Рогожской заставой. 3 сентября, в воскресенье, будет большая травля разных зверей лучшими меделянскими собаками и английскими мордашками напуском по охоте. Вновь привезенный ужасного роста медведь, называемый «Давило», будет травиться отличными меделянскими собаками на залог на 100 рублей. Названные собаки: первая привезенная из Рязани, «Халуй», вторая здешняя «Бушуй». Начало в 5 часов. Приписка: «оный медведь будет привязан на полной свободе». 10, 14 и 17 сентября, после такого же, как выше приведено, вступления о травле разных зверей, в афишах говорилось: «Охотники приглашаются с своими собаками. Известный охотник Богатырев будет пускать своих собак, между прочим, будет травиться дикой черноморской бык меделянскими собаками и английскими мордашками. Сего быка собаки непременно должны, по договору с охотниками, победить. В заключение будет травиться ужасного роста и свирепости так называемый «Хряк» или «Кабан». Дикие кабаны водятся в непроходимых лесах; охотники кабанов ловят или убивают оных с большою опасностью; уверяют, что не могут оных взять меделянские собаки и английские мордашки. Содержатель, желая доставить удовольствие посетителям, любящим полную охоту, нашел злейшего русского кабана и будет пускать на оного своих собак для драки; сперва пустятся английские мордашки, если не одолеют, подпустят на помощь меделянские собаки. Будет пущено на кабана не более трех собак».

Вот эти то злачные места наиболее, чем обычные для джентльменов удовольствия, влекли к себе прибывших в Москву гостей. Блестящие гвардейские офицеры и придворные кавалеры не желали уступать московским толстосумам ни в чём в области общедоступных развлечений и, поэтому, у цыганок и на травле, как везде, каждый хотел торжествовать, шли споры, держались пари, бросались деньги на ветер, но брал верх и торжествовал тот, кто мог более бросить. Все эти Маши, Стеши и Любаши — тогдашние цыганские солистки, все эти «Давилы», «Халуи» и «Бушуи» стоили тысяч и, поэтому, гости Москвы должны были ее помнить, и даже не менее, чем она их. Воспоминания об утраченных кошельках иногда живут долее, нежели воспоминания о сердечных приемах великосветских красавиц. Граф М. С. Воронцов проиграл «известному охотнику Богатыреву» почти мимоходом предложенное им пари за мордашку в 10 000 рублей. Этому вельможе-богачу ничего не значило проиграть подобную сумму, но были другие пари, проигрыш которых заставил некоторых лиц поехать вместо Петербурга — в деревни.

Эстетических удовольствий для своих высоких гостей Москва приготовила не особенно много. Не смотря на то, что в составе её драматической и других трупп императорского театра находилось тогда очень много даровитых артистов и артисток, как, например: Щепкин, Мочалов, Никифоров, Самарин, Шумский, Усачев, Садовский, Ленский, Живокини, Лавров, Бантышев, Сабурова, Львова-Синецкая и Н. Репина, во всё время пребывания Государя в Москве, дирекцией театров было поставлено только на большом театре два спектакля, и на малом — три. На первом 7 сентября, шла историческая быль Н. А. Полевого «Дедушка русского флота» и, 8 сентября, опера А. Н. Веретовского «Тоска по родине». На последнем же французскою труппой, с только что вернувшейся из Парижа m-lle Констанс, исполнены пьесы: «Riquiqui» (9 сентября) и два раза «Leqain a Draguigon», (6 и 13 сентября). Кроме того, виртуоз императора австрийского и первый тенор миланской сцены, г. Поджи, дал два музыкальных утра в фойе большего театра 6 и 9 сентября. Конечно, всё это слишком мизерно, но нельзя не принять во внимание, что открытие в то время спектаклей зимнего сезона происходило гораздо позднее, чем ныне, а именно: 15 сентября, т. е. когда Государь и другие высокие посетители из Москвы уже выехали.

За то аристократических балов было много. Пользуясь нахлынувшею в Москву массой военной и придворной молодежи, высшее общество танцевало до упаду. Кроме упомянутых выше балов московского дворянства и в вокзале Петровского парка, были еще балы: 6 сентября, у хозяина Москвы, князя

Д. В. Голицына, и, 9 сентября, у князя С. М. Голицына. Государь Император с великими князьями, принцами и герцогами, удостаивал все эти балы своим посещением, и своей простотой и милостивым вниманием придавал им особый блеск и оживление.

4 сентября, в высочайшем присутствии, состоялся развод от 2 учебного карабинерного полка, а 6 — ученье батальону кадет московского кадетского корпуса. 5 сентября государь изволил быть в Екатерининском и Александровском институтах благородных девиц и посетил Мариинскую больницу, 6 — обозревал арсенал, 7 — воспитательный дом и Александровский сиротский институт, 8 — вдовий дом. Москва с утра до вечера стояла на ногах. Кремль, улицы и местности, где проезжал, или куда приезжал Государь, были буквально залиты тысячами народа. Одно его появление электризовало массы и восторженные клики «ура»! гремели и, как раскаты эхо, неслись за его экипажем из одного конца города до другого. Иногда, вследствие скопления народных масс, проезд Государя замедлялся. Толпа обступала коляску Царя со всех сторон, некоторые смельчаки вскакивали на подножку и целовали руки и края одежд любимого монарха с благоговением. Государь милостиво раскланивался на все стороны, иногда говорил народу свое «спасибо», и раз как-то, на углу Охотного ряда и Тверской, просил толпу расступиться и пропустить его, иначе он опоздает приехать к назначенному им часу.

Многие обращались к великодушию и милосердию Самодержца. Так, в проезд его величества к разводу 2 учебного карабинерного полка, на Воскресенской площади, пал перед коляской Государя убеленный сединами старец в дворянском мундире и, воздев к нему руки, взывал о милости. Николай Павлович приказал остановить коляску, подозвал к себе старика, выслушал его жалобу на обиды и притеснения родственников, завладевших его имением, во время службы его на Кавказе и милостиво спросил его.

— А есть у тебя прошение ко мне?

— Какое может быть, ваше императорское величество, прошение у старого солдата! — отвечал обласканный старик: — подавал я десяток прошений в разные суды на твое имя, Государь, и ни на одно не получил удовлетворения. Что делать, лично решился предстать пред твои светлые очи: как ты решишь, надежа-государь, так уж пусть и будет.

— Хорошо, — ответил благосклонно государь — ступай во дворец и жди меня.

Возвратясь с развода, царь повелел выдать старику (как говорили тогда, капитану Фирсову), из собственной шкатулки

500 рублей, а дело его вытребовать и рассмотреть в Петербурге.

— Поезжай с Богом домой — трепал старика по плечу Государь на прощанье: — а чем будет решено твое дело — я тебя уведомлю.

Также он принял у вдовьего дома и также благосклонно выслушал просьбу престарелой вдовы-солдатки о возвращении ей, для прокормления её на старости, сына-кантониста. Просьбу эту тоже приказал, как говорили потом, удовлетворить.

Вечером 10 сентября, т. е. в день закладки храма Христа Спасителя, Москва была иллюминирована. Кремлевские стены со стороны сада и самый сад, а также все прилегающие к Кремлю площади и улицы ярко освещались громадными щитами и транспарантами, составленными из разноцветных шкаликов, и массой горевших в окнах зданий свечей, и на тротуарах — плошек. Народ буквально затоплял кремлевский сад и все окрестности, по которым в несколько рядов катались, в экипажах, знать и лучшее общество столицы. Около 9 часов показался в публике ехавший с Наследником Цесаревичем, Государь Император, а вслед за ним и прочие высокие гости Москвы. Они проследовали по всей цепи залитых огнями стен Кремля и по некоторым улицам, приветствуемые повсюду ликовавшим народом с живейшим энтузиазмом.

11 сентября, московское купечество, с Высочайшего соизволения, дало в экзерциргаузе обед прибывшим на закладку храма частям гвардейских войск. Столы для нижних чинов были накрыты в 4 ряда, по 16 столов, на 60 человек каждый. В конце же манежа распорядители устроили небольшое возвышение, убранное дорогими коврами и экзотическими растениями, где накрыли завтрак для свиты его величества и офицеров гвардейского отряда.

Государь Император с Наследником Цесаревичем, великим князем Михаилом Павловичем, герцогом Максимилианом Лейхтенбергским и принцами, в сопровождении генерал-фельдмаршала князя Варшавского, свиты и генералитета, изволил удостоить обед своим посещением.

У подъезда экзерциргауза встретили его величество московский городской голова и депутация от купечества (устроителей обеда). Войдя в манеж, Государь поздоровался с войсками, и когда радостные клики: «здравия желаем, ваше императорское величество», потрясли стены здания, последовало приказание снять кивера и садиться за столы. Во время обеда Царь с сопровождавшими его лицами проходил по столам и, пробуя солдатский борщ и другие кушанья, изволил неоднократно изъявлять свое высокое удовольствие хозяевам

обеда, и за радушие приема, и за усердное угощение солдат.

Обойдя все ряды столов, Государь Император милостиво разговаривал с купечеством, и между прочим, изволил отозваться, что угощение солдат хлебом-солью, доказывающее гостеприимство жителей Москвы, столь приятно, что он принимает его так, как усердие, лично его величеству оказанное. И тут же, потребовав вина, соизволил пить за здоровье московского купечества. Примеру его последовали великие князья, герцог и принцы. Затем, побеседовав еще несколько времени с купечеством о развитии торговли и фабричной промышленности в Москве и изъявив еще раз свое высокое удовольствие всем лицам, бывшим хозяевами обеда, его величество изволил удалиться. Великие же князья, герцог и принцы, а также генерал-фельдмаршал, свита государя и генералитет, проводив Императора, возвратились в экзерциргауз и удостоили участия завтрак, приготовленный для свиты и гвардейских офицеров.

Солдаты гвардейского отряда, по прибытии в Москву, никакой службы не несли. Отбыв бородинские маневры, продолжавшиеся несколько недель, они получили отдых и пользовались свободой осматривать город и навещать своих родных и знакомых. Великий князь Михаил Павлович, главный начальник гвардейских войск, предписал, чтобы гвардейские нижние чины, при выходе из казарм, были одеты по форме, и, посещая родных и знакомых, в питейные дома не ходили и вообще вели себя трезво и благочинно. И, действительно, случаев нарушения дисциплины почти не было. Но в семье не без урода. Раз как-то, великий князь Михаил Павлович около полудня ехал в военный госпиталь, в Лефортове. Проезжая Немецкой слободой, он встретил небольшую кучку фабричных и среди их громко рассуждавшего и помахивавшего находившеюся в руках косушкой водки егеря.

— Это что такое! — закричал великий князь, остановив коляску, в которой ехал с каким-то генералом: — егерь, поди сюда!..

Солдатик, увидав грозного царева брата, оторопел и, не зная что делать, топтался на месте.

— Что же ты нейдешь, — повторил великий князь — поди сюда, я тебе приказываю!

— Боюсь, ваше императорское высочество, — лепетал егерь — казнить будете.

— Да что же я, палач, что ли! — вспылил великий князь — поди сюда, говорю тебе! — И не дожидаясь ответа, вышел из коляски и пошел к егерю навстречу.

Егерь, видя, что спасения нет, сделал несколько шагов и остановился.

— Это что такое у тебя в руках? — вскричал великий князь, указывая на косушку.

— Косушка водки, ваше императорское высочество, которую я вот хотел распить с земляками.

— Разве ты не знаешь, что я приказал, чтобы вы в Москве по кабакам не ходили и не пьянствовали?

— Ваше высочество, я в кабаке и не был, — проговорил как бы с упреком егерь — а косушку эту принес вот Тимонька, я же ее взял только в руки и кое-что сказал, как пить надо вино с толком.

— И этого нельзя делать, — сказал великий князь, — ходить по улицам с косушкою в руках.

Солдатик был шустрый и уже успел овладеть самим собою. Улыбнувшись, он ответил уже бойко.

— Не извольте беспокоиться, ваше высочество, ведь я сам Пинетти. Вот вы изволите видеть косушку водки, а другие не видят. Я вас сейчас удостоверю. И солдатик, взяв косушку, поднял, показал и громко просчитав: раз, два, три! махнул рукой, повернулся около великого князя — и косушка исчезла. Он самодовольно протянул вперед обе руки и раскрыл ладони, они были пусты. Фабричные стояли в нескольких шагах, и великий князь изумился: куда солдат мог деть косушку?

— Нет-ли у вас, ваше высочество, какой-нибудь монеты, я вам покажу больше, — говорил уже самоуверенно егерь.

Великий князь оглянулся на генерала. Тот вынул из кошелька рубль и подал.

Солдатик взял его между пальцами и с тою же полуулыбкою проговорил:

— Смотрите, ваше высочество, изволите видеть рубль — и он вытянул руку и показал монету. — Считайте, ваше высочество, раз, два, три! Он махнул рукой, раскрыл ладонь — и рубля не было.

Великий князь стоял в изумлении. Толпа прибывала.

— Позвольте, ваше высочество, это вы его спрятали, — говорил серьезно егерь и вынул рубль из-за ботфорта великого князя.

Михаил Павлович рассмеялся.

— Да он и в самом деле — Пинетти. А ну, повтори!

Солдат повторил фокус еще ловчее и вынул рубль из-за галстука генерала.

Фабричные и народ, которого набралось уже довольно много, смеялись.

— Ну, хорошо, Пинетти — отозвался великий князь: —

возьми себе этот рубль на память и ступай гулять. Да только ты смотри у меня — пригрозив, рассмеялся Михаил Павлович: — вовремя на месте быть и в порядке!.. Не то, я тоже ведь Пинетти, возьму тебя, скажу: раз, два, три! — и тебя не будет. Вынут тебя, потом, пожалуй, из какой-нибудь гауптвахты. — И великий князь стал садиться в коляску.

— Не извольте беспокоиться!.. Благодарю покорно, ваше высочество! — провожал его егерь. — Ребята, обратился он к народу — «ура»! его высочеству!

И громкое «ура»! прокатилось вслед за удалявшейся коляской.

Эпилог этой встречи завершился в госпитале, где за обшлагом шинели великого князя, когда ее сняли, оказалась сунутая егерем косушка.

— А! Это меня Пинетти наградил, — рассмеялся Михаил Павлович, и рассказал встретившему его начальству о проказах егеря.

Случай этот передан был мне одним из госпитальных врачей, слышавших его от самого великого князя и подтвержден потом случайно встретившимся очевидцем.

14 сентября, в 9 час. вечера, Государь Император изволил выехать из Москвы, а вслед за ним отбыли великие князья, принцы и свита, гвардия тоже выступила и Москва погрузилась в обычную дрему. В 9 часов вечера, в то время, её граждане предавались сну. Только полиция бодрствовала, и то не всегда и не везде. Доказательством тому служит тот факт, что зимою 1839 года, в одну из ненастных ночей, какие-то шутники собрали и доставили к дому обер-полицмейстера двенадцать алебард, похищенных ими у спавших будочников.

Назаровы и Т. Н. Грановский

Т. Н. Грановского я встречал в Москве, в начале сороковых годов, у А. Н. Назаровой, жившей на Тверской улице, в доме Жаркова. Она имела двух сыновей, студентов, Василия и Павла Ивановичей, живших с нею, и дочь, выданную замуж за какого-то тамбовского помещика. Я посещал Павла Ивановича раз, а иногда и два в неделю, чтобы набираться ума-разума. Он учил меня русской словесности, давал читать книги и вообще руководил моими первыми шагами на поприще жизни.

Первый раз я видел Грановского в небольшом кругу гостей Александры Никитишны, за вечерним чаем. Он уже тогда составил себе имя даровитого ученого; поэтому его встречали с особенной предупредительностью. Я знал его понаслышке; говорили, что он умница, за словом в карман не полезет, следовательно, встреча с ним представляла для меня двойной интерес. Я вошел в комнату несмело, конфузясь поклонился и сел в уголке. Тимофей Николаевич сидел у стола, вблизи хозяйки, рядом с которою помещались две какие-то молодые дамы, почтенный старичок, с титулом превосходительства, солидный чиновник губернского правления и несколько студентов. Грановский показался мне еще очень молодым; манеры его были мягки, речь тихая, вкрадчивая. Он говорил в этот вечер немного, но каждое его слово, каждая фраза выходили такими красивыми, такими увлекательными, что любо было слушать. Но из всего им тогда сказанного у меня теперь ничего не осталось в памяти.

Второй раз я его видел при утреннем визите. Побеседовав с хозяйкой дома, — он зашел к нам, т. е. в рабочую комнату Павла Ивановича, где я сидел за книгой. Перекинувшись несколькими словами с Павлом Ивановичем о новостях дня, о каких-то новых распоряжениях по университету, о своих лекциях, он лениво повернулся ко мне, посмотрел внимательно и спросил: «что, каков»?

— Поедом ест русских беллетристов, — отвечал Назаров.

— Вот как!.. А не можете ли прочитать нам что-нибудь? — обратился он ко мне.

Я сконфузился. Но, оправясь, прочитал наизусть сцену убийства из «Аммалат-Бека». Когда я с пафосом продекламировал слова: «на том месте, где ты убил отца моего, там я из тебя выточу кровь и развею прах твой по ветру», Грановский сказал: «хорошо!.. Из него выйдет писатель, или актер».

Сюжет песни о купце Калашникове

После польской компании 1831 года, в Москву наехало много офицеров раненых, больных, или просто отдохнуть и повеселиться. Большинство этих офицеров любило пожить за спиною начальства, как говорилось, во всю. Товарищеские пирушки, кутежи, картежная игра, волокитство и эксцентричные выходки были главнейшими составными элементами их вольной, ничем не стесняемой отпускной жизни. В особенности выделялись тогда два молодых офицера. Один гвардейский поручик, другой штабс-ротмистр гусар. Они были короткие приятели. Оба хороших фамилий, оба храбры, оба красивы, оба богаты и оба хотели быть первыми в тесном кружке кутил и игроков. Мало-помалу между ними возникло соперничество, и они старались превзойти один другого в удальстве. Если сегодня гвардеец устраивал завтрак, то завтра гусар давал приятелям обед; если первый везет вечером товарищей за город на тройках, то другой потом целые три дня кутит с друзьями у цыган, и в конце концов разбивает трактир. Если тот похищает из театра танцовщицу, то этот, спустя несколько времени, увозит у купца жену.

Сим последним эпизодом завершились их доблестные похождения. Но эпизод окончился трагически. Расскажу, как я слышал о нём.

На одной из окраин Москвы, заселенной купечеством, жил один богатый коммерсант, человек молодой, солидный и дельный, недавно женившийся на 18-тилетней, чрезвычайно красивой девушке. Он жил по старинному. Утром уезжал на откормленном рысаке в гостиный двор, где у него находились товарные склады, занимался весь день делами и только вечером возвращался домой. Дом его, как большинство старинных купеческих домов того времени, содержался постоянно под замком. Если кому нужно было войти в него, то он должен был несколько раз позвонить. К воротам выходили молодец или кухарка и, не отпирая калитки, спрашивали: «кто? кого надо? зачем»? Получив ответ, шли с докладом и после некоторого времени возвращались и впускали, или же отказывали, говоря: «дома нет», или же «велено придти тогда-то». Жена его из дому никуда не выезжала, кроме церкви или родных, и то не иначе, как с мужем, или со старухой свекровью, или же с обоими вместе.

Об этой-то запертой красавице и шепнули гусару. Он приехал как-то в церковь, посмотрел и заинтересовался. Начал он изыскивать меры, чтобы познакомиться с купцом, но купец от

всякого знакомства отказался. Хотел обратить на себя внимание купчихи, пробраться как-нибудь в дом, но не удалось: строгости в доме увеличили, старуха свекровь не отходила от невестки ни на шаг и берегла ее как зеницу ока. Но встречаемые гусаром препятствия только сильнее подстрекали его самолюбие, и он поставил себе целью во чтобы-то ни стало завладеть купчихой Долго ему ничего не удавалось, но вдруг выпал счастливый случай. Накануне какого-то большего праздника, купчиха, в сопровождении свекрови и старухи няньки, отправилась пешком в приходскую церковь ко всенощной. Гусара давно уже не было видно в их мирной окраине, он перестал туда ездить. По окончании службы, когда купчиха со своими провожатыми возвращалась домой, вдруг из-за угла соседнего переулка выскочило несколько молодцов, они растолкали старух, схватили купчиху под руки, посадили ее в подлетевшие из-за угла, запряженные лихою тройкою сани и увезли. Улица огласилась криком о помощи, сбежался народ, но тройки давно уже и след простыл. Купец бросился к властям, поднял на ноги полицию, начались розыски, но купчихи не отыскали.

Через три дня та же лихая тройка доставила купчиху домой. Стали расспрашивать: «где была?» Купчиха отвечала: «за городом, но где именно — не знаю». «С кем?» — «С гусаром». Собрали всех гусаров. Виновный заявил, что это сделал он, и что же? Князь Д. В. Голицын, бывший в то время московским генерал-губернатором, сам в молодости немало нашаливший, хотел потушить дело и стал склонять купца на мировую. Трудно было тогда идти против властей, особенно против власти московского главнокомандующего. Купец думал, думал и подчинился. В одном из известных московских ресторанов устроилась мировая. К роскошному обеду явился купец в сопровождении своих сродников и свойственников; гусар с товарищами. Соперников свели, заставили подать друг другу руки. За обедом пошли тосты «за примирение», пили много, и еще более шутили и смеялись. После обеда купец предложил гусару «сыграться в карты», и мрачно прибавил: «авось я буду счастливее». Кто из офицеров отказывался от игры, гусары тем более. Поставили стол. Началась игра. Гусар метал банк, купец понтировал. Счастье улыбалось по очереди то тому, то другому. Вдруг купец, проиграв одну довольно крупную ставку, хватает гусара за руку, и с криком! «шулер, передернул!» дает ему пощечину. Гусар выхватил саблю и хотел рубануть, но его удержали. Явилась полиция, купца отправили на съезжую, откуда он написал генерал-губернатору письмо, в котором объяснил, что гусара обесчестил за то, что тот обесчестил его жену, а на утро повесился.

Вот это то печальное событие, как рассказывал мне один из товарищей М. Ю. Лермонтова, некто И. И. Парамонов, и натолкнуло поэта на мысль написать песню о купце Калашникове, которой конечно дана более блестящая по содержанию форма.

Обер-полицмейстер Цынский

В царствование императора Николая, общий срок военной службы был 25-ти летний. Рекрутские наборы производились при особых, весьма тягостных для населения условиях. Назначались в рекруты люди от 20 до 35 лет, а при неимении метрических свидетельств, шли иногда старики 40–45 лет и более. Принимаемым брили лбы, а бракуемым — затылки. Людей, назначаемых в солдаты, привозили из деревень под присмотром бурмистров, управляющих и старост, связанными, а подчас и в кандалах. После приема их отправляли под конвоем с ружьями. При таких порядках, понятно, с какими чувствами народ шел отбывать эту тяжкую для него повинность. Исполнение её сопровождаюсь возмутительными сценами. Тут было всё: и повальное, беспробудное пьянство назначенных на очередь, и плач, рев, вой, обмороки и причитанья, как бы по мертвеце, их жен, сестер и матерей, и безумная, бесшабашная радость тех немногих, кто по какому-либо счастливому случаю, избавлялся от рекрутчины.

Я помню эти наборы. В начале сороковых годов, мне часто приходилось видеть в Москве эти печальные жертвоприношения народом детей своих на алтарь отечества. Особенно врезался в мою память следующий трагикомический эпизод.

Прием производился еще в здании присутственных мест на Воскресенской площади. Очередных вводили в прием по волостям или вотчинам. Семьи их, родичи и друзья, а также городские зеваки, составляли народные массы вокруг здания присутственных мест. Изредка с крыльца приема сбегал вестник и вещал: «такой-то и такой-то забриты, такой-то забракован». Вопли и стоны усиливались. Толпа колыхалась и выбрасывала из себя два-три семейства сданных в рекруты: они уходили оплакивать свое горе туда, где над ними никто не посмеется. Порой с крыльца сбегал забракованный с громадным выбритым на затылке полумесяцем и начинал или креститься по направлениям к соборам, или плясать среди толпы.

Но вот однажды сбегает с крыльца присутствия, расталкивая стражу и толпу, неизвестно как ускользнувший из приема молодой парень с забритым затылком, в костюме прародителя, волоча правой рукой по снегу пестрядинную свою рубаху. Толпа загоготала и расступилась, дав ему дорогу. Парень вероятно желал пробраться к Иверской, забывая, что он совершенно голый, ринулся на площадь и понесся прямо, что есть мочи.

В это мгновение выезжал из-за угла, мчавшийся на своих

«непобедимых» с тремя конвойными казаками, обер-полицмейстер Цынский, не человек, а зверь, про которого ходила в народе поговорка: «украл у батюшки свитку, у матушки свинку». [2]

— Это что за безобразие? — раздался зычный голос начальника полиции — казак, взять его!

Казак бросился за парнем, парень от него, казак пришпорил лошадь и стал настигать нагиша. Казалось, вот, вот он его сейчас схватит; но парень не захотел поддаться, бросился наземь, и казак, перескочив чрез него, пролетел далеко вперед. Парень же между тем вскочил и ударился бежать назад. Толпа ринулась навстречу и заслонила его: кто набросил на него тулуп, кто дал валенки, кто надел шапку, и парень успел скрыться.

Цынский рвал и метал, но с толпой ничего сделать не мог и уехал. На утро собрали к нему всех волостных и вотчинных сдатчиков, проверили забракованных и парня отыскали. Судопроизводство в то время было упрощенное: парня отправили в частный дом и там отстегали, но отстегали должно быть неосторожно, так что бедняка пришлось отправить в больницу, где он полежал, полежал и помер.

А. П. Ермолов, узнав об этом, сказал: «ну, проведают в Петербурге, сошлют бедного Цынского на Кавказ, на место Нейдгардта».

Как Мина попала в фавор

В «Хронике петербургских театров» А. И. Вольфа, мне пришлось, между прочим, прочитать, что «в Петербурге, при директоре театров А. М. Гедеонове, имела громадное влияние на театральный мир Мина Ивановна Б., занимавшая неофициальный, но весьма важный пост театральной помпадурши. От неё зависели главные назначения и ангажирования артистов, она вмешивалась и в хозяйственную часть: ни один подрядчик, ни один поставщик не допускался без её предварительного одобрения. Зато квартира этой чухонской Аспазии и вообще вся её обстановка отличались необыкновенною роскошью. В её салонах толпились не только артисты, но и все лица, имевшие дело до её патрона», и т. д.

Эта «чухонская Аспазия» была действительно всемогущая в свое время фаворитка министра двора и друга императора Николая, покойного графа В. Ф. Адлерберга. Влияние её не ограничивалось одним театральным мирком, многое от неё зависело и вообще по министерству двора. Знаменитый остряк, князь А. С. Меншиков, сказал однажды: «люблю я графа Адлерберга, но мне его мина не нравится».

Деятельность фаворитки многим в Петербурге известна и до сих пор памятна. Но многие ли знали её прошлое и случай её повышения?

Вот что рассказывал мне о ней М. С. Морголи, бывший откупщик, человек, обладавший в свое время большим состоянием и любивший пожить. Он знал Мину еще «бедною».

В начале тридцатых годов, проживали в Москве две сестры, немки, дочери петербургского ремесленника, Юлия и Вильгельмина Ивановны Гут. Жили, конечно, и ничего не имели. Ну, а как рыба ищет где глубже, а человек где лучше, то они и задумали отправиться за счастьем в Петербург. Это было в 1834 году. Железных дорог тогда еще не существовало, а для сообщения обеих наших столиц предлагали свои услуги почты, казенные или вольные, и знаменитые частные дилижансы. Проезжая из Малороссии по делам в Петербург, Михаил Степанович заблагорассудил отправиться из Москвы в частном дилижансе, и вот тут то он имел случай познакомиться с девицами Гут, отправившимися «за счастьем» в Петербург. Само собою, дорога оказалась приятною (дело было летом). Продолжительные остановки на станциях, прогулки в окрестных лесах и рощах скрепили знакомство, которое по приезде в Петербург перешло в дружбу.

Девицы Гут поселились на углу Большой Подьяческой и

канала в д. Мейера, в небольшой квартирке третьего этажа. Наружностью они особенно не выделялись, но вообще при первой встрече производили приятное впечатление. Обе сестры были блондинки. Старшая, Юлия, имела 23–24 года, рост средний, лицо полное, немного рябоватое, отличалась чрезвычайно живым и веселым характером. Младшей, Вильгельмине, было не более 17–18 лет, её маленькое, выразительное личико, молчаливость и мечтательность невольно как-то располагали к ней всякого. Жили они бедно, так как никаких определенных средств не было. Одевались скромно, но прилично, квартирку содержали чисто. Михаил Степанович посещал их около года и вносил в семью некоторый достаток, но он в 1835 году отправился в Малороссию и покровителем девиц Гут остался товарищ его, Абрам Григорьевич Юровский, богатый малороссийский помещик, содержавший в то время на откупу несколько уездов в Малороссии. Он был уже не молод, лет 50-ти, роста среднего, худощавый, с громадной лысиной на голове. Особенно отличался он тем, что имел глаза не одинакового цвета: один серый, другой голубой. Покровительство его повело к тому, что сестры разъехались. Юлия осталась в Подьяческой, а Вильгельмина переехала на Пески.

Знаменитый пожар Песков, истребивший почти всю эту часть города осенью того года, сделал карьеру Вильгельмины Гут. Известно, что император Николай имел обыкновение выезжать на всякий мало-мальски серьезный пожар и личным присутствием и распорядительностью содействовать к скорейшему локализированию и тушению огня. На песковский пожар он приехал с генерал-адъютантом графом В. Ф. Адлербергом. Поместившись почти в самом центре объятой пожаром местности, государь отдавал приказания и вдруг видит из ворот одного деревянного, только что загоревшегося недалеко домика выбежала с распущенными волосами, в одной сорочке и босиком, молодая девушка, которая, как безумная, металась по улице и молила о помощи. Государь обернулся к графу Адлербергу и сказал: «надо ее укрыть где-нибудь». Несколько полицейских чинов уже окружили девушку; граф подошел к ней, накинул на нее свою шинель и велел отвезти ее к себе на квартиру.

Это была «Мина», и с этой ночи начался её фавор.

М. С. Морголи посетил ее в следующем году. Она уже вошла в свою роль и начинала господствовать. Не стану распространяться о её влиянии на графа Адлерберга, скажу только, что многие, как, например, Тарасов и др., нажили чрез неё состояние. Для приобретения же социального положения, она вышла замуж за почтового чиновника Б., которого отправили почтмейстером в

Сибирь, где он и дослужился до чина действительного статского советника. Значит, «Мина» вышла в генеральши. Сестра её Юлия также вышла замуж за почтового чиновника, но карьеры себе не сделала.

Была у «Мины» еще сестра — Александра Ивановна, старше Юлии года на три, женщина замечательной красоты. В 1829 году она пленила одного гвардейского офицера, полковника В. И. Родзянко, и уехала с ним в его имение, Полтавской губернии. Там они обвенчались, но как-то не по уставу церкви, или с нарушением его правил. Мать и братья Родзянко возбудили дело и суд, тянувшийся довольно долго, в продолжение которого муж её умер, а она отправилась с каким то проходимцем в Одессу, была им в дороге обобрана и явилась в Петербург, когда фаворитизм «Мины» начался. Здесь она успела добиться пересмотра её дела, кончившегося преданием участников суду. Но Александра Ивановна вышла из воды сухою. Она была признана законной женой полковника Родзянко и получила вдовью часть — 230 душ крестьян в Полтавской губернии. Пострадали же только священник, да несколько свидетелей дворовых, отданных в солдаты или сосланных в Сибирь на поселение.

Архиерейский прием

Курьезны бывают иногда отношения наших русских деятелей в Литве к бедным русским людям.

Был у меня один добрый знакомый, некто В. С. Александров. Происходя из дворян Псковской губернии, он отдал в юности дань веку, т. е. прослужил известное число лет в военной службе, и в 1871 году, не имея надежды достигнуть степеней известных, вышел в отставку с тем, чтобы приискать себе более спокойное место в гражданской службе. Человек небогатый, скромный, непьющий, он остался в Западном крае, где стоял полк, в котором он служил, и где он, как русский, надеялся скорее найти место.

Первые шаги свои он направил, в Гродно, где в то время губернаторствовал известный князь Кропоткин, так печально окончивший впоследствии жизнь свою в Харькове.

Начались хождения к губернатору, к председателям разных палат, к акцизному и другому начальству. Но бедного просителя без связей, без рекомендаций, встречал везде сухой прием и извинения в неимении вакансий. При дальнейших хождениях следовали обещания иметь в виду при случае; далее послышались сожаления о невозможности предоставить место и, наконец, все просьбы и исканья завершились грубыми отказами.

А время между тем бежало быстро. Проходил месяц, другой, несколько; сделанные в военной службе кой-какие сбережения были съедены, излишние вещи заложены, явились долги, а затем невидимо подкрались лишения, голод и нищета. Без всяких знакомств, без средств, один-одинёшенек в чужом городе, Василий Степанович не знал что делать: приходилось искать кусок хлеба поденной работой, или идти по стезе преступления. Он жил на краю города, у одного бедного еврея-портного, который, сожалея о его несчастье и неудачах, посоветовал ему обратиться к архиерею с просьбой помочь ему приискать место, в котором ему явно отказывали в виду его русского происхождения. Действительно, Муравьева и Кауфмана давно уже в крае не было и Потаповские идеи о покровительстве туземцам в обществе преобладали. Александров решился отправиться к преосвященному.

Гродненскую кафедру занимал тогда Игнатий, бывший викарием литовского митрополита Иосифа Симашко. Это был маститый старец, с белыми, как лунь, волосами и бородой, крикливым голосом и дрожащими от старости руками. Он, говорили, был богат, но память изменяла ему, так что послушники его частенько прибирали за ним кредитные билеты,

которые он рассовывал по столам и ящикам и забывал. Он любил пожить, поесть, но в обращении с людьми был груб и отличался индифферентизмом к интересам русского населения.

В одно пасмурное утро, с какой-то неясной тревогой в душе, бедный Василий Степанович отправился в епископский дворец, и, придя в приемную, просил послушника доложить о нём его преосвященству.

— Подождите, — отвечал покровительственно молодой, франтоватый послушник.

Других посетителей никого не было, и потому пришлось ждать долго. Наконец, около полудня, преосвященный изволил выйти с посохом в руке, и, остановясь посреди комнаты, спросил: «что ты»?

Подойдя под благословение, Александров объяснил владыке свое положение и те препятствия, которые встречал при отыскании места, просил его предстательства об определении куда-нибудь на службу, при чём представил и все выданные ему от военного начальства бумаги и аттестаты о знаниях и поведении.

Объяснения Александрова архиерей выслушал молча, нахмурив брови, и изредка, как будто в нетерпении, постукивая об пол посохом. Потом посмотрел документы, и, возвращая их, сказал: «документы твои ничего не значат: ты мог быть прежде хорош, а теперь худ, и наоборот, прежде мог быть худ, а теперь хорош. Я, как лицо духовное, могу ходатайствовать только о тех лицах, которые мне лично известны, а тебя я не знаю. Иди к губернатору и проси его»!

Александров отвечал, что он был уже несколько раз и у губернатора, и у других властных лиц, но без сильного заступничества у них нельзя получить места.

— Ну, так что же я могу для тебя сделать? — возразил с горячностью Игнатий, — хочешь в монахи — я приму.

— Не имею призвания, святой отец, — отвечал Александров, и, извиняясь за причиненное беспокойство, вышел из приемной.

Он сходил уже с высокого крыльца архиерейского палаццо, как вдруг громкий голос послушника остановил его и пригласил опять к преосвященному.

Сердце учащенно билось у бедного просителя, когда он снова входил в приемную залу; ему казалось, что вот, наконец, счастье улыбается, он получит место и будет иметь кусок насущного хлеба.

Суровый архиерей стоял на том же месте, опираясь на посох и усиленно моргая бровями. При приближении к нему Александрова, он быстро протянул правую руку и, подавая

несколько медных пятаков, сказал ему: «вот, на!.. чем могу, тем помогаю».

Несчастный Александров совершенно растерялся и несколько времени не находил слов для ответа. Эта милостыня, грубая, унижающая и оскорбляющая человеческое достоинство, пришибла его окончательно, и он, сквозь слезы, едва мог выговорить, что он пришел не за подаянием, но чтобы получить право на заработок куска хлеба, в чём ему, как русскому, все отказывают.

— А когда так, — вскричал Игнатий, обращаясь к послушнику вне себя от гнева и стуча, что есть силы, посохом об пол, — гони его вон!.. вон!.. вон!..

Александров бросился к дверям, а вслед ему летели восклицания гневного архиерея: «гони же его!.. Если бы был беден, то взял бы… а то видно, что…»

Нужно ли говорить, что только благодаря снисхождению послушников, с которыми он до выхода архиерея долго беседовал и успел расположить их к себе, он не был спущен с лестницы, по которой еще так недавно вела его надежда на благость высшего представителя наших духовных интересов в крае.

Подобный прием так повлиял на нервную систему Александрова, что он долгое время после того не мог видеть равнодушно ни архиереев, ни священников, ни монахов.

Как определяли в учебные заведения

В 1824 году, в зале Академии Художеств производился экзамен желающим поступить в академию, в присутствии президента её Алексея Николаевича Оленина. Собралось более 100 лиц, а вакансии было только 50. Не прошло и получаса, как комплект воспитанников, экзаменовавшихся по очереди, был набран, и экзамен прерван возгласом: «довольно, нужное число воспитанников принято»! Таким образом, начатый экзамен нескольким молодым людям был прерван. Находившаяся с одним из них, Д. А. Ивановым, тетка, камер-юнгфера двора Её Величества Екатерина Ивановна Звездкина обратилась с жалобою к президенту Оленину на перерыв экзамена. Алексей Николаевич, знавший лично г-жу Звездкину, извинился перед нею, и сказал:

— Успокойтесь, пожалуйста, Екатерина Ивановна, племянник ваш будет принят. Неугодно ли вам присесть. — И он подвинул ей кресло.

— Да как же? ведь комплект уже полон? — волновалась расходившаяся тетушка, усаживаясь в кресле.

— А вот как, — улыбнулся президент академии, — я имею право принять одного сверх комплекта, по баллотировке.

Засим он приказал всех непринятых в академию молодых людей поставить в ряды и стал вызывать по очереди. Вызываемый опускал руку в урну с билетами, брал один билет и подавал президенту. Вызван был в свою очередь и Иванов, который тоже вынул билет и подал его Оленину. Алексей Николаевич развернул его и возгласил: «Счастливец! Вынул приемный билет. Поздравляю». И он взял его за руку и отвел к принятым по экзамену товарищам. Возвратясь на место, он обратился к Звездкиной с вопросом:

— Довольны ли вы, Екатерина Ивановна?

— Еще бы не быть довольной, батюшка, Алексей Николаевич, ведь вы осчастливили мальчика на всю жизнь. Теперь я в долгу перед вами. Прощайте.

И Оленин встал, проводил ее несколько шагов и почтительно раскланялся.

Как определялись на должности

В феврале 1862 года, на смотрителя одного из с.-петербургских провиантских магазинов Иванова был прислан директору провиантского департамента анонимный донос, что у него в кассе не хватает казенной суммы. Тотчас была назначена экстренная ревизия. Но генерал-майор Шилин, произведя поверку книг и денежных сумм, нашел всё в порядке и деньги в наличности. По докладе об этом директору департамента генералу Данзасу, последний возбудил вопрос: «Как же так! мне положительно известно, что у него пропали деньги». «Точно так, — отвечал генерал Шилин, — у Иванова ушла жена и унесла собственные его 10 000 р.».

— А вот что! — воскликнул директор и, подумав, прибавил, — во всяком случае, кто не умеет беречь свои деньги, тому нельзя вверять казенных.

И Иванов был отрешен от должности.

Прошло два года слишком, на все просьбы беспричинно отрешенного смотрителя о назначении его на другую какую-либо должность, он получал один и тот же ответ: «Подождите, откроется вакансия, поместим»! Но вакансии открывались и замещались, а он оставался в приятном ожидании следующей вакансии. Пришлось обратиться к протекции. Иванов был хорошо знаком с игуменом Александро-Невской киновии отцом Аполинарием, имевшим доступ к военному министру. Через него была подана министру докладная записка. Через неделю отец Аполинарий приезжает к Иванову и с неудовольствием стал выговаривать:

— Помилуйте, вы просите определить вас, жалуетесь, что напрасно лишены места, тогда как вас по суду устранили от должности. Странно, почему вы меня не предупредили об этом?

— Как по суду? да я не только что под судом, но и под следствием не был…

— Я не знаю, но мне министр сказал и даже отзыв об этом Данзаса показывал. Поезжайте и разузнайте сами.

Отправился Иванов в канцелярию министра и, действительно, там показали ему донесение Данзаса о бытности его под судом. Побежал он в провиантский департамент и попросил справку. Оказалось, что поводом к подобному донесению был всё тот же анонимный донос, где говорилось, что полиция возбудила дело о предании Иванова суду.

— Скажите, пожалуйста, — спросил Иванов правителя канцелярии Еропкина: — какой же ответ мне дать господину

военному министру, он приказал донести ему об оказавшемся.

— Подождите немного, я доложу об этом директору, — отвечал Еропкин и пошел к генералу Данзасу.

Возвратясь от него, он сказал, что генерал-провиантмейстер желает сам спросить его, куда он желал бы поступить на службу? В это время вошел в канцелярию камер-юнкер Мамонов-Макшеев и пожелал видеть генерал-провиантмейстера. Доложили генералу Данзасу, и гг. Иванов и Мамонов-Макшеев были введены к нему в кабинет.

— Что вам угодно? — обратился к последнему генерал Данзас, любезно пожимая ему руку.

— Я имею передать письмо вашему превосходительству, — отвечал, почтительно кланяясь камер-юнкер, и подал письмо.

— А, — воскликнул генерал-провиантмейстер, прочитав письмо, — очень рад сделать угодное княгине. Какое же вам угодно место? — И, не дожидаясь ответа, с улыбкою прибавил: — у меня есть вакансия обер-провиантмейстера в Ревель, хотите? я вас назначу.

— Очень благодарен, ваше превосходительство, — отвечал, низко кланяясь, Мамонов-Макшеев.

— Так кланяйтесь княгине и скажите, что на днях же приказ о вас будет отдан.

Аудиенция камер-юнкера окончилась и настала очередь Иванова.

— Какое вы желали бы иметь место, г. Иванов, — спросил важно Данзас.

— Обер-провиантмейстера, ваше превосходительство.

— Но это место генеральское, вы не имеете на него права.

— Если ваше превосходительство рискнули дать такое место совсем незнакомому с провиантской частью господину, то почему же не может быть дано такое место и мне, хорошо знакомому с делом?

— Но вы, я думаю, будете согласны с тем, что человек иногда бывает не в праве отказать в просьбе?

— Знаю, ваше превосходительство, но допускаю это только в частных делах.

— Я вас назначу смотрителем в Ригу.

— Благодарю покорно, ваше превосходительство, не желаю.

— Это отчего?

— По многим причинам.

— Например?

— Во-первых потому, что я заслужил большего внимания начальства, ибо, находясь во всё время осады и бомбардирования крепости Свеаборга, при всеобщем пожарище, я сберег всё

вверенное мне казенное имущество и, быв при том ранен, никакой награды не получил, тогда как Гельсингфорский смотритель, не бывший ни в деле, ни в опасности, получил орден Анны 2 степени с мечами. Во-вторых, при заготовлении фуража в Финляндии, сделал казне сбережений более 60 тысяч рублей. В-третьих, лишен места смотрителя без всякой причины и два слишком года бедствую, не получая никакого содержания. В-четвертых, обнесен пред военным министром в бытности под судом…

— Довольно! — перебил его Данзас, — так вот вы на чём основываете ваше требование… не будет вам ничего!.. и стукнул кулаком по столу.

— Посмотрим, ваше превосходительство, а может быть будет, — ответил Иванов, и вышел из кабинета, весь взволнованный.

— Куда вы? — встретил его правитель канцелярии Еропкин.

— Пойду к военному министру и расскажу ему всё, а если не примет, напишу.

— Успокоитесь, пожалуйста, подите сюда, — и он ввел Иванова в канцелярию, — посидите здесь. Вы видели, генерал разгорячился, но он отходчив, и всё может устроиться.

Немного погодя, пошел он с бумагами к Данзасу и, возвратясь, объявил, Иванову, что он может спокойно отправляться домой, назначение на должность будет сделано.

— А какой ответ мне дать министру, — спросил его Иванов.

— Никакого. Поезжайте домой и ждите приказа.

На другой день, в 7 часов утра, курьер провиантского департамента доставил Иванову приказ об отозвании нижегородского обер-провиантмейстера Ком. по делам службы, в С.-Петербург, и назначении на его место Иванова, и приглашение прибыть в канцелярию департамента к 10 часам утра.

— Ну, что, довольны? — спросил Иванова, при входе в канцелярию, полковник Еропкин.

— Еще бы не быть довольным! — отвечал Иванов, — в два-то года не мало настрадался и наголодался.

— Так вот не угодно ли вам получить подорожную и прогоны на 6 лошадей с пособием 600 рублей.

— Этого мало.

— Как мало?

— Ведь я два с лишним года не получал содержания, проелся и задолжал, мне не выехать.

Еропкин отправился к Данзасу и, возвратясь, сказал:

— Генерал-провиантмейстер приказал еще выдать вам 250 рублей из комнатных сумм.

— Этого мало, — отвечал хладнокровно Иванов, — не выеду.

Еропкин опять пошел к директору и, вернувшись от него, приказал позвать экзекутора.

— Есть у вас остаточные деньги от канцелярских расходов, — спросил он тотчас явившегося экзекутора.

— Есть немного.

— Сколько?

— 180 рублей.

— Принесите! теперь, надеюсь, будет довольно? — спросил он, краснея от гнева, Иванова.

Новый обер-провиантмейстер взял счеты и стал считать перед ним. Вот столько то следует мне за два года и два месяца жалованья, столько то столовых, столько то квартирных, а вы даете только 1030 рублей. С ними я не выеду.

Еропкин третий раз отправился к начальству и, вылетев оттуда бомбой, потребовал смотрителя дома.

— Есть у вас экономия от фуража курьерских лошадей? — спросил он смотрителя и, не дожидаясь ответа, прибавил: — подите принесите что у вас есть.

Смотритель принес 125 рублей.

— Получите, — сказал Еропкин Иванову, — и поезжайте к месту нового служения, безотлагательно. Генерал-провиантмейстер, чтобы не задерживать вас, избавляет вас от труда представляться его превосходительству при отъезде.

— Покорнейше благодарю, — отвечал Иванов, и, откланявшись, отправился.

Но событие это, вероятно, сделалось известным военному министру, так как вскоре после того генерал Данзас был назначен членом генерал-аудиториата, а полковник Еропкин отчислен от должности, с зачислением состоять по армии.

«Блудный Булавин»

В начале семидесятых годов, у одного офицера казачьего полка, квартировавшего в Виленской губернии, жил в услужении некто Илькевич, молодой человек лет 25-ти, среднего роста, плотный, хорошо сложенный и красивый собою. Откуда он родом, какого звания — никто не знал, но он выдавал себя за уроженца Донской области, дворянина, выехавшего из края вследствие дурно сложившихся обстоятельств и вынужденного идти в услужение за неимением другого места. Офицер был доволен своим драбантом, так как он исполнял свои обязанности добросовестно и вел себя хорошо. Он давал ему платье с своего плеча, платил изрядное жалованье и разрешал в свободное время погулять… Илькевич пользовался добротою офицера и позволял себе, выходя гулять, надевать шинель с юнкерскими погонами.

Прошло некоторое время, и казачий полк должен был возвратиться на Дон, на льготу. Офицер хотел взять Илькевича с собою, но он ехать с ним не пожелал и просил рекомендовать его на службу кому-нибудь из местных жителей.

В это время Виленским генерал-губернатором был Потапов, бывший наказный атаман войска донского. Он знал лично офицера, у которого служил Илькевич. При представлении ему пред отъездом на Дон офицера, сей последний был приглашен к нему на обед, во время которого он рассказал о затруднительном положении своего драбанта, передал генералу сочиненную им сказку о его донском происхождении, успел заинтересовать сочувствовавшего всем донцам старика, и просил дать своему протеже какую-нибудь службу.

Генерал Потапов, как известно, был человек религиозный, добрый и покровительствовать своим любил. Он велел прислать к нему этого, как он тогда выразился, «блудного Булавина», и Илькевич предстал пред его грозные очи на утро, в своем юнкерском мундирчике.

Генерал-губернатор был в хорошем расположении духа, обласкал «блудного Булавина», говорил с ним на «вы» и, в конце концов, предложил ему поступить на службу в Виленскую полицию. Илькевич, конечно, принял это предложение с радостью и по-польски «пал до ног» и поцеловал у генерала рукав мундира. Это так понравилось представителю власти, что он тотчас же написал полицмейстеру, полковнику Федорову, записку следующего содержания: «прошу принять юнкера Илькевича в свое распоряжение», и вручил ее, для передачи по принадлежности, Илькевичу.

Нужно ли говорить, какую сенсацию произвела эта записка в полиции. Полицмейстер, старый служака из николаевцев, не знал, какое место предложить генерал-губернаторскому протеже. После долгого размышления, он остановился на должности чиновника особых поручений, и «блудный Булавин» занял эту должность, с содержанием 1500 р. в год.

Илькевич оказался чиновником сметливым и распорядительным. Не прошло и года, как его назначили частным приставом одного из Виленских участков. Тут он выказал удивительные способности, в особенности по розыску пропаж и преступников. Приказы по полиции наполнялись изъявлением ему благодарности начальства за его полезную и успешную деятельность. Но не в одной только службе везло ему, финансы его находились уже в блестящем состоянии, и, в довершение благ, он питал себя надеждой завестись своей семьей: одна из дочерей полицмейстера была неравнодушна к «молодому частному», объяснение последовало и был уже назначен день обручения, но «момент выпал» — и счастье принесло несчастье…

Энергический частный пристав, приняв в прописку паспорт какого-то еврея, заметил в нём что-то подозрительное, и вот, чтобы убедиться в благонадежности лица, которому принадлежал паспорт, он отправился вечером к нему на квартиру, в сопровождении полицейских и казаков.

Предположения его увенчались успехом — он не только что арестовал нескольких беглецов, занимавшихся фабрикацией фальшивых кредитных билетов, но успел захватить и самую фабрику.

О подвиге его заговорила Вильна, и генерал-губернатор, по докладе ему об этом полицмейстера, приказал представить Илькевича к награде орденом.

Награда эта и погубила «блудного Булавина». Губернское правление потребовало формулярный список и другие бумаги о происхождении и службе Илькевича, но бумаг о нём никаких в полицейском управлении не было, кроме упомянутой выше записки генерал-губернатора. Задумался Илькевич, и как ни вертелся — пришлось прибегнуть к помощи письмоводителя. В интимной беседе с ним, он рассказал ему, что он не дворянин и не казак донской, а мещанин Минской губернии, Ильчевский; был отдан в рекруты и во время польского восстания бежал. Следовательно, какие же могли быть бумаги у дезертира? Письмоводитель, подумав, посоветовал Илькевичу бежать, — опять бежать, и он бежал, но бежал основательно, т. е. испросив себе увольнение в 28-дневный отпуск для отыскания документов, и с дороги прислал прошение об увольнении в отставку. Его

уволили — и он как будто канул в воду… ни слуху, ни духу о нём после в Вильне не было, но «блудного Булавина» вспоминают и доныне, так как история его впоследствии сделалась народным достоянием.

Но кто поручится, что этот лихой проходимец не пристроился в последствии еще где-нибудь на службу?

Один из «отцов-командиров»

В начале восьмидесятых годов фельдъегерский корпус справлял праздник угодника, покровителя учреждения. Все служащие, как офицерских, так и под-офицерских чинов, по обычаю, декорировались и прибрались, т. е. надели новые мундиры, «кавалерию» и всю присвоенную им но положению амуницию. Отслужили обедню и молебен, и весь корпус служащих направился в зал, где приготовлен был в складчину роскошный завтрак. Старые, седые служаки мешались с молодыми товарищами и, разбиваясь на группы, вели оживленную беседу.

— Что ж это не едет наш «отец-командир»? уже адмиральский час наступил, пора бы и «праздничной» попробовать, — говорил старый майор, обращаясь к группе товарищей.

— Немец — всегда немец, — резонировал безусый прапорщик, — а генерал немец — это доппель немец… он не упустит случая, чтобы не дать почувствовать своего авторитета… Вот подите ж, почти час как весь корпус собрался, а его нет еще!..

— Подождите, господа, — отозвался высокий с лысиной капитан, — может быть он сам поехал по начальству, и приедет, как в прошлом году, с каким-нибудь почетным гостем…

— Я думаю даже, — ввернул свое слово молоденький под-офицер-немчик: — что наш досточтимый Карл Карлович привезет нам на праздник какую нибудь милость, например: несколько сотен рубликов в награду.

— Держи, брат, карман, — захохотал майор, — он о себе только думает, как бы самому словить что-нибудь, а о нас заботится очень мало.

— Да оставьте вы о нём говорить, братцы, — воскликнул капитан, — вы взгляните на закуску — какая прелесть! Татарва поганая приготовлять умеет… на померанцевую посмотришь, так даже во рту сохнет!..

— А, Боже мой!.. да что же это, господа, вы не обратите внимания, — вдруг загорячился старший офицер: — закуска — как закуска, а доппелькюммелю нет!.. ведь наш «отец командир» ничего другого не пьет…

И все засуетились, отыскали татарина-распорядителя и командировали его за кюммелем. Между тем со двора дали знать, что командир приехал. Старшие офицеры пошли встречать, младшие поправляли свои усы и шевелюры и выравнивались в шеренги по сторонам стола.

Чрез несколько минут в зал вошел приземистый,

широкоплечий, полный генерал; его мясистое, одутловатое, чисто выбритое лицо, заплывшее от жиру, серые безжизненные глаза, коротко остриженные волосы и щетинообразные торчком торчащие усы, его вросшая в плечи огромная голова, нахмуренно-сонливый вид и постоянное конвульсивное подергивание верхней губы, его раскидистая воинственная походка, его напускная сановитость и ежеминутное взбрасывание плеч — производили при встрече с ним самое тяжелое, неприятное впечатление. Это был тип выслужившего солдата николаевских времен, уснащенный высокомерием и фанфаронством современного прусского юнкера. Он вошел, как-то подпрыгивая, стремительно пробежал зало и, остановясь посредине её, обвел глазами команду.

— Здравствуйте, — проговорил медленно, поднимая плечи, генерал.

— Здравия желаем, ваше пр-во! — ответила громко команда.

— А вы еще не пьяны? — задал вопрос, становясь в позу, генерал.

Ответа никакого не последовало. Команда как будто оцепенела: так неожиданно поразил ее подобный вопрос.

Генерал между тем, потряхивая эполетами, эстетически наслаждался произведенным им эффектом и, вскинув на нос пенсне, продолжал:

— А между вами есть подлецы!..

Ропот неудовольствия пробежал по рядам людей, собравшихся мирно отпраздновать день своего патрона. Но никто не сделал ни одного возражения, — так страшно и свирепо было красное, как свекла, лицо начальника. Они только переглядывались, как бы ища в среде своей смельчака.

Генерал, между тем, прошёлся два раза взад и вперед по комнате, и молча щипал свои коротко остриженный щетинистый ус. Он видимо что то обдумывал.

— Ваше пр-во, — вдруг окликнул его выступивший из рядов молодой человек, — мы не знаем, о ком вы изволите говорить, и если есть среди нас такой человек, то нам нужно знать его, и тогда мы обсудим, что с ним нужно сделать. Не будете ли так добры назвать нам этого человека?

— А, милостивый государь!.. вы смеете предлагать мне подобные вопросы!.. я не хочу называть имен!.. но я сказал, и повторю еще раз: между вами есть подлецы!.. для вас должно быть довольно этого… узнать о ком я говорю — ваше дело.

— Но позвольте, ваше пр-во, хоть какое-нибудь указание… дайте какой-нибудь ключ… как же иначе узнать?..

— Вы очень хорошо знаете, о ком я говорю, называть я никого

не хочу, но должен сказать, что с подлецами я служить не намерен… слышите!.. я надеюсь, что вы поймете, что вам нужно сделать… А вы, молодой человек, — обратился он к говорившему, — для нашей службы не годитесь.

Команда стояла как пораженная громом, и другого смельчака отвечать ему не нашлось.

— А есть у вас кюммель? — обратился генерал к стоявшему неподалеку офицеру, — дайте мне рюмку, я выпью.

— Сейчас принесут, ваше пр-во.

— Вот, видите ли, вы и праздника своего устроить как следует не могли!.. Впрочем, дайте мне красного вина.

И генерал выпил рюмку вина. Потом, обращаясь к команде, сказал:

— Пейте и вы… но смотрите, чтоб до пьяна не напиваться!.. Прощайте!

Его провожали с поднятыми над его головой кулаками, но он шел не оглядываясь, и уехал, не отдав даже прощального поклона.

Команда заговорила:

— Вот так хам!

— Вот так поздравил с праздником!

— Вот так милость привез!

— Он не хочет служить с нами, так пусть убирается к дьяволу.

— Эх, да бросьте, господа, — обращается к товарищам с просьбой старый служака: — утро вечера мудренее, завтра обсудим это дело, а нынче пить будем, и гулять будем, а смерть придет, умирать будем…

— Какое тут гулянье, когда рюмка водки становится в горле колом, — ворчит капитан с лысиною.

— А ты налей другую побольше, да и осади первую пониже, а потом налей третью еще побольше и осади вторую еще пониже, смотришь все три и пройдут…

И товарищи выпили, но праздник был отравлен: никто не знал, кого разумел командир, бросая им позорную кличку, и поэтому каждый торопился закусить и уйти скорей домой, проклиная в душе ненавистного немца, избравшего день их храмового праздника для их оскорбления и унижения.

Наутро выяснилось, что никаких данных к сделанному командиром предположению нет, и генерал только мог сказать в свое оправдание, что «*он так думал*».

Наши администраторы

В ноябре 1872 года, в высших правительственных учреждениях признали необходимым назначить экспедицию для покорения Хивы. В видах обсуждения и разрешения вытекавших из того весьма сложных вопросов организации и движения экспедиционного корпуса, были приглашены в С.-Петербург некоторые главные начальники округов, и в том числе генералы Константин Петрович Фон-Кауфман и Александр Львович Потапов. Как известно, лица эти не питали друг к другу личных симпатий, и потому взгляды их на дела оказывались почти всегда крайне противоположными, что, конечно, не могло не влиять на неудовлетворительное разрешение дел. По приезде в Петербург, они остановились: один на Большой Морской, в доме Козлова, другой на Малой Морской, в доме князя Щербатова. Казалось бы, так близко и для личных совещаний удобно, но не тут то было: по личным взглядам на дело они оставались: один в Вильно другой в Ташкенте. На одном из экстренных заседаний у военного министра, решено было послать несколько маршевых батальонов в Туркестан из войск виленского округа, но с тем, чтобы в батальоны эти не были назначаемы поляки. Решение в деталях предоставлялось разработать по взаимному соглашению командующих войсками Туркестанского и Виленского округов. Генерал Фон-Кауфман изложил свои соображения по сему предмету в особом отзыве и послал их на заключение генерала Потапова с состоявшим при нём для поручений чиновником Петром Ивановичем Вигилянским, с тем, чтобы он попросил Александра Львовича дать это заключение безотлагательно, и, если возможно, то чрез него же.

Вигилянский приехал к Потапову в то время, когда он принимал просителей. Представясь ему и заявив, что он прислан генералом Фон-Кауфманом с бумагами, получил ответ: «подождите»!

Окончился прием, и Потапов ушёл в кабинет. Проходит час, и два, а Вигилянского к нему не приглашают. Тот просит адъютанта доложить о себе, предполагая, что генерал забыл о нём, и получает тот же ответ: «подождите»! Подождав еще несколько времени, Вигилянский опять просит адъютанта напомнить о нём генерал-губернатору. Выходит генерал Потапов и спрашивает: «что вам угодно»?

— Я прислан к вашему превосходительству генералом Кауфманом, — отвечал Вигилянский, — представить вам вот это соображение по делу о маршевых батальонах, и просить вашего

по ним заключения, и если возможно, то теперь же.

— Мне теперь некогда.

— Дело экстренное, ваше превосходительство, тем более, что ваше заключение должно быть завтра же доложено военному министру.

— Вы можете устраивать с вашим Кауфманом какие хотите походы, — отвечал сердито Потапов, — но я для вас не намерен нарушать порядок своих занятий… Дайте сюда бумаги, ответ пришлю.

Но ответа до самого выезда Константина Петровича в Туркестан он так и не прислал; войска же в поход были назначены по распоряжению Главного Штаба.

Ретивый инспектор

В 1877 году, во время Восточной войны, генерал-майору Устругову предписано было произвести инспекторский смотр конскому запасу действующей армии, стоявшему тогда в городе Александрии. Генерал этот имел репутацию человека строгого, ставившего каждое лыко в строку. Прибыв в Александрию, он на другой же день назначил смотр. Вывели лошадей, вышли солдаты-конюхи, генерал идет по рядам и опрашивает.

— Сколько ты даешь в день сена лошади? — обращается он к первому конюху.

— Двадцать фунтов, ваше превосходительство.

— А ты? — переходит генерал к другому.

— Полпуда, ваше превосходительство.

— Это что за беспорядки! — вскричал генерал. — Начальник запаса, пожалуйте сюда! — обратился он к полковнику Соломке, — что это такое у вас творится: один конюх дает лошади двадцать фунтов сена в день, а другой — полпуда.

— Да ведь это одно и тоже, ваше превосходительство, — отвечает начальник запаса.

— Отчего же вы не научили людей отвечать начальству одно и тоже?.. а?..

И найдя тему, он начал ее варьировать, то повышая, то понижая голос. Начальник запаса, приложив руку к козырьку, стоял, тянулся и молчал. Видя, что его распекация произвела ожидаемое действие, т. е. нагнала страх, генерал смягчился, и произвел смотр весьма снисходительно.

Суворов в ссылке



Александр Васильевич Суворов — легендарный русский герой. Имя его, как имя другого легендарного нашего героя — Петра Великого, до сих пор живет в песнях, преданиях и сказаниях народа не только в России, но и в других странах.

Он прослужил солдатом с лишком девять лет, постепенно прошел все нижние звания: капрала, унтер-офицера и сержанта, и достиг до самых высших степеней служебных отличии, почета и уважения. Его обширный ум, гениальные способности, любовь к военному делу и знание людей доставляли ему победы и над ветеранами Фридриха Великого, и над бесчисленными турецкими и татарскими ордами, и над кичливыми польскими хоругвями и над считавшимися непобедимыми французскими легионами. Равнины Пруссии, леса и болота Полыни и Волыни, берега Дуная, Рымника и Прута, косы и отмели Тавриды, скалы Финляндии, твердыни Измаила и Праги, поля Италии, ледяные хребты и пропасти Альп видели у себя нашего полководца во главе предводимого им воинства, и слава его, с каждым новым подвигом, распространялась и росла.

При малом росте, сухощавый, несколько сгорбленный, имел он вид дряхлый; на голове его, рано поседевшей, осталось лишь несколько клоков белых волос, собранных впереди локоном; лицо было в морщинах, но выражение лица оживлялось умным проницательным взглядом, маленькие глаза его сверкали огнем энергии; он сохранил до старости необычайную бодрость телесную и душевную, бойко ездил верхом, шутя прыгал и бегал, в походе не знал экипажа. Появление этого старика перед войсками, несколько слов его, какая-нибудь шутка, приводили солдат в неизъяснимый восторг. Узнав солдатский быт, во время своей продолжительной службы в нижнем звании, до самых мелочей, он заботился о солдате, входил в его нужды, зорко

следил, чтобы всё, следуемое солдату по положению, доходило до него полностью, а при случае и баловал своих гренадеров, как детей своих. Вот за что и любили его солдаты, не смотря на строгость и тягости тогдашней службы.

Не менее солдат его любили и крестьяне. Имея значительные поместья[3] он прилагал всё заботы о поднятии благосостояния крестьян. Из собственноручных его приказов и инструкций управляющим видно, что он уничтожил в своих вотчинах всякие поборы с крестьян натурою, т. е. холстами, птицею и пр., заботился о бедных, о детях, о здоровье крестьян и способах их довольствия лесом и солью, уничтожил рекрутскую повинность в натуре, приказав нанимать за своих крестьян охотников на стороне, для чего назначил с своей стороны часть денег из следуемых ему оброков. Вся его деятельность по улучшению крестьянского хозяйства, народному образованию и развитию в крестьянах нравственности проникнута высокой гуманностью и обрисовывает его, как одного из передовых людей своего века.

«В толпе царедворцев — говорит один из наших почтенных историографов — в совете царей, на развалинах Измаила и Праги, на берегах Требии, на льдах Сан-Готарда, в улусе нагайском, на биваке, в сельском уединении, Суворов везде был самобытный, неизменный, странный, великий»…

И этот великий Суворов не избежал жестокого жребия: почти два года он находился в немилости, в опале, в ссылке, под надзором полиции.

Причины немилости заключались в следующем.

В 1796 году, Императрица Екатерина II, вознамерившись послать русские войска на помощь Австрии, поручила начальство над ними Суворову. Старик фельдмаршал, снедаемый честолюбием, рвался померяться силами с гениальным «мальчишкой», который, по его словам, «шагал широко», и которого «унять было уже пора». Пользуясь доверенностью императрицы, он был близок к желанной цели, находясь во главе 80-ти тысячной армии, формировавшейся тогда на границах Новороссийского края.

Восшествие на престол императора Павла изменило иностранную нашу политику: готовая к походу армия оставлена была на месте. Повеление это глубоко огорчило маститого воина, он не переставал оплакивать кончину великой Екатерины, говоря всем: «без матушки царицы не видать бы мне Кинбурга, Рымника, Измаила и Варшавы», и постоянно был не в духе.

Преобразования по военной части, принятые тотчас по воцарении Павла I и имевшие целью видоизменить всю внешность русского войска на манер прусский, нашли, как

известно, в фельдмаршале Суворове открытого и неосторожного порицателя. Он говорил: «русские прусских всегда бивали, что же тут перенять… я лучше прусского покойного короля, я, милостью Божию, баталий не проигрывал… Солдаты не веселы, унылы, разводы скучны, шаг уменьшают в $^3/_4$, и так на неприятеля вместо 40–30 верст… Я пахарь в Кобрине лучше нежели только инспектор, каковым я был подполковником»… Получив в войска палочки для образцов и меры солдатских кос и буклей, Суворов отозвался: «пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак, я не немец — природный русак»[4].

Слова эти доходили до государя; нашлось немало людей недоброжелательных, которые обрадовались случаю погубить «упрямого чудака» — и действовали не без успеха.

Император Павел разгневался на то, что фельдмаршал медлил приведением в исполнение некоторых новых его постановлений. Желая уничтожить существовавшие при генералах многочисленные свиты, отвлекавшие множество офицеров из строя, государь определил число лиц для штаба каждого начальника, а всех излишних затем повелел возвратить немедленно в полки. Относительно производства офицеров, их перемещений, отпусков, увольнений, были изданы новые правила. Вместе с тем воспрещено употреблять воинских чинов на частные работы, по домашним делам или в курьерские должности[5]. Между тем от Суворова был прислан в Петербург адъютант с одними партикулярными письмами, уволен им в отпуск офицер без высочайшего соизволения и, наконец, прислан офицер курьером. Было ли это ослушанием, или при тогдашних путях сообщения Суворов не мог получить своевременно сказанных повелений — положительных данных не имеется. Но при всём том нельзя отвергать последнего, так как в высочайшем рескрипте по поводу присылки курьером капитана Мерлина сделана оговорка следующего содержания: «заключая по присланному от вас донесению, что вы не получили еще повелений наших». Во всяком случае престарелому фельдмаршалу было объявлено монаршее неудовольствие. Выговоры объявлены в высочайших приказах 15-го и 23-го января 1797 года, а вслед за сим, 27 января, фельдмаршалу повелено явиться в Петербург и быть «без команды».

«Упрямый чудак» в Петербург не поехал, но послал 3-го февраля прошение об увольнении в отставку[6]. Из письма к фельдмаршалу графа Ростопчина, от 14-го февраля, видно, что желание его было императором предупреждено: Суворов отставлен от службы 6-го февраля[7].

Граф Д. А. Милютин, в статье своей «Суворов», напечатанной

в «Русском Вестнике» 1856 года, говорит: «вероятно, кроме сего прошения (т. е. от 3-го февраля) было еще и другое, оставшееся неизвестным, ибо в высочайшем приказе, отданном при пароле 6-го февраля 1797 года, изображено так: «Фельдмаршал граф Суворов отнесся к его императорскому величеству, что так как войны нет, то ему делать нечего; за подобный отзыв отставляется от службы».

Вот всё, что известно по официальным документам о проступках великого полководца, навлекших на него царскую опалу и долговременную ссылку.

Между тем, по частным сведениям, за ним был грешок иного рода, простить который Павел, при вступлении на престол, не мог.

Н. И. Григорович, в статье «Канцлер князь Безбородко», напечатанной в «Русском Архиве» 1877 года, привел некоторые доказательства в пользу предположения, что императрица Екатерина II оставила особый манифест в роде духовного завещания, подписанный важнейшими государственными людьми, в том числе Суворовым и Румянцевым-Задунайским, о назначении наследником престола не Павла Петровича, а любимого её внука, Александра Павловича, и что документ этот, по указанию Безбородки, сожжен Павлом в день смерти матери. «Немилость к первому, — говорит Григорович, — и внезапная кончина второго тотчас, как он узнал о восшествии на престол Павла, произошли будто бы именно вследствие этого».

О времени и месте, откуда Суворов был отправлен в ссылку, биографы его повествуют различно.

М. Д. Хмыров, в статье «Последнее четырехлетие жизни Суворова», говорит, что фельдмаршал, узнав о своем увольнении, выехал в Москву, где располагал основаться в домике, унаследованном им после родителя и находившемся на большой Никитской, в приходе церкви Феодора Студита. Но не тут то было. Частный пристав, явясь к отставному фельдмаршалу, объявил ему, что, по случаю приближающейся коронации императора Павла, имеет повеление лично проводить его до новгородского поместья.

— Сколько мне назначено времени для приведения в порядок дел? — спросил Суворов.

— 4 часа, — отвечал пристав.

— Слишком много милости, — продолжал фельдмаршал, для Суворова довольно одного часа.

Затем, велев отложить поданную к крыльцу дорожную карету, бодрый старик потребовал экипаж, «в каком ездил ко двору Екатерины или в армию», и частный пристав, волей-неволей,

должен был в тряской кибитке проскакать с Суворовым более 500 верст[8].

Между тем граф Д. А. Милютин, в упомянутой выше статье «Суворов», рассказывает, что отставленный от службы фельдмаршал, в марте 1797 года, переехал из Тульчина, где стояла его дивизия, в свое Кобринское имение, но 23-го апреля прибыл туда из Петербурга нарочный с высочайшим повелением опальному отправиться на жительство в Новгородское его имение, село Кончанское. С этим посланным Суворов и отправился в путь по назначению 25-го апреля.

Село Кончанское — родовое имение Суворовых, находится в самой глуши Новгородской губернии, в северо-восточной части Боровичского уезда, в Сопинском погосте[9]. По описи Кончанского, произведенной в 1784 году, значилось в нём: дом господский, двухэтажный, ветхий, в нём имеется 10 покоев; при нём кухня, баня, погреб, каретный сарай и конюшня. Господский дом был настолько ветх, что знаменитый изгнанник в нём жить не мог, а занял простую крестьянскую избу, верстах в 3–4 от Кончанского, близ церкви, где и жил зимою, а летом уходил на близ лежащую гору Дубиху, и там, среди старинных дубов и вязов, уединялся в простой 2-х-этажной избе, состоявшей из двух комнат, по одной в каждом этаже[10]. Вблизи этой избы, на горе, под елями устроена была печка, где неизменный слуга Суворова, Прохор, награжденный впоследствии от австрийского императора за заботы о здоровье фельдмаршала медалью, грел для него медный чайник и приготовлял чай. За горой, в нескольких шагах, вырыт был колодезь, оттуда доставляли Суворову холодную воду для частых его ванн. Далее шли липовые и березовые аллеи насажденного им сада, и в саду церковь — прибежище в часы душевных мук и скорби. Изба была меблирована просто: кровать, стол и несколько стульев из елового дерева, диван, портрет Петра Великого, бюст Екатерины II, несколько портретов семейных и книг. Вот та обстановка, среди которой проводил невольный отшельник всё время своего заточения.

Поселясь в Кончанском, Суворов, всегда верный себе, не изменил прежнего образа жизни, не имел ни одного зеркала в доме, спал на сене, вставал в 2 часа пополуночи, окачивался летом и зимой водой со льдом, потом пил чай, причем заказывал повару обед в 4–5 блюд, за который садился в 8 часов утра — и ел его не иначе, как в четырех-пяти маленьких горшочках. После обеда отдыхал, в 4 часа снова пил чай и в 10 часов ложился спать. В знойные дни фельдмаршал ходил с открытой головой, по субботам считал долгом париться в жарко натопленной бане. Досуг свой победитель Турции и Польши наполнял тем, что

устраивал свадьбы и присутствовал при венчаниях, примирял ссорившиеся семьи, участвовал в крестьянских заботах, играл с деревенскими мальчишками в бабки, а в праздники читал в церкви апостол, пел с дьячком на клиросе и звонил в колокола.

Сам он писал о себе к своему племяннику, графу Д. И. Хвостову: «служу Богу небесному и верен Богу земному»… (от 27-го июля 1797 г.), или: «войск здесь нет, обращение мое две трети с дворянами. Государские дни званы были раз пять-шесть их не торжествовать я считал за грех. Незваные по дружбе в другие праздники и дни были у меня к службе божией и одному обеду, раз до восьми человек, от трех до полдюжины. Сам я был в гостях менее 10 раз; прочее время провождал я в глубоком уединении сам-друг, сам-третей со священником»… (от 18-го декабря 1797 г.).

Судя по изложенному выше, можно было бы думать, что опальному фельдмаршалу и в ссылке жилось хорошо: любимый и уважаемый соседями, он водит с ними хлеб-соль; обладая большими поместьями и хорошим здоровьем, благоденствует и заботится о благоденствии других; веселый, среди народа, как прежде, он шутит, смеется и чудит. Но в действительности положение престарелого героя было крайне неприятно и тяжело. Он находился под полицейским надзором весьма строгим, в особенности, когда был прислан нарочно для этого особый чиновник Николев[11]. Из документов, извлеченных в последнее время из архивов и переданных в мое распоряжение редакцией «Исторического Вестника», мы узнаем, что гениальный полководец, любимый сын победы, надежда и гордость отечества, третировался в деревне приставниками, как уголовный преступник. Обстоятельство это так его огорчило, что он особым письмом к государю просил о дозволении удалиться в Нилову Пустынь, чтобы там окончить свои дни, но ответа не получил.

Первоначально надзор за Суворовым поручен был боровичскому городничему, премьер-майору Алексею Львовичу Вындомскому, который и должен был находиться безотлучно при Суворове в Кончанском[12], причём ему было предписано наблюдать, чтобы Суворов никуда не отлучался и обо всём замеченном доносить.

Из донесения Вындомского, от 14-го июля 1797 года, видно, что Суворов по переезде в деревню недомогал, но несколько подкрепился приездом к нему на несколько недель детей его, графини Натальи Александровны Зубовой и графа Аркадия Александровича.

21-го июля Вындомский донес: «г. фельдмаршал Суворов на сих днях в слабом здоровье и весьма скучает, что состоящий дом

в селе его Кончанском весьма ветхий не только в зиму, но и осень пережить в слабом его здоровье вовсе нельзя и желает переехать в сорока пяти верстах состоящее свойственницы его Ольги Александровны Жеребцовой, село Ровное. Приехавшего в свите графини Натальи Александровны Зубовой майора Сиона его сиятельство отправил в польские его деревни для получения всех бриллиантовых вещей там хранящихся у подполковника Корицкого[13], и как таковых вещей по цене может быть слишком на триста тысяч рублей, то по привозе сюда иметь их мне в своем смотрении и где хранить оные, ибо при жизни его сиятельства в Кончанске, как в самом лесном и опасном месте, крайне опасно. Прибывшие сюда евреи требовали у меня позволения видеть его сиятельство и объясниться с ним в поставленном провианте из польских его сиятельства деревень в Варшавскую провиантскую комиссию и иметь расчёт, но я тех евреев допустить к его сиятельству не осмелился».

По доведении об этом до сведения императора Павла, 31-го июля 1797 года, последовало повеление: «дозволить графу Суворову переехать в село Ровное и бриллиантовые вещи ему оставить при себе; но при том надлежащее наблюдение иметь как за образом его жизни, так равно и за поведением».

24-го июля, Суворов, находя крайне неудобным жить в старом доме в Кончанском, выехал в другую свою усадьбу, отстоявшую в 45 верстах, в с. Камсине, где жилье считалось более поместительным, но местность ему показалась хуже, нежели в Кончанском, и он возвратился в последнее 26-го июля.

Вындомский, донося об этом, присовокупил, что Суворов в проезд туда заезжал к г-же Мякининой. Вслед за тем (от 4-го августа) он уведомил, что, «граф на сих днях выезжал к соседке в семи верстах, Пелагее Лупандиной, где отобедал и возвратился домой. Более же ничего не заметил».

Между тем новгородским губернатором было получено 3-го августа высочайшее повеление следующего содержания: «Г. статский действительный советник Митусов! Имеете смотрение, что бы исключенный из службы майор Антинг, Грессер и ротмистр князь Четвертинский и подобные ему свиты Суворова[14] не имели никакого сношения и сведения с живущим в Новгородской губернии бывшим фельдмаршалом графом Суворовым[15]. Павел».

Губернатор, в виду такого повеления и донесения Вындомского, обращается к генерал-прокурору князю Куракину с вопросом: «можно ли графу ездить в гости»? На что получается ответ от 17-го августа: «Его императорское величество высочайше повелеть соизволил: разъезды по гостям графу Суворову

запретить».

12-го августа, городничий донес, что Суворов «ни с кем из свиты его свидания не имел, кроме майора Сиона, отправленного в Кобрин за бриллиантовыми вещами, а разве не случаются ли оные посредством переписки живущей теперь у него дочери, которой писем он свидетельствовать не смеет, а в доказательство сего сомнительства» Вындомский представил перехваченные с почты и распечатанные им письма, посланные камердинером Суворова к графу Зубову и графу Хвостову[16].

В ответ на это Митусов предписал: перехватывать на почте и доставлять к нему все письма как к графу, так и к его дочери и ко всем его людям. Когда же приедет Сион, то не дозволять ему иметь свидания с Суворовым, а только допустить отдать бриллиантовые вещи.

22-го августа, прибыл в Кончанское «один из свиты Суворова», ротмистр Павловский, и просил Вындомского допустить его к фельдмаршалу.

Городничий объявил, что без разрешения губернатора допустить его к графу не может. При этом отобрал у него находившиеся при нём бумаги и, запечатывая их, сказал, что за получением дозволения ему придется ехать в Новгород.

Павловский догадался.

— Стало быть, я под присмотром? Не поеду. Вы сего сделать не можете.

Городничий предъявил ему высочайшее повеление.

— Я не могу ехать, я болен, разве связать велите…

Городничий взял у него шпагу и в сопровождении сержанта и караульного отправил Павловского к губернатору, при донесении, в котором назвал его бывшим секретарем и клевретом Суворова.

Митусов отправил Павловского и отобранные у него бумаги в Петербург[17]. На допросе в Тайной экспедиции Павловский показал: в службу вступил в 1792 г., кадетом, в 1794 г. переименован в поручики, и с рекомендацией от Михаила Васильевича Каховского к гр. Суворову, прибыл к нему в Петербург, в 1796 г. с графом приехал в Тулчин и произведен в ротмистры Таврического конно-егерского полка. Когда граф Суворов был уволен от службы, Павловский поехал в Кобрин, где граф подарил ему 50 душ; вскоре потом, по Высочайшему повелению, он был арестован в числе 18-ти офицеров советником Никелевым и отвезен в киевскую крепость, через два месяца его вместе с другими освободили и уволили, с позволением жить где кто пожелает. Павловский поехал в пожалованную ему графом деревню, и по хозяйственным делам имея надобность видеть графа, поехал к нему, где и был арестован и выслан под караулом

в Петербург.

По докладе об этом Императору Павлу, 28-го августа, последовала резолюция: «Павловского выпустить, дав ему помочь в исправлении его нужд по деревням. Переписку графини Зубовой и её людей не свидетельствовать. Сиону быть при графе Суворове, яко воспитателю его сына, не возбранять, но другим никому к графу приезд не дозволять».

24-го августа, городничий доносил: «Ничего не случилось, кроме разговора, состоящего в том, что граф племянницу свою, которая приехала из Петербурга с его дочерью, девицу Евпраксию Раевскую, выдает в замужество за Боровицкого помещика, капитан-лейтенанта Александра Румянцева, и дает в приданое из своего имения сто душ, но с тем, чтобы жить ему Румянцеву, в доме его сиятельства»; а от 1-го сентября повторил: «Суворов ожидает разрешения о дозволении будущему мужу его племянницы жить с ним».

По доведении о сем до сведения государя, 26-го сентября, последовала резолюция: «Свадьба сия не должна быть запрещена, равномерно и пребывание их при графе».

Но полицейский надзор или не вполне удовлетворял требованиям, или его признали нужным усилить, только князь Куракин, собрав справки о разных соседях графа Суворова и избрав одного из них, помещика, отставного коллежского советника Феоктиста Афонасьевича Долгово-Сабурова, имевшего в 50-ти верстах от Боровичей 300 душ крестьян, предложил ему иметь секретный присмотр за Суворовым. На это достойный помещик, письмом от 14-го августа, отвечал генерал-прокурору, что по слабости здоровья, давнишнею чахоткою изнуренного, он не в состоянии исполнить возложенного на него поручения, а что это правда — подтвердит и губернатор.

Император Павел, по выслушании об этом доклада, 4-го сентября, повелел: «Надзирать за графом Суворовым поручить г. Николеву, который за ним быль отправлен, предписывая ему надзирание сие чинить наездами».

Николева командировали в Боровичи, куда он и прибыл 22-го сентября.

В «Чтениях Московского Общества Истории и Древностей Российских» 1862 года, кн. IV напечатана «Секретная инструкция отправленному по Высочайшему повелению в Боровичи коллежскому асессору Николеву для надзирания за Суворовым»[18]. Но инструкция эта Высочайше утверждена не была. Николев при отъезде просил инструкции. Князь А. Б. Куракин поручил Александру Семеновичу Макарову «изготовить надлежащую инструкцию» и повеление о

командировке Николева записать в список секретных указов. Инструкция была поднесена на монаршее воззрение 25-го сентября, при чём испрашивалось повеление: оставаться ли Вындомскому при Суворове. Император Павел повелеть соизволил: «Боровичскому городничему остаться при его должности, а смотрение за графом Суворовым иметь коллежскому асессору Николеву, которому особой инструкции не давать, а предписать ему, чтобы он уведомлял о всех действиях и упражнениях графа Суворова».

22-го сентября, Вындомский сделал последнее донесение: «Вчера шляхтич Красовский, управляющий имениями Суворова, привез бриллиантовые вещи и оброку 3000 р. и отдал графу, и отправлен обратно в экономию. Графиня Зубова, графский сын Суворов, девица Раевская и майора Сиона жена вчера отправились в Петербург. Здоровье графа в прежнем положении, но сам граф говорит, что слаб». Вместе с тем Вындомский представил присланное на имя графа Суворова письмо майора Антинга из Петербурга.

От того же 22-го сентября, сделал свое первое донесение и Николев. Отрапортовав о приезде своем в Кончанское 20-го сентября и выезде детей Суворова со свитою в Петербург 21-го сентября, в ночь, он описал образ жизни и встречу с Суворовым следующими словами: «Графа нашел в возможном, по летам его, здоровье, ежедневные его упражнения суть следующие: встает до света часа за два, напившись чаю, обмывается холодной водою, по рассвете ходит в церковь к заутрене и не выходя слушает обедню, сам поет и читает; опять обмывается, обедает в 7 часов, ложится спать, обмывается, слушает вечерню, умывается раза три и ложится спать. Скоромного не ест, во весь день бывает один, и по большей части без рубашки, разговаривая с своими людьми: одежда его в будни канифасный камзольчик, одна нога в сапоге, другая в туфле, в высокоторжественные дни — фельдмаршальский без шитья мундир и ордена, в воскресные и праздничные дни — военная егерская куртка и каска.

«По свидании со мною, встретил меня печальным видом, спрашивая: «откуда я приехал»? Я сказал, что проездом в Тихвин заехал, на что он мне сказал: «я слышал, что ты пожалован чином, правда и служба большая, всё служил, выслужил… улыбаясь повторил: продолжай эдак поступать, еще наградят». Я в ответ ему сказал, что исполнять волю монаршую первейший долг всякого верноподданного; он на сие мне отвечал: «я бы сего не сделал, а сказался бы больным». Но как я ему сказал, что крайне удивляюсь, слыша от него такие советы, то и замолчал, и я тотчас вышел вон. На другой день, даже до сегодня уже гораздо нашел

его снисходительнее и ласковее, а по причине графинина отъезда много плакал и сказывается больным, признавая в себе во многих членах припадки паралича, но ни мною, и никем здесь оные не видимы и не примечены. Шляхтич Красовский сей день в Кобрин отправлен, осмотрен и с графом не видавшись».

В заключении Николев повествовал: «Позвольте, ваше сиятельство, объяснить невозможность в здешнем месте иметь за графом надлежащий присмотр, поелику живет он один в избе, удаленной от селения, подле церкви, где приставнику поместиться негде, дом же его так ветх, что осенью и зимой нельзя в нём жить, всечасно окружен бывает своими людьми, из коих самые ближайшие: камердинер и два солдата отставных, люди непокорливые и нетрезвые и имев в повелении своем тысячу душ корел, из коих весьма малое число по-русски худо разумеют, а посему почти возможности нет усмотреть, чтоб он не мог тайно отправить от себя кого с письмами, или для другого чего, также и на оные ответы получить, а по неимению здесь никакой команды об могущих случившихся каковых происшествиях донесений доставлять не с кем и не на чем. А посему всепокорнейше прошу ваше сиятельство оказать милость в рассуждение вышеписанных обстоятельств снабдить меня вашим поведением, или для личного объяснения позволить мне быть в Петербург, дабы в невыполнении порученного мне не ответствовать».

В свою очередь, и Суворов, озабоченный приездом Николева и опасаясь еще больших стеснений, 20-го же сентября, решился обратиться к императору Павлу с следующим письмом:

> «Всемилостивый государь!
>
> Ваше императорское величество с высокоторжественным днем рождения всеподданнейший поздравляю.
>
> Сего числа приехал ко мне коллежский советник Николев. Великий монарх! Сжальтесь: умилосердитесь над бедным стариком. Простите ежели в чем я согрешил.
>
> Повергая себя к освященнейшим стопам вашего императорского величества всеподданнейший.
>
> Г. А. Суворов-Рымникский.
>
> 20-го сентября 1797 года
>
> Боровичские деревни».

По докладе этого письма, 28-го сентября, императору Павлу, государь повелел «оставить без ответа».

10-го октября, князь Куракин докладывал государю о донесении Николева, но прямодушный Павел не согласился на

предложенные меры, повелев: «растолковать Николеву, что он определяется к графу Суворову для надзора за ним *неприметным образом*, следовательно, сии намерения им смотреть г. Николева остановить». Вместе с тем докладывались присланные губернатором, полученные с почты письма на имя Суворова и камердинера его Прохора Иванова от Сиона о делах вотчинных. Велено: возвратить их Суворову.

Таким образом, стремления надсмотрщиков сузить до крайних пределов и без того тесный круг свободы опального фельдмаршала были парализованы. Рвение их сменилось полнейшей индифферентностью. Еженедельные донесения Николева приняли стереотипную форму: «граф здоров, упражнения всё те же». Изредка они иллюстрировались дополнениями: «граф грустит, не имея известий от дочери», или: «получа от дочери письмо, крайне был обрадован».

Дни Суворова потекли спокойнее; уединенный от всего, что человеку дорого и мило, он вел жизнь отшельника; изба и церковь, и изредка деревня, дворовые люди и крестьяне, корелы, язык которых он стал изучать, заменили ему и двор, и общество, и свиту, и, наконец, обаяние власти. Человек, по одному слову которого шли в огонь и умирали тысячи людей, теперь был один, заброшенный в лесную глушь Прионежья, сосредоточенный в самом себе, и только в самом себе почерпавший силы на дальнейшую борьбу с несчастьем, которое не могло его сокрушить.

6-го октября, Суворов сильно ушибся, набежав ночью на лежавшую собаку, а в декабре у него болели ноги. Доктора не приглашали.

7-го октября, было получено с почты на имя Суворова письмо из Пешта от барона Карачая, которым он просил уведомления о здоровье фельдмаршала. Письмо это представлено государю, и, по его повелению, переписка с Карачаем прекращена.

15-го ноября, в избе, где жил Суворов, учинился пожар, от сделанного в сенях очага, но скоро потушен. Избу поправили, и Суворов остался в ней.

В образе жизни его перемен почти не было. Всё, что Николев считал нужным довести до сведения правительства, заключаюсь в следующем: «теперь, ежедневно поутру и после обеда поет духовные концерты, в праздники более мундира не надевает, а бывает в обыкновенном своем белом канифасном камзольчике, с орденом св. Анны на шее». О характере Суворова Николев сообщал: «граф ежедневно становится сердитее и не проходит почти ни одного дня, чтобы кого из людей своих не побил, даже и в самый день праздника Рождества Христова, за обедней, при всех

дворецкому своему дал пощечину. На меня (Николева), рассердился крайне за то, что я разговорился с ним, ошибкою сказав ему «вы», а не «ваше сиятельство».[19]

Сношения его с внешним миром ограничились посылкою в ноябре дворецкого в Петербург. По докладу о сем Государю, приказано «взять выправку: к кому и зачем приехал». Оказалось, что дворецкий приезжал к графу Зубову по делу о взносе взыскиваемых в казну денег.

Попытался было Николев завести опять речь о трудности надзора. «Здесь, — доносил он, от 4-го октября, князю Куракину — между его людьми идет слух, что он собирается уехать в Петербург, а как я и прежде доносил вашему сиятельству, что граф живет один в отдаленной от селения избе, почему и не трудно ему сие исполнить, равно и тайно кого с письмами отправить, а посему всепокорнейше прошу ваше сиятельство снабдить меня на сей случай вашим приказанием, дабы мне за сие не ответствовать. От меня же бурмистру здешнему наистрожайше подтверждено, чтоб он как лошадей, так и людей, не сказав мне, не давал». Но донесение это осталось без ответа.

В октябре, приезжал к Суворову из Москвы гонец с письмом от жены его, графини Варвары Ивановны, в котором она просила об уплате за нее долга 22 000 руб. и назначении ей содержания, так как она не имела более возможности жить у брата своего, князя Прозоровского[20]. Известно, что Суворов жил в больших неладах с женой и даже неоднократно возбуждал дело о разводе с ней, обвиняя в нарушении супружеской верности, и потому гонец был отправлен обратно с словесным от графа ответом, что «он сам должен, а посему и не может ей помочь, а впредь будет стараться». Письмо это представлено Николевым князю Куракину, при докладе, что приказ человеку сказан через графского камердинера, а человек графа не видал[21].

По докладе об этом государю, последовало повеление: «сообщить графине Суворовой, что она может требовать с мужа по законам». Графиня отвечала князю Куракину, что она не знает куда подать прошение, что нужды её состоят не в одном долге 22 000 р., но и в том, что она не имеет собственного дома и ничего потребного для содержания себя и что, наконец, она была бы совершенно счастлива и благоденственно проводила бы остатки дней своих, если бы могла жить в доме своего мужа с 8000 рублей годового дохода. Император Павел потребовал справку об имениях графа Суворова. По доставлении графом Д. И. Хвостовым сведения[22], 26-го ноября высочайше повелено объявить Суворову, чтобы он исполнил желание его жены.

Повеление это сообщено Суворову Николевым 6-го января

1798 года, и он тотчас вручил ему, для отсылки к графу Н. А. Зубову, записку следующего содержания: «Г. колл. асессор Ю. А. Николев, чрез князя Куракина, мне высочайшую волю объявил, по силе сего графине В. И. прикажите отдать для пребывания дом и ежегодно отпускать ей по 8000 рублей, примите ваши меры с Д. И. Хвостовым. Я ведаю, что г. В. много должна, мне сие постороннее».

Между тем политические события в Европе шли своим чередом и день ото дня становились серьезнее. Французы, отторгнув у Австрии Нидерланды и Италию, присоединенные по Кампо-Формийскому договору к Франции, проникли в Германию и, не дожидаясь окончания конгресса в Раштадте, наложили руку на Рим и Швейцарию. Успехи эти заставили императора Павла склониться к мысли о заключении союзов для борьбы с Францией. Пока развивалась и осуществлялась, в форме договоров, задуманная идея, государь внезапно пожелал увидеть непобедимого дотоле вождя и пригласить его на службу.

12-го февраля 1798 года, генерал-прокурору князю Куракину дан указ следующего содержания: «Генерал фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому всемилостивейше дозволяя приехать в Петербург, находим пребывание коллежского асессора Николева в Боровицких деревнях не нужным. Пребываем вам благосклонны. Павел».

14-го февраля, приехал в Кончанское флигель-адъютант, полковник князь Горчаков, с высочайшим повелением Суворову быть в Петербурге.

Престарелый фельдмаршал не только не обрадовался полученному от государя приглашению, но даже отказывался ехать в Петербург, отговариваясь старостью и плохим здоровьем. Лишь после долгих и настоятельных убеждений князя Горчакова, старик отправился в путь на своих лошадях и ехал не торопясь, как говорится, на долгих. Император между тем нетерпеливо ожидал с ним свидания и по нескольку раз в день присылал узнавать: не приехал ли Суворов?

Принятый Павлом, по приезде в Петербурга, в кабинете, Суворов находился там с глазу на глаз с государем более часа. Государь остался недоволен свиданием, как оказалось впоследствии из собственных его слов князю Горчакову. Он говорил Суворову о заслугах, которые он может оказать еще отечеству и ему, и наводил его на то, чтобы он попросился в службу, а Суворов начинает рассказывать про штурм Измаила. Государь слушает и снова наводит речь на свое, а Суворов рассуждает о Праге, или об Очакове. Приглашенный к разводу, Суворов оказывал явное невнимание: то отворачивался от

проходивших взводов, то шутил над окружающими, и, наконец, сказавшись больным, уехал, не дождавшись конца развода.

Государь посылает князя Горчакова узнать: что значит всё это? Суворов отвечает: «инспектором я был в генерал-майорском чине, а теперь уже поздно опять идти в инспекторы. Пусть сделают меня главнокомандующим, да дадут мне прежний мой штаб, да развяжут мне руки, чтобы я мог производить в чины, не спрашиваясь, тогда пожалуй пойду на службу. А не то лучше назад, в деревню, а стар и дряхл, хочу в монахи»… Князь Горчаков не мог доложить этих слов государю и передал, что Суворов был очень смущен в присутствии его величества и крайне сожалеет о своей неловкости.

Прожив в Петербурге около трех недель, знаменитый полководец бывал у высочайшего стола, бывал на разводах, но чудил по-прежнему и в службу не просился. Император обращался за объяснениями к князю Горчакову, тот ездил к Суворову и привозил государю ответы своего собственного вымысла.

Наконец, однажды в разговоре с государем, Суворов прямо попросил, чтобы его отпустили в деревню, на отдых, и государь с видимым неудовольствием отпустил его[23].

«Упрямый чудак» вернулся в свое негостеприимное Кончанское, где и жил до февраля 1799 года, когда, по настоянию английского и австрийского дворов, император Павел снова вызвал его в Петербург и поставил во главе победоносных войск, предназначенных «спасать народы и царей».

Император Александр Первый и обер-вагенмейстер Соломка



Окончив борьбу с Наполеоном и умиротворив Европу, император Александр I возымел намерение ближе ознакомиться с внутренней жизнью, нуждами и потребностями своего народа, и с этой целью неоднократно предпринимал путешествия по империи. Таким образом, в 1817 году, совершил он поездку по центральной России; в 1819 году, в Петрозаводск и Архангельск, а оттуда в Торнео и Финляндию; в 1820 году, государь снова путешествовал по России, и затем отправился в Варшаву; в 1822 году, обозревал Псковскую и Витебскую губернии и был в Вильне; в 1824 году, посетил губернии: Псковскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую, проехал в Пензу, обозрел Оренбургский край, Екатеринбург, Вятку, Вологду и Новгород; в 1825 году, навестил Ригу и Ревель, и незадолго перед кончиной осчастливил своим посещением землю войска Донского и Крым.

В путешествиях государю сопутствовали постоянно: генерал-адъютант князь П. М. Волконский, лейб-медик баронет Виллие и полковник А. Д. Соломка, иногда — барон И. И. Дибич и другие лица.

Афанасий Данилович Соломка поступил на службу в главный штаб его императорского величества в 1815 году, а в 1818 году был назначен на должность обер-вагенмейстера, и в этом звании неизменно сопровождал государя во всех его путешествиях, как по России, так и за границею. Это был честный, прямой и преданный слуга, находившийся постоянно при особе царя и готовый, по его мановению, идти в огонь и воду. Император Александр I высоко ценил подобную преданность и, с своей стороны, оказывал ему полное доверие и дружбу. Как близкому лицу, он поручал ему принимать подаваемые на высочайшее имя

прошения, вести им подробный журнал и лично докладывать по ним. Наиболее же рельефное значение приобретала служба Афанасия Даниловича во время путешествий государя.

Исстари путешествие государя составляло эпоху для народа. Объявленное заблаговременно, оно делалось известным в отдаленных уголках назначенной к обозрению местности и волновало их. По всему пути, где должен был проехать государь, собирались массы городского и сельского люда, в особенности много стекалось народу в месте остановок царя для отдыха или дневок. Одни приходили взглянуть на батюшку царя, пожелать ему всякого счастья и благословить на дальнейший путь; другие же шли повергнуть к стопам монарха просьбу о защите или помощи, поведать свои кручины и нужды.

С этими то кручинами и нуждами приходилось ведаться доверенному обер-вагенмейстеру и немало было ему с ними дела. Император Александр I придавал особенное значение личному обращению к нему подданных с прошениями, вникал в сущность их и старался, по возможности, удовлетворять их. Он желал, чтобы прошения принимались везде, во всякое время и от всех, без различия пола, возраста и состояния. Если государственные дела мешали ему заняться приемом прошений самому, то он поручал это Афанасию Даниловичу, приказав ему раз навсегда: подаваемые прошения при приеме прочитывать и, если окажется нужным, то тут же, на месте, и дополнять их опросом и объяснениями просителей. Затем он должен был занести их в журнал и непременно в тот же день повергнуть на монаршее воззрение. По получении же резолюции тотчас сделать исполнение. Замедлений государь не допускал. Он сам занимался неустанно, прочитывая нужные бумаги или доклады даже во время пути, в коляске. Резолюции его по делам, зависевшим от непосредственного монаршего благоусмотрения или милости, в тот же день сообщались просителям. По делам же, требовавшим справок или заключений начальствующих лиц и правительственных учреждении, писалось подлежащим властям, с обязательством доставить по ним исполнительное донесение в наикратчайший срок (обыкновенно двухнедельный или месячный). За исполнением этого государь наблюдал лично, просматривая в журнале отметки о времени исполнения предписаний, — и горе тому, кто осмелился бы стать между просителями и царем, хотя бы даже неумышленно. Нижеследующий случай, происшедший с Афанасием Даниловичем, во время путешествия государя по северу России, может служить ясным доказательством тому, что малейшее уклонение от данных царем инструкций не проходило даром:

виновный наказывался более, чем строго.

Поезд царский обыкновенно следовал таким порядком. Впереди коляска государя, затем экипаж обер-вагенмейстера, далее коляски свиты, лейб-медика и других лиц. Ночью же впереди ехал экипаж обер-вагенмейстера, с козаком Овчаровым на козлах, имевшим в руках особый осветительный аппарат, и за ним уже коляска государева и свитские экипажи.

Поездка на север России продолжалась с 4-го июля по 25-е августа. В Петрозаводске, по расписанию, назначена была дневка. Прибыли туда в сырую, ненастную погоду. Громадная толпа народа, в надежде увидеть императора, не смотря на проливной дождь, стояла под окнами дома, где он остановился, и ждала его появления. Пока государь переодевался, Афанасий Данилович, по его поручению, приступил к приему от просителей прошений. Местные власти, желая услужить царскому приближенному, распорядились подостлать ему под ноги несколько досок, и хлопотун обер-вагенмейстер, стоя на них, опрашивал просителей и заносил их ответы в памятную книжку. Государь, подойдя к окну, заметил, что уполномоченное им для принятия прошении лицо стоит на деревянном помосте, а окружающие его просители вязнут в грязи. Это ему не понравилось; он отошел от окна и в волнении прошёлся несколько раз по комнате, но никаких замечаний не сделал. Подойдя же через несколько минут снова к окну, он увидел, что Афанасий Данилович прекратил прием прошений, не обратив внимания на то, что невдалеке от него стоял какой-то не то больной, не то сильно взволнованный бедняк, явно имевший нужду в помощи. Это окончательно прогневило государя, и он приказал позвать к себе своего доверенного слугу.

— Скажите мне, пожалуйста, — встретил Александр Павлович явившегося к нему обер-вагенмейстера: — зачем я вас вожу с собою…[24] как куклу, или для исполнения моих приказаний?

Полковник Соломка, не зная причины гнева государя, оторопел и ничего не мог ответить.

— Что вы, — горячился между тем государь — принимая прошения, оказываете свои личные милости, или служите мне и исполняете мою волю? Вы позволили себе потребовать под ноги подстилку, чтобы стоять с удобством и комфортом, а люди, пришедшие ко мне с просьбами, должны вязнуть в грязи! Вы так высоко себя поставили, что, вам кажется, иначе и быть не должно, тогда как вам небезызвестно, что мое расположение одинаково ко всем, как к людям, близко стоящим ко мне, так и к тем, которые вон там вязнут в грязи. Вы знаете, что все мои верноподданные

одинаково близки моему сердцу.

— Виноват, ваше императорское величество, что я позволил себе стать на доски, — отвечал, собравшись с мыслями, Афанасий Данилович: — но моего приказания не было, чтобы устроить для меня какие либо удобства; это не что иное, как простая любезность со стороны здешних властей.

— А что это за личность, стоявшая в числе просителей, бледная, бедно одетая, с большими, кудрявыми, черными волосами? Вы не могли не заметить ее; это, судя по наружности, наверно, один из наиболее нуждающихся. Можете вы доложить мне, кто это и в чём заключается его просьба?

— Государь, этого человека я заметил, но кто он такой и в чём заключается его просьба, я сказать не могу, так как он ко мне не подходил и просьб никаких не заявлял.

— Да! вы стояли на подмостках! Вам трудно было сойти в грязь к нуждающимся, чтобы опросить их и доложить мне об их нуждах! — ведь таких, может быть, много… Извольте сейчас же отправиться, собрать самые подробные сведения об этом человеке и немедленно донести мне.

Но «человека этого» уже не было, он куда то улетучился, и Афанасий Данилович должен был ограничиться собранием о нём сведений у местных властей. Оказалось, что это действительно несчастный человек. Жил он неподалеку от города, в своей усадьбе, в полном достатке, был женат и имел пятерых детей. Но несколько времени тому назад у него случился пожар, усадьба и всё имущество сгорели. Но что всего ужаснее — во время пожара погибла его жена и трое детей. Спасли только двух малолетков, которых и приютили у себя добрые люди. Утраты эти так подействовали на несчастного, что он впал в болезненное состояние, близкое к умопомешательству, но помощи ни от кого принять не хотел. Подобные сведения ошеломили почтенного обер-вагенмейстера, и, пока он составлял всеподданнейший доклад о несчастном, государь присылал за ним три раза.

— Читайте! — сказала, император, когда Афанасий Данилович представил ему доклад.

— Не могу, государь, — отвечал трепещущий докладчик — я так потрясен…

— Читайте! — повторил Александр Павлович более строго.

Бедный обер-вагенмейстер окончательно потерялся. У него дрожали руки и рябило в глазах, он чувствовал, что спазмы сдавили ему горло, хотел что-то сказать, но не мог выговорить ни одного слова.

— Читайте! я вам говорю! — возвысил между тем голос разгневанный монарх, и в словах его звучала нота раздражения.

Запинаясь и с расстановками, чуть слышно, едва-едва мог прочитать Афанасий Данилович царю доклад о несчастном больном, сознавая себя в десять раз несчастнее его.

— Ну, что вы мне на это скажете? — спросил его немного успокоившийся тем временем царь.

— Виноват, ваше императорское величество.

— Виноваты, а он-то чем виноват, что вы не исполняете моих приказаний! — внушительно возразил Александр Павлович и, взяв перо, положил на докладе резолюцию: «назначить доктора для попечения о больном, детей его поместить в учебные заведения и содержать отца до выздоровления, а детей — до поступления на службу на счет собственных моих сумм… На постройку же усадьбы и обзаведение — выдать из того же источника пособие, в размере стоимости сгоревшего имущества».

— А вас я больше видеть не могу, — присовокупил государь, отдавая Афанасию Даниловичу резолюцию свою для исполнения.

На другой день, когда император садился в экипаж, полковник Соломка, по обязанности своего звания, подошел к экипажу, чтобы помочь государю подняться на подножку; Александр Павлович уклонился от услуг своего опального обер-вагенмейстера, заметив холодно: «вы помните, что я сказал вам вчера».

Афанасий Данилович стушевался. Положение его при главной квартире сделалось ненормальным. Он исполнял обязанности обер-вагенмейстера, но к царю подходить не смел. Каждый день он ждал назначения себе преемника, но преемника ему не назначали. Время шло, а обстоятельства не изменялись. Так близко к царю, и вместе с тем так далеко от него! Сознание подобного, ничем необъяснимого порядка не могло не влиять на впечатлительную натуру честного царского слуги. Он осунулся, похудел и постарел до неузнаваемости. В особенности гнела его мысль, что государь на него еще гневается. — «Душа вся изныла за это время, — говорил потом Афанасий Данилович: — но делать нечего, нужно было терпеть — и терпел».

Так прошло несколько месяцев. Но вот наступил пост. Император начал говеть. С ним вместе говели и близкие к нему люди. Афанасий Данилович тоже начал говеть, но, приходя в церковь, становился в алтаре и государю не показывался. Перед исповедью Александр Павлович послал своего камердинера позвать к себе полковника Соломку и, по приходе его в кабинет, государь, по обряду православной церкви, троекратно поклонился ему и просил у него прощения.

— Ваше императорское величество, я также говею, — воскликнул, заливаясь слезами, опальный царский слуга: — ради

самого Господа, простите мне мои вольные и невольные прегрешения! — и упал царю в ноги.

— Бог тебя простит, Афанасий Данилович, — сказал император, подняв и поцеловав его — забудем прошлое! я знаю тебя, ты — верный слуга мой, вот почему я тебя и не оттолкнул от себя. Я знал, что ты неумышленно сделал это, и я, любя тебя, дал тебе урок. Никогда не следует пренебрегать в жизни людьми, которых мы не знаем. Но я рад, что ты доставил мне случай исполнить долг не только царя, но и христианина Теперь всё забыто! и ты опять мне так же дорог, как и прежде. Ступай и исполняй свои обязанности, как ты исполнял их всегда.

После принятия св. тайн государь принимал поздравления своих близких и свиты. Последним подошел поздравить его Афанасий Данилович. Окружающие, не знав о происшедшем накануне примирении, смотрели с любопытством, как примет царь поздравления своего опального слуги. Удивлению их не было границ, когда Александр Павлович с улыбкою протянул ему руку, обнял и поцеловал, говоря — «Дважды поздравляю тебя Афанасий Данилович, с принятием св. тайн и с возвращением прежнего моего к тебе расположения! Смотри же, постарайся оправдать его!»

И преданный слуга оправдал его. Более пятидесяти лет он состоял на службе при главной квартире: сперва в звании обер, а потом генерал-вагенмейстера, и умер, заслужив признательность и уважение трех императоров: Александра Павловича, Николая Павловича и Александра Николаевича.

«Урок», данный ему Александром Павловичем, не пропал бесследно: он стал более чуток к горю и бедам ближнего, и не только старался помогать людям, обращавшимся к нему с просьбами, но сам разыскивал несчастных и предстательствовал за них перед царем.

«Скифы»

Путешествия императора Александра I не могли не быть плодотворны для народа. Из дальних уголков нашего обширного отечества редкий из нуждающихся, и то в крайнем случае, шел в Петербург просить у царя защиты или помощи. Но если «надежа-государь» приезжал сам и был вблизи от них, они все приходили к нему с своими слезными грамотками и челобитными. Пусть некоторые из них просили невозможного, но большинство получало от щедрот царя то, зачем они никогда не дерзнули бы пойти в далекий, бессердечный Питер.

На одной станции, во время путешествия Александра I по восточным губерниям России, император имел отдых. Устав с дороги, он прилег на диван и задремал. Обер-вагенмейстер Соломка занялся приемом прошений от просителей. Окончив прием, он заметил, что невдалеке от дома, занимаемого императором, стоят дна молодых человека в крестьянских армяках, весьма подержанных, и в изношенных лаптях. В руках у них были палки, за плечами — котомки. Предполагая, что юноши эти имеют какую либо просьбу к царю, он подошел к ним и стал расспрашивать: кто они и зачем тут находятся. Молодые люди, сняв шапки и вежливо поклонившись Афанасию Даниловичу, отвечали, что они — старшие сыновья сосланного императором Павлом в Сибирь Василия Пассека — Леонид и Диомид Пассеки, узнав о проезде царя, пришли из Сибири пешком просить помилования и пощады своему старику-отцу и ждут случая подать просьбу государю лично.

— Отчего вы не подошли ко мне, когда я принимал прошенья от других? — спросил Соломка.

— Нам отец приказал подать прошение лично государю, и мы не смели преступить его волю, хотя и знали, что вы принимаете прошения.

— Государь теперь отдыхает, и потому подать ему прошения теперь невозможно, — отвечал Афанасий Данилович — но если вы непременно желаете подать ему прошение лично, то всего лучше было бы, если бы вы отправились на следующую станцию; там государь будет обедать и, по всей вероятности, примет ваше прошение.

— Но как мы отправимся, когда у нас ни копейки нет денег? Мы и то уже несколько дней пробиваемся по крестьянам.

Обер-вагенмейстер вынул из кармана бумажник и, достав оттуда белую ассигнацию, дал им, сказав, чтоб они отправлялись немедленно и были на следующей станции к часу дня

непременно.

Через несколько времени Афанасий Данилович увидел их едущими верхом на одной лошади и подозвал к себе.

— Что это вы чудите, господа? — спрашивает их обер-вагенмейстер.

— Ничуть ни чудим, — отвечают они, — лошади все забраны под царский поезд, и нам едва-едва удалось раздобыться вот этой клячей у крестьянина, за которую мы и заплатили ему вашу белую ассигнацию.

— Да ведь вы на ней, пожалуй, опоздаете.

— Что же делать!.. пешком идти и вовсе не успеешь, а на лошади, всё-таки, как-нибудь доберемся.

— Ну, поезжайте с Богом!

Наутро царский поезд обогнал их на дороге. Государь на их приветствие отдал им поклон и внимательно осмотрел. На станции, во время стола, Александр Павлович заметил, что к окнам столовой комнаты подходили несколько раз и робко заглядывали в окна какие-то крестьяне. Всмотревшись в них, он обратился к полковнику Соломке и сказал — «Да это, кажется, наши юные скифы, которые давеча утром гарцевали по дороге на одной лошади… Выйди к ним, Афанасий Данилович, и спроси их, что им нужно?»

Обер-вагенмейстер рассказал государю, кто они и как он распорядился доставить их сюда.

— Дело! — сказал государь — ну, поди, позови их ко мне!

Полковник Соломка ввел юношей. Они бросились к ногам монарха, обняли их руками и, не отнимая прильнувших к ним голов, с рыданиями вопили:

— Милосердия, государь, милосердия!.. одного только милосердия, государь, к безвинно пострадавшему старику и его несчастным детям!

Картина вышла поразительная. Александр Павлович даже прослезился.

— Встаньте, встаньте! — говорил он им. Я сделаю всё от меня зависящее, но мне надо разобрать дело.

Юноши встали.

— Возвратитесь к отцу, — продолжал растроганный царь — и скажите ему, что я рассмотрю его дело сам. В милостях моих он сомневаться не может… ну, а вас за то, что вы так усердно исполнили отцовскую волю, я велю поместить в учебные заведения; повидавшись с отцом, приезжайте в Петербург, — и, обратившись к Афанасию Даниловичу, добавил: выдать им прогоны на проезд к отцу и оттуда в Петербург.

В тот же день полетел фельдъегерь с запросом о старике

Пассеке и, но получении ответа и рассмотрении дела, император повелел возвратить ему дворянство, а также отобранное у него в казну имение и дозволить ему возвратиться в Россию. Сыновей его, Леонида и Диомида, принять в учебные заведения, куда окажутся способны, и воспитать на казенный счет. Детей же, рожденных в Сибири, считать принадлежащими к дворянскому сословию.

В сороковых годах «юные скифы» приезжали к Афанасию Даниловичу благодарить его за всё сделанное для них на станции под Екатеринбургом; но это уже были не крестьянские парни, в рваных зипунах, а блестящие представители тогдашнего молодого поколения: один (Леонид) моряк, капитан, а другой (Диомид) храбрец-генерал, в скорости затем так геройски погибший на Кавказе.

Изумительные цифры

Император Александр I, отъезжая однажды для путешествия по России, посетил Александро-Невскую лавру, поклонился мощам угодника Божия и зашёл к схимнику испросить на предстоявший путь благословение. Беседа с монахом царя была довольно продолжительна, он искал у него утешения и надежды и, как казалось, не напрасно: царь вышел успокоенный и довольный. Провожая государя, схимник благословил его и сказал: «и посла мирови ангела кротости». Александр Павлович, недоумевая, что значат слова эти, взглянул на него вопросительно. Схимник повторил сказанное им и вновь благословил царя. Царь уехал, но пожелал, чтобы монастырское начальство разъяснило ему значение слов этих. Долго искали разгадки, но, наконец, нашли. В славянском языке цифр нет, они изображаются буквами. Обращая буквы сказанного схимником изречения в цифры получается: т.е. 1777 — год рождения императора Александра Благословенного.

и	п	о	с	л	а	м	і	р	о	в	и	а	н	г
8,	80,	70,	200,	30,	1,	40,	10,	100,	70,	2,	8,	1,	50,	3.

е	л	а	к	р	о	т	о	с	т	и	
5,	30,	1,	20,	100,	70,	300,	70,	200,	300,	8	= 1777

Замечательно также и нижеследующее совпадение цифр при сложении годов, месяцев и числ рождения, вступления и кончины Александра Павловича.

Он родился 1777 г. декабря 12, вступил на престол 1801 г. марта 12, скончался 1825 г. ноября 19 дня.

Если цифры эти поставить вертикально, то итог цифр, получаемых от сложения годов, даст число лет жизни, а итог цифр, получаемых от сложения месяцев и числ, даст число лет царствования. Именно:

	годы	мѣсяцы	числа	исчисляя вертикально: годы	мѣсяцы	числа.
Родился . .	1777	декабря или 12-й	12	1777	1	1
					2	2
Вступилъ на престолъ .	1801	марта или 3-й	12	1801	3	1
						2
Скончался .	1825	ноября или 11-й	19	1825	1	1
					1	9
				48 число лѣтъ жизни	24	годы царствованія.

Император Николай I и генерал Пенхержевский

В «Рассказах бабушки» А. Я. Бутковской, помещенных в «Историческом Вестнике» за 1884 год, переданы некоторые черты из жизни императора Николая и, между прочим, сообщен рассказ о выговоре, сделанном государем на маневрах генералу Пенхержевскому и последовавшем вслед затем, когда генерал оказался невиноватым, извинении.

Случай этот рассказан чрезвычайно отвлеченно, сжато и не полно, даже года, когда это случилось не указано. А так как подобная черта из жизни покойного государя вполне обрисовывает его рыцарский характер, то я и приведу о ней более полный и достоверный рассказ.

Это было в августе 1836 года. На маневрах войск, собранных при Красном селе, которыми распоряжался сам государь, генералу Пенхержевскому, командовавшему 2-ю легкою кавалерийскою дивизией, было послано приказание, при взятии штурмом двух деревень перед Красным селом, обскакав артиллерийскую батарею, сделать кавалерийскую атаку на противника. Но маневр этот не удался: генерал не исполнил его в точности.

По окончании маневров, государь созвал к себе всех начальников частей и, благодаря их за успешные действия, тут же при всех в самых резких выражениях сделал выговор Пенхержевскому.

— Ты своего дела не знаешь! Тебе надо вернуться в школу, — закончил свою речь разгневанный император.

Трудно оправдываться перед царем, но труднее вынести такой строгий выговор, в особенности, когда не чувствуешь себя виновным, и генерал Пенхержевский решился ответить государю, что он никаких уклонений от данных инструкций не сделал, и что атаку произвел во всей точности, как его величеству угодно было приказать ему чрез одного из своих флигель-адъютантов.

Еще пуще разгневался царь.

— Генерал лжет! — воскликнул он, обращаясь к стоявшим вокруг генералам. — От меня таких приказаний отдано не было… А если вы, господа, и получите когда нибудь подобное… приказание, то, не действуя, пошлите с моим адъютантом, который привезет вам его, своего адъютанта ко мне, чтобы увериться, точно-ли я дал такое распоряжение.

Государь был рассержен до такой степени, что

Пенхержевскому досталось так, как не доставалось еще ни одному прапорщику. Это чрезвычайно огорчило и самого Пенхержевского и старика генерал-адъютанта Бистрома, командовавшего войсками, за отсутствием великого князя Михаила Павловича, и знавшего, что Пенхержевский не виноват.

Вечером на Дудергофе был «чай».

Все начальники находились в сборе, но Бистром не приехал. Государь крайне удивился, не видя «старика командира».

— А где же Карл Иванович? — спросил он дежурного генерала.

Тот отвечал императору, что генерал не мог приехать потому, что расстроен утренним происшествием.

— Что такое?.. Отчего? — изумился Николай Павлович.

Дежурный генерал замялся, видимо затрудняясь ответить.

— Говори правду! — возвышая голос нетерпеливо сказал государь.

В это время из толпы окружавших царя военачальников выделился любимый его флигель-адъютант князь Радзивилл, подошёл к государю и объявил себя виновным в том, что он утром неверно передал генералу Пенхержевскому приказание его величества. Государь был скучен целый вечер.

На другой день, в 9 часов утра, приказано было собраться всем генералам (в том числе и Пенхержевскому) перед палаткой Его Величества. Все ждали новой грозы, и даже самые близкие к особе государя не знали чем она разразится, недоумение и боязнь ясно выражались на их лицах.

Но вот в назначенный час, государь вышел из палатки и, поздоровавшись с собравшимся генералитетом, обратился к нему с речью.

— Господа, я сорок лет живу на свете и до сих пор не могу отучить себя от непростительной горячности. Труднее всего нам владеть собой, когда мы не в спокойном духе. Генерал Пенхержевский, — обратился он к стоявшему впереди генералу, — я рад, что могу при всех генералах, в присутствии тех, которые были свидетелями вчерашней моей ссоры с вами, просить у вас прощения… Я виноват… я был неосторожен, и потому прошу вас, генерал, простить меня и сказать при всех, что вы прощаете меня.

Генерал Пенхержевский бросился обнимать колена великодушного монарха; государь поднял и поцеловал его. Присутствующие были растроганы до того, что некоторые прослезились.

Император Николай I и пажи

Император Николай с особенной заботливостью относился к развитию в среде войск образования и при каждом удобном случае проверял лично степень этого развития. Хорошие результаты его всегда радовали, напротив, при каждом признаке равнодушия или беспечности лиц, коим вверялось образование юношества он взыскивал строго.

Все военно-учебные заведения, находящиеся в С.-Петербурге, летом 1852 года стояли лагерем в Петергофе. В июле месяце приказано было произвести воспитанниками практическую съемку различных местностей Петергофа. Руководителем работ назначен полковник Дмитрий Алексеевич Милютин (впоследствии военный министр и граф). Воспитанники разделялись на партии в несколько человек и получали приказание снять ту или другую местность. Таким образом, снять местность, где находится Монплезир, с прилегающим к нему садом, фонтаны и шахматную гору выпало на долю одной из партий пажеского корпуса, состоявшей из пажей Сергея Соломки, Михаила Марковича, Андреяна Мазараки и Дмитрия Норова, под наблюдением инспектора классов корпуса, капитана Сухонина. Пажи вышли и, пользуясь отсутствием капитана Сухонина, отправились в кусты полежать, позавтракать и покурить, при астролябии же остался один Соломка. Вдруг, как будто выросший из земли, появился у Монплезира, прогуливавшийся в саду император Николай Павлович. Он был в сюртуке лейб-гвардии конного полка и белой фуражке, впереди его бежала небольшая собачка. Подойдя к Соломке, снявшему фуражку и ставшему во фронт около астролябии, он спросил его:

— Что ты тут делаешь?

— Произвожу съемку, ваше императорское величество.

— Покажи!

Соломка вынул планшет и, развернув тетрадь вычислений, подал их государю. Николай Павлович, посмотрев, начал проверять знания пажа, задавая ему вопросы: «с чего он начал? какие меры принял для измерения? какие углы ставил? какие румбы брал? как нужно делать вычисления с помощью Нонниуса? как определить высоту предмета по астролябии?»

Получив удовлетворительные ответы, государь, взяв двумя пальцами руки за лицо пажа, спросил его:

— А как твоя фамилия?

— Соломка, ваше императорское величество.

— Сын Афанасия Даниловича?

— Так точно, ваше императорское величество.

— Скажи твоему отцу, что я тобой доволен, ты отвечал мне молодцом, видно, что занимался хорошо… Спасибо!

Проходя далее по нижнему саду, он встретил партию юнкеров дворянского полка, шаливших на берегу пруда и бросавших в рыбу, появлявшуюся на поверхности воды, камнями.

— Зачем вы здесь и что тут делаете? — спросил их царь.

— Присланы на съемку, ваше императорское величество, — отвечали юнкера.

— Съемка состоит не в распутывании рыбы в пруду! — проговорил наставительно Николай Павлович, — когда вас пускают гулять, тогда гуляйте, а когда вы идете учиться и дело делать, исполняйте что вам приказали. Дворяне и так ведете себя… я вами не доволен!

О замеченном государь в тот же день сообщил генерал-адъютанту Якову Ивановичу Ростовцеву, бывшему тогда начальником штаба военно-учебных заведении, и на утро всем сестрам досталось по серьгам, не исключая, конечно, и Дмитрия Алексеевича Милютина.

Императрица Александра Феодоровна и смолянки

Государыня Императрица Александра Феодоровна с чисто материнскою нежностью заботилась о девицах, воспитывавшихся в женских учебных заведениях. Замечательно добрая эта монархиня ежегодно лично присутствовала при выпуске воспитанниц Смольного монастыря, но в 1836 году, не имея возможности, по болезни, исполнить добровольно принятой на себя обязанности, она почтила девиц выпуска этого года следующим собственноручным письмом, замечательным в том отношении, что оно адресовано было не на имя начальницы заведения, а самим девицам.

«Я надеялась видеть вас, мои дорогие дети, перед выпуском, — писала императрица, — но здоровье мое не позволило мне этого. Я должна избегать усталости и волнений, а ваше пение, всегда столь гармоничное, меня бы сильно тронуло, напомнив мне, что я вижу вас в последний раз, и мысль об этом причинила бы мне большое горе. Но не желая лишить вас моего материнского благословения, я посылаю его вам письменно. Прощайте, мои дорогие дети, молю Бога хранить вас на вашем новом поприще жизни. Семена всех добродетелей посеяны в сердца ваши и от вас самих теперь зависит развивать и разрабатывать их. Ваше доброе поведение убеждает меня в том, что вы никогда не забудете тех добрых начал, которые вы получили в детстве. Воспоминания о вашей молодости, проведенной вместе, да послужит вам спутником при всех невзгодах и неудачах, ожидающих вас в свете, вам еще совершенно не известном. Различные положения, которые каждая из вас должна занят, даются не по уму и таланту, но только по скромности, по знаниям и женской добродетели. Не ищите же лишь случая блистать, но старайтесь исполнять строго ваши обязанности, и благословение Божие будет над вами. Прощайте! прощайте! Молитвы мои да сопровождают вас». Подписано: «Александра», 3 марта 1836 года.

Письмо это вполне обрисовывает характер и доброту души достойной супруги императора Николая Павловича и служит самым наглядным доказательством тех материнских отношений, которые существовали между русской царицей и детьми её подданных.

Николай I в 5 московской гимназии

В 1833 году, в бытность свою в Москве, император Николай I посетил 5-ю гимназию, нашел ее в отличном состоянии и благодарил как директора Оленина, так и всё прочее начальство её. В особенности ему понравилось, что несколько воспитанников, обученные находившимся в гимназии сыном А. Х. Бенкендорфа, прошли мимо государя церемониальным маршем и сделали руками примерно ружейные приемы «на плечо» и «на караул». Он подозвал к себе командира этого детского отряда и поцеловал его. Для дальнейших упражнений воспитанников в ружейных приемах, государь приказал доставить из кадетского корпуса деревянные ружья, а лучших — перевести в новгородский графа Аракчеева кадетский корпус, тогда только что устраивавшийся.

Затем, Николай Павлович, находясь в хорошем расположении духа, войдя в зал, расположился посредине и стал играть с воспитанниками. Он расстегнул сюртук и, взяв несколько мальчиков в распростертые руки, начал возиться с ними; масса детей бросилась к нему — всякому хотелось хотя дотронуться до государя, и они принялись теребить его. Государь сел на пол, брал детей десятками и клал рядом с собою. Воспитанники лезли на государя всё более и более и, наконец, совсем повалили на пол. Долго возился с ними развеселившийся царь и, когда встал на ноги, у него не оказалось ни одной пуговицы на сюртуке, — воспитанники ухитрились во время игры обрезать их.

— Ах, мальчуганы! — засмеялся государь — что это вы наделали?

— Это на память о вас, ваше императорское величество, — отвечали теснившиеся вокруг его воспитанники.

— Но как же я теперь доеду домой?

— Как-нибудь доедете!.. завернитесь в шинель, — весело смеялись воспитанники, целуя его руки.

— Ну, хорошо! — сказал, прощаясь, государь — только смотрите, будьте молодцами, и я буду любить вас.

— Постараемся, — кричали воспитанники ему вслед: — прощайте, ваше величество, не забывайте нас!..

Декабрист Тизенгаузен

Во время политических волнений в Австрии, в 1848–1849 годах, дежурный штаб-офицер управления киевского генерал-губернатора, майор Михаил Дмитриевич Поздняков, по распоряжению генерал-адъютанта Бибикова, неоднократно был командируем по делам службы на австрийскую границу.

В одну из таких командировок, городничий представил ему заарестованного им странного арестанта. Это был приличный на вид старик, с длинною, седою бородою и отпущенными чуть не до плеч волосами, в пенсне, и ветхом крестьянском армяке, в кармане которого найдена книга на английском языке: «Король Лир» Шекспира. Человек этот не имел никакого вида и, при допросе, назвался бродягой, непомнящим родства.

На все просьбы майора Позднякова открыть свое звание и положение, старик отвечал отказом и просил, в виде особой милости, отправить его в Киев, к генерал-губернатору, которому он откроет, кто он такой и с какими намерениями сюда прибыл.

И спросив разрешение, дежурный штаб-офицер доставил старика в Киев и представил генерал-адъютанту Бибикову.

— Кто вы такой? — обратился к старику с вопросом генерал-губернатор.

— Простите, ваше высокопревосходительство, если я вам не отвечу, на ваш вопрос в присутствии постороннего лица, — отвечал старик, намекая на присутствие при свидании Позднякова.

— У меня нет секретов от моего дежурного штаб-офицера, — возразил гордо генерал-адъютант Бибиков — отвечайте на мой вопрос!

— Я — Тизенгаузен.

— Как Тизенгаузен?! — воскликнул Дмитрий Гаврилович, отступая в изумлении — декабрист!?

— Да, декабрист! Не веришь? — ощупай на затылке шрам от раны, полученной в 1812 году в сражении, где и ты участвовал.

Бибиков коснулся рукой головы старика и, удостоверившись в справедливости его слов, обнял его и расцеловал.

— Фома неверный! — сказал, покачав головой Тизенгаузен. — Ну, что ж думаешь, — продолжал он: — отправляй в тюрьму, закуй и бей кнутом, ведь я — беглый каторжник!

— Садись-ка лучше вот здесь, со мною, на диван, любезный друг, — успокаивал старика Дмитрий Гаврилович: — и расскажи, какими судьбами ты очутился здесь?

— Соскучился!.. Тоска изгрызла сердце и душу иссушила….

Ведь двадцать с лишком лет, как мы уже там… Пойми, терпенья не хватило… хотелось детей увидеть, а там что будет!.. собрался и пошёл… что было не спрашивай: хорошего немного… ведь дочери мои, ты знаешь, при дворе, принять боялись… хоть видел я их мельком, невзначай… узнал, что им не худо, рукой махнул, ну, и пошёл… и шёл… куда ж идти как не к тебе, товарищ старый, родственник и друг… Прими и сделай, что тебе Господь на ум положит… в руки твои отдаю судьбу мою — казни иль милуй, мне всё равно, ведь жить осталось недолго…

— Но что мне с тобою делать, что, мне с тобою делать, друг, — повторял в раздумье Бибиков: — просить царя?… но, бежав из Сибири, ты совершил снова преступление и снова подлежишь наказанию: кто знает, как взглянет государь на это… тем более, что он о вас не хочет даже слышать. Лучше я думаю дождаться его приезда сюда, здесь я лично могу просить его за тебя, а до того времени ты будешь жить у моего дежурного штаб-офицера, ко мне же приходи по вечерам. Только знай, что перед самым приездом сюда государя я должен буду посадить тебя в крепость.

Тизенгаузен от всей души поблагодарил Бибикова, и, старые друзья долго беседовали, вспоминая о прошлом, одинаково близком обоим, о капризных ударах судьбы, разъединивших их так жестоко.

Спустя несколько времени, император Николай I прибыл в Киев. Осмотрев войска и город, государь принял обед у генерал-губернатора. Избрав минуту, когда государь находился в милостивом настроении духа, Бибиков рассказал ему о побеге и прибытии в Киев Тизенгаузена, стал просить его о помиловании старика.

— Разве ты не знаешь, что я запретил просить о помиловании декабристов! — возразил гневно монарх.

— Государь, — сказал Бибиков — я осмеливаюсь просить вас, вопреки прямого вашего запрещения, и прошу потому, что беглый декабрист — мой родственник. Я обещал ему ваше помилование, и если он не достоин его, то накажите меня, злоупотребившего вашим именем. Руку мою я потерял за царя и отечество и теперь преклоняю мою голову перед вами, делайте с нею, что хотите… я виноват — велите снять ее, но я действовал вашим именем, зная, что вы и в гневе справедливы и милостивы…

— Нет, Дмитрий Гаврилович, такую голову не снимают, а целуют, — сказал государь и поцеловал его. — Пусть будет по твоему; если ты обещал помилование моим именем, то пусть он и будет помилован! Завтра ты мне покажешь его, где он у тебя?

— В крепости, государь.

— Ну, и прекрасно, в крепости я и увижу его, — сказал развеселившийся царь: — а теперь пойдем к хозяйке.

На другой день, император, осматривая крепость, подошел к каземату где временно был помещен Тизенгаузен, взглянул на него в отворенную дверь и, покачав головою, промолвил тихо: «несчастный!» Выходя же из каземата, спросил Бибикова: «а что, никто об нём не знает здесь?»

— Никто не знает, ваше величество, — отвечал Дмитрий Гаврилович: — кроме меня и дежурного штаб-офицера.

— Смотри же, чтобы и теперь никто не знал о нём, — сказал вполголоса государь.

Бибиков молча поклонился.

По отъезде Николая Павловича, Тизенгаузен поселился в Киеве и жил на средства Бибикова в скромной квартирке над Днепром, никому неизвестный, даже полиции, которой было сообщено, что ему дозволяется жить, не объявляя своего имени.

Освобождение же прочих декабристов последовало уже по вступлении на престол императора Александра II, именно в 1856 году, во время его коронации.

Митрополит Филарет и ротмистр Соломка

Летом 1856 года, Москва готовилась к коронации. Гостей наехало со всех концов света. Гвардия прибывала частями. Несколько молодых офицеров с дамами, 5-го июля, в день св. Сергия, поехали осмотреть Троицко-Сергиевскую лавру. Пожелав после литургии отслужить молебен, они обратились к очередному иеромонаху. Лаврская братия по случаю праздника разрешила вино и елей, но очередной иеромонах оказался слабее других и, обращаясь к офицерам, требовал то покупки свечей, то покупки смолы св. Сергия. Ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, Соломка, не мог стерпеть подобного обращения и обратился с жалобою к митрополиту Филарету. Тот выслушал его и сурово ответил ему: «какой же ты христианин, когда не можешь простить ближнему твоему… Ступай»!

Великий князь Михаил Павлович и отставной солдат

В сороковых годах, жил в Петербурге именитый купец Василий Григорьевич Жуков, производивший обширную торговлю табаком и известный своею добротою ко всем, кто поступал к нему в услужение или на работу. Он был городским головой и содержал хор отличных песельников, известных всему Петербургу. Прусский король, посетивший Петербург, по случаю открытия Александровской колонны, и пожелавший послушать песельников Жукова, пришел от них в восхищение и подарил Жукову великолепную бриллиантовую табакерку. Василий Григорьевич любил наших солдат и выходивших в отставку принимал к себе на фабрику, платил им хорошее жалованье, часто разговаривал с ними и награждал. Однажды, великий князь Михаил Павлович, любивший в свободное от службы время побалагурить с солдатами, проходя по лагерю под Красным Селом, встретил старого солдата, подлежавшего увольнению к отставку, остановил его и разговорился с ним.

— Ну, что, брат, пора нам с тобой и на покой! — сказал ему великий князь весьма серьезно.

— Да, ваше высочество, приходит время к отставке, — отвечал солдат также серьезно.

— Куда же пойдешь?

— Еще не знаю, ваше высочество.

— Ну, брат, и мне хочется на покой, да также не знаю, где бы местечко потеплее найти; а? как ты мне посоветуешь? — продолжал пресерьезно Михаил Павлович.

— Ах, ваше высочество, — отвечал солдат, не запинаясь, с желанием от души всего хорошего любимому им великому князю, — у купца Жукова жить хорошо; вот бы куда!

— Пожалуй, не примет? — засмеялся великий князь.

— Как не принять! — ваше-то высочество! — отвечал убежденно старый воин, — первеющее место вам предоставит.

— Спасибо за совет, любезный товарищ! — смеялся великий князь, хлопая по плечу солдата: — придется, значит, поклониться Василию Григорьевичу, завтра же увижу его и попрошу.

— Попросите и за меня, ваше высочество, — отвечал невозмутимо серьезно старик.

— Конечно, конечно! — закончил великий князь разговор, — уж если служить, так опять вместе.

И действительно, солдат, по просьбе великого князя, был

принят по выходе в отставку Жуковым и находился у него на службе до самой смерти.

Император Николай I и французы

В 1836 году, император Николай I пригласил в Петербург знаменитого французского баталиста Ораса Верне, для написания нескольких картин из нашего военного быта. С ним вместе приехал сотрудник «Gasette de France», Веймарс, нападавший в газете постоянно на русских, в особенности за «тиранию поляков». Им показали лагерь; они были в свите государя на маневрах, видели знаменитый Петергофский праздник и, наконец, были приглашены в тесный, семейный кружок императорской фамилии. Г. Веймарс увидел монарха в кабинете и в кругу его семейства, которое он любил больше чем с отческой нежностью. Когда Веймарс смотрел на детские игры маленьких великих князей с своими сверстниками, между которыми было несколько мальчиков из польских фамилий, государь подошел к нему и сказал: «vous voyez bien que je ne mange pas ies polonais» (вы видите, что я не ем поляков).

Кадеты в Александрии

Император Николай очень любил молодежь, воспитывавшуюся в кадетских корпусах. Всегда и везде он отличал кадетов и старался приблизить их к себе и своему семейству.

В 1843 году июля 22-го, он праздновал день именин сестры своей, великой герцогини Саксен-Веймарнской, Марии Павловны, в Александрии, близ Петергофа. На праздник приглашены были близкие царю люди, тесный кружок друзей, дипломатический корпус и избранные особы первых классов.

Кадеты стояли лагерем под Петергофом. Государю угодно было пригласить их на праздник. Гонец полетел, и чрез несколько времени известное число кадетов, в большинстве случаев выпускные, появились в саду Александрии.

— А! вот и дети, — сказал Николай Павлович и сошел к ним с террасы. Поздоровавшись с ними, он спросил их: «знают ли они какой нынче день»?

— Знаем, ваше императорское величество, — отвечали кадеты.

— Какой?

— День тезоименитства сестры вашего величества, великой герцогини Саксен-Веймарнской, Марии Павловны, с чем и имеем счастье поздравить, — отвечали кадеты.

— Благодарю вас дети, — и государь поклонился.

— Вас благодарим, государь, что вспомнили об нас, — закричали кадеты.

Наследник цесаревич Александр Николаевич стоял на эстраде. Император позвал его к себе и, когда он подошел, сказал ему:

— Что же ты не поздороваешься с кадетами?

Великий князь поздоровался, и на поздравление кадетов поклонился.

— Кланяйся ниже! — сказал ему государь — твоим будущим слугам можешь поклониться в пояс.

И наследник цесаревич поклонился в пояс.

Затем император привел за руки двух младших дочерей своих, великих княжен, Ольгу Николаевну и Александру Николаевну, и приказал им поблагодарить кадетов за поздравление с именинницей.

Великие княжны сделали реверанс.

— Разве так кланяются русским дворянам, — сказал государь и, положив им руки на плечи, заставил их поклониться до пояса.

Разрешив кадетам «вольно», император вошел в их кружок и стал заставлять их играть.

— Берите пример с меня, смотрите, я упаду сейчас на землю, — и, сказав это, государь сделал движение, как будто хочет опрокинуться назад. Кадеты бросились к нему, подхватили его на руки и с криком: ура! стали качать.

После троекратного поднятия, Николай Павлович сказал:

— Ну, дети, довольно! спасибо вам!

— Ради стараться! — и ура! снова огласило сад.

В это время французский посланник, сойдя с эстрады, подошел к государю и выразил ему свое беспокойство о том, что он чуть было не упал, если б кадеты его не поддержали.

— Вы не знаете моих дворян; это ведь всё дворяне, — отвечал с гордостью государь: — они никогда не дадут упасть не только мне, но даже никому из членов моего дома.

Великий князь Михаил Павлович в новгородских поселениях

В сороковых годах Великий Князь Михаил Павлович, ежегодно весною или в начале лета, приезжал в новгородский округ пахотных солдат для смотров расположенных там гвардейских частей. В один из таковых приездов, Его Высочество прибыл в место квартирования лейб-гвардии Уланского полка довольно поздно и остановился для ночлега в устроенном для приезда высочайших особ домике. Отходя ко сну, Михаил Павлович, запирая дверь на ключ, повернул его так неловко, что сломал бородку ключа и остался в спальне запертым. На утро дали знать капитану Иванову, заведовавшему военно-рабочими командами. Пока он явился со слесарем и выпиливал из двери замок, прошло около часу и Великий Князь не мог вовремя выехать к собранному полку на смотр. Когда дверь была открыта, он вышел к собравшемуся в зале начальству и гневно сказал начальнику округа.

— Хороши у вас замки!

— Замок был хороший, ваше императорское высочество, — отвечал начальник округа, — но и хороший замок может сломаться.

— Да я вас и не виню, — рассмеялся Великий Князь, — но я желал бы знать, что с ним сделал бы Аракчеев — и он указал на Иванова, — если бы он его, как меня, посадил под арест на целую ночь?

Борщов и медвежонок

В начале сороковых годов, адъютант коннопионерного дивизиона, поручик Борщов, находясь на завтраке у одного из известных охотников-магнатов, получил от него в подарок только что привезенного с охоты маленького медвежонка, оставшегося после убитой медведицы. Возвращаясь домой в собственных санях, он посадил медвежонка рядом с собою и придерживал его рукой. На повороте с Невского на Владимирскую, его повстречал великий князь Михаил Павлович.

— Стой! — закричал ему гневно великий князь, — что это такое?

— Мишка, медвежонок, ваше императорское высочество, — отвечал выскочивший из саней и подбежавший к великому князю поручик.

— Мишка! медвежонок! — передразнил его великий князь, — это я вижу. Но для чего ты разъезжаешь с ним? Что ты фокусник, или содержатель зверинца, что ли? Разве это прилично офицеру? На гауптвахту!

И бедный поручик с медвежонком очутился на гауптвахте. На другой день великий князь приказал Борщова освободить. Но когда приказание было получено, на гауптвахте возник вопрос: что делать с медвежонком — выпустить его или оставить, так как о нём в приказании ничего не говорилось. Кончилось чем, что офицера выпустили, а медвежонка оставили. Доложили великому князю, и он, погрозив пальцем, рассмеялся: это всё проказы Борщова. Отдать ему моего тёзку, с тем, чтобы он о его житье-бытье мне при случае рапортовал.

И потом встречая Борщова, великий князь несколько раз спрашивал его: «Ну, что, как поживает мой тёзка»?

Отверженцы и отщепенцы общества



В 1870 году наша литература обогатилась одним из замечательных сочинений по предмету исследования жизни русского народа, именно: сочинением С. В. Максимова «Сибирь и каторга», в котором он описывает быт наших ссыльных — этих отверженцев и отщепенцев общества.

Имя г. Максимова давно уже пользуется известностью талантливого исследователя жизни в Архангельской губернии и Приамурском крае. Первые его очерки Беломорья появились в конце пятидесятых годов в «Морском Сборнике» и обратили на себя общее внимание. Новизна предмета и добросовестное его изучение, интересный подбор фактов, своеобразность, бойкость и картинность мысли и языка, зарекомендовали автора как личность талантливую, сильную интеллигентными средствами и деятельную, и сразу выдвинули его из толпы. Уяснив свое положение в литературе, молодой писатель посвятил себя всецело исследованию народной жизни. Так, в начале шестидесятых годов в «Русском Слове» и других изданиях мы читаем его заметки и путевые письма о только что присоединенном к России Приамурском крае[25]. Затем, в конце шестидесятых годов, на страницах «Вестника Европы» и «Отечественных Записок» печатался длинный ряд статей его о быте ссыльных, где затронут один из тех «проклятых» вопросов, которые составляют гангрену современного общества и принадлежат к разряду не разрешенных при настоящем социальном и экономическом его положении, а именно: вопрос о более человечной каре отверженцев и отщепенцев общества. Эти последние статьи значительно, впрочем, дополненные автором, и составили упомянутое нами выше трехтомное сочинение под названием «Сибирь и Каторга».

Что такое каторга?… Это понятие, которым определяется кара за самые важные, самые тяжкие преступления, нечто

продолжительное, бесконечно-долгое, невыразимо-страшное, охватывающее душу ужасом и леденящее кровь у человека с самыми крепкими всё выносящими нервами, говорят одни. Это — юридический термин, под которым подразумеваются усиленные, наиболее тяжелые работы, travaux forcés, говорят другие. Это — ад, по мнению третьих… Но что это такое в действительности — работа, пытка или нечто более ужасное, и какие вытекают из того результаты — об этом общество до последнего времени интересовалось очень мало, так как всё это касается только его отщепенцев и отверженцев… Но отщепенцы и отверженцы общества тоже люди, и мы позволяем себе коснуться значения каторги и, вообще, вопроса: соответствует ли самое существование её современным потребностям общества.

Ссылка в Сибирь в XVII веке, когда обладание ею было окончательно закреплено, имела значение колонизации вновь приобретенной, богатой и обширной страны. За исключением ссыльных за государственные преступления, по которым назначалось тюремное заключение, все прочие сажались на пашню[26], и таким образом история ссылки в Сибирь начинается историею поселений. Известный указ Петра Великого: «бить кнутом нещадно, и заорля в щеку, ссылать на каторгу на вечное житье» открывает историю каторги; но в прошлом веке каторжные работы, в настоящем их значении, были не в Сибири, а в России. Азов был первым каторжным местом, затем каторга была образована в Петербурге, в Рогервике (ныне Балтийский порт), в Шлиссельбурге, в Оренбурге, в Риге, в Херсоне, словом — везде, где были даровые земляные или другие крепостные работы. Только в конце XVIII века, когда оказалась необходимость в рабочих руках на заводах и золотых приисках, пошли в Сибирь по указам: солдаты за побеги, нищие, бродяги, членовредители, а с отменою смертной казни и все преступники, освобожденные от смерти. В текущем столетии Сибирь приобретает значение главного ссыльного места, и только в 1867–1869 годах были произведены некоторые реформы в системе тюрем и ссылки. Каторжные работы в крепостях уничтожены, и воинские чины, присуждаемые к каторжным работам, сконцентрированы в двух пунктах: в Усть-Каменогорске и Тобольске, а из числа лиц гражданского ведомства повелено отправлять в Восточную Сибирь, для обращения на существующие там каторжные работы, только тех преступников, которые содержатся в тюрьмах Сибири и Зауральской части Пермской и Оренбургской губерний, а из России — женщин и женатых преступников, за которыми последуют семейства. Всех же прочих преступников, присужденных к каторжным работам, предписано размещать в

особо учрежденных для того центральных тюрьмах: Новоборисоглебской и Новобелгородской (Харьковской губернии), Симбирской, Виленской и других.

«Вечно горький мир есть ад», говорит Данте (Рай XVII, 121). «Как вещественная смерть уничтожает наше земное существование. так смерть нравственная лишает нас ясного сознания свободного проявления нашей воли, а потому нравственная смерть не много лучше самой смерти вещественной», поясняет ученый толкователь Данте — Штрекфус. Следовательно, ссыльно-каторжные, как лишенные прав свободного проявления своей воли, — ничто иное, как нравственные мертвецы, а пребывание их в каторге, представляющее, конечно, горький мир, может быть названо адом.

«Сравнительный метод одинаково полезен и необходим, как в анатомии отдельного человека, так и в социальной науке, которую можно назвать анатомиею общества», восклицает Писарев в одной из статей своих. Но для определения значения каторги, трудно найти в жизни верное сравнение, так как каторга по своей цели и назначению — карать и карать отверженцев и отщепенцев общества, карать в квадрате и кубе, карать сторицею, карать, наконец, без меры и конца, — может быть сравнена только с адом.

Ад имеет своих песнопевцев. Гомер, Вергилий, Данте сходили в преисподнюю земли и обессмертили ее в своих поэтических описаниях. Сибирские рудники хотя также видели в своих недрах поэтов и писателей, но до С. В. Максимова воспеты не были. В нашей литературе нет ничего, на что можно было бы указать и сказать: вот наша преисподняя. «Мертвый дом» Достоевского — частица каторги, это, действительно, мертвый дом, преддверие ада, и только…

Но перед нами лежит рассказ С. В. Максимова о посещении им одного из Нерчинских серебряных рудников (Зерентуйского). Вот как он описывает каторгу.

«Мы у подошвы горы, которая отлого взбирается ввысь и там, где-то не на виду у нас сливается с другими горами, а может быть и с целою грядою гор. Гора наша, по наружному виду, ни чем не отличается от окрестных: те же голыши и камни, обещающие скудную растительность в живое время, то же обилие мха и по местам примечательно ничтожное количество снегу, когда всё кругом завалено им. Разница одна: у нашей горы, позади нас, и в недалеком расстоянии, раскинулось, довольно большое селение со старыми гнилыми домами, разбросанными в беспорядке и доказывающими наружным видом своим, что хозяева их самые

бедные и несчастные люди во всём свете: нет ни одного дома, который говорил бы даже о кое-каком достатке.

Селение это казенное и приписано к руднику; в горе нашей находится самый рудник серебряный, давно уже существующий, как сказано выше.

Прямо перед нами бревенчатый сарайчик, по местам обшитый досками и одним краем своим вплотную примкнутый в горе у самой подошвы её. Дощатая дверь вводит нас в этот теплый и натапливаемый домик; здесь предлагают нам снять шубу на том основании, что без неё будет свободнее ходить по руднику, где, говорят, теплее, чем в этом домике, тепло как в бане. Но, помня, что на дворе с лишком 30° мороза, мы не решаемся расстаться с шубой (в чём, однако, пришлось нам потом раскаяться). Нам надевают на шею, на длинной веревке, плоский фонарь с зажженной свечей, и мы направляемся в то чистилище, о котором с самого детства слышали так много страшного. Вот за этой-то новою дверью (и опять дощатою) — думалось нам на тот раз — те каторжные норы, где мучилось столько несчастных и погибло в них без следа и воспоминаний. За ней-то, за дверью этой, один из тех рудников, о которых ходят по всей России такие мрачные и страшные рассказы. И теперь мы с трудом отделываемся от неприятного чувства боязни, бессознательного страха и тоски, до такой степени неодолимых, что были моменты, когда были готовы оставить наше намерение и вернуться назад из опасения не подвергать себя крупным и тяжелым впечатлениям: потребовалось энергическое усилие воли, чтобы направиться дальше за эту таинственную дверь, и, раз решившись идти вперед, мы принудили себя безропотно подчиниться провожатым, но неприятное чувство душевной тяжести и безотчетного сердечного трепета нас не покидают. Отворилась дверь, — словно в ад, и истинное подобие его представилось нам тотчас же, как только глаза наши встретили за дверью непроглядный, мертвенный сумрак; к тому же по нескольким ступеням мы опустились вниз, на несколько аршин ниже подошвы горы. Высокая гора, всей массой, всей громадой своей стояла теперь над нами, усиливая тяжесть наших впечатлений. Мы — в горе, под землей, словом — мы в руднике.

Слишком резкий, крайний переход от дневного света прирудниковой светлицы — передней во мрак самого подземелья, не позволяет глазам нашим что либо видеть, что либо понять изо всего того, что творится перед нами, сзади нас, по бокам. Мы слышим голоса, но они кажутся нам такими глухими и робкими, что как будто они, как и наш голос, выходят из сдавленной и натруженной груди. Где-то впереди, как волчьи глаза, мелькают

огоньки, но свет их, поглощаемый густотой окрестного мрака, до того слаб, что кажется особенным, рудниковым. Висящий на груди у нас фонарь нам делает не больше того: свет его чуть брезжится, ударяет в спину проводников, освещая две-три заплаты на полушубках. При поворотах в сторону, свет сальной свечки успевает обнаружить в себе присутствие силы настолько, что мы различаем дощатые стены, мокрые, сырые, и такие же доски на верху, на потолке. И когда глаз успел приноровиться, мы, что называется — огляделись: пред нами и позади нас оказался несомненный коридор, такой же точно, как и те, до которых такие охотники петербургские домовладельцы и архитекторы, показывающие этим бессилие своей изобретательности и несостоятельность своей науки; этот коридор намеревался доказать противное. Он был такой же узкий и теплый, и в таком же прямом направлении тянется куда то вдаль. Мы идем ни ниже, ни выше, идем также свободно и теперь, как шли сначала, и идем как будто узко много сажен, не один десяток сажен и — останавливаемся. Перед нами третья дверь и обитый досками коридор кончился.

— Что это значит?

— Коридор, — (отвечают нам), — туннель этот называется штольней. Та часть штольни, которую мы прошли и которая сверху, снизу и с боков забрана досками, уже выработана и к делу не годится. Рабочие в ней только для того, чтобы положить дощатые заплаты там, где старые доски прогнили до слез. Разрабатывается вот эта…

Отворили дверь — и мы снова погрузились во мрак, который кажется нам еще гуще и непрогляднее. Мы с трудом передвигаем ноги, которые на каждом шагу встречают какие-то рытвины, какие-то камни, и между ними, по самой середине дороги нашей, тянется целый желоб. По бокам, в стенах каменные глыбы; наверху, на потолке, такие же голые, неправильной формы, обитые камни: и те, и другие на ощупь холодны, сыры, слизисты, фонарная свеча на большей части из них освещает ржавчину, окиси. Ощущения становятся еще тяжелее: каменные груды начинают давить нас нравственно всей тягостью внешнего вида своего, и мы снова с трудом владеем собою при объяснениях.

— Это известняк и глинистый сланец — подпороды; а вот и самая порода — наше богатство; из неё то мы добываем достославное серебро, которое и в наших руках стало в редкость, как говорят, редко оно и у вас в России.

Через груды этих подпород и между глыбами породы пробираемся мы дальше, начинаем приметно уставать, нам становится не только жарко, но даже душно. Духота,

наполняющая на этот раз штольню, напомнила нам ту насыщенную влагой атмосферу бани, когда разрядился пар, в обилии сорвавшийся с каменки. В духоте этой (думалось и выговорилось нами) — один из видов каторги и духота эта, между прочим, полагалась одною из мер наказания некогда работавшим здесь преступникам: духота эта едва выносима.

— Отворите дверь! — закричал один из проводников в ответ на замечание наше.

Крепкая струя морозного воздуха мгновенно и с неудержимой силой ворвалась в штольню и выхватила, и унесла вперед в широкое отверстие шахты весь тот удушливый и гнилой воздух, который до этой поры тяготил нас. Пока задняя входная дверь стояла открытою, мы с трудом удерживали на головах шапки: до того была сильна тяга воздуха, которая, имея для нас значение сквозного ветра, становилось уже излишнею, и делалась опасною для здоровья. Пока мы подвигались дальше, в штольне опять накопилось достаточно теплоты, чтобы снова жаловаться на шубу.

В одном месте, влево от нас, из штольни потянулся глухой и тупой, без пролета, коридор, никуда не выходящий, и, в отличие от штольни, на горном языке известный под именем лихтлога. Свет фонаря осветил нам его начало и изныл в той густоте мрака, которую не разрешал ни разу луч солнечного света, и с которою ведет по временам борьбу свет шестериковых сальных свечей в фонарях рабочих.

Войти в лихтлог мы не решились и не пошли туда по той простой причине, что лихтлог — та же штольня только поперечная, боковая, без выхода: боковая оттого, что увела ее туда серебряная жила, ударившаяся в бок от основной, давшей направление штольне, а без выхода лихтлог потому, что на тупом конце его оборвалась надежда на добычу, серебра стало меньше; и дальнейшая работа не обещала возврата затраченных сил и капитала. Штольня повела нас дальше и прямо, один лихтлог остался в стороне направо; другой — налево.

Каменные груды с боков и над ними, неукрепленные искусством и сдерживаемые только силою взаимного тяготения и упора, — грозят опасностью. Вода, в избытке просачивающаяся между камнями, усиливает представление этой опасности для нас, непривычных, бессильных схватить все подробности дела и на этот раз понять всю систему предосторожностей. Мы радуемся за каждый шаг, который завоевываем при выходе из штольни и небессознательно вздрагивает, в боязни за себя, когда слышим предостережение провожатых спрятаться на бок, где-нибудь около стенки в первое попавшееся углубление в ней. Пример тому видим на всех наших спутниках, и, спрятавшись как умели и

успели, мы вздрагиваем во второй раз от сильного удара, который глухим и тупым раскатом потряс всю штольню и исчез без эха и отголоска.

— Что это такое?

— Забой делали! — взрыв произведен.

Ощущаем пороховой запах, видим впереди себя новую вспышку и тотчас новый глухой стук взрыва, и снова ощущаем запах пороха. Идем к тому месту и видим, или, лучше, слепо различаем на полу какие-то дыры, видим буравы в руках рабочих, нам объясняют:

— Бурав вертит в земле скважину, и оттого скважине этой даем название буровой. Она заряжается порохом; порох рвет часть грунта, выхватывает те камни, которые мешают нам прокладывать желоб. Желоб этот посредине пола штольни надобен нам для стока воды. Вода одолевает наши работы безгранично; оставить ее на собственный произвол и не выводить вон — значит поступиться всем рудником: вода зальет его, как залила уже все разработанные и покинутые или по воле начальства, или потому, что они уже и сами по себе перестали служить свою полезную службу.

— Желоба для стока воды мы закрываем досками, чтобы легче ходить и работать; желоб облегчит работы в забоях; пол облегчит перевозку руды в тачках по штольне до шахты.

— Но где же каторга, где те работы, которые мы привыкли считать самыми тяжелыми, называть каторжными?

— Таких работ нет в рудниках. Здесь мы даем молоток и лом. Молотком рабочий обивает породу, освобождает ее от сопровождающих ненужных нам подпород; ломом вынимаем ту глыбу, которую нам нужно и которую указывает и объясняет знающий дело распорядитель работ. Глыба эта подается на лом, когда молот сумел хорошо распорядиться около неё. Вынутая из своего места, она кладется на носилки или в тачку и рабочий везет один или несет с товарищем к бадье, спущенной на дно широчайшей трубы, идущей от вершины горы до самой подошвы её и называемой шахтой. Когда рабочий опростает свою ношу, то кричит наверх; бадью верхние рабочие поднимают воротом на самый верх горы. Там опоражнивают бадью, складывая руду на носилки. Тачек рабочие не любят и предпочитают им носилки, всегда предполагающие товарища, когда и труд разделен и есть с кем перекинуться разговором. Добытую породу сносят верхние рабочие в указанное место в кучу, из которой она уже поступает для сортировки в так называемую рудораздельную светлицу. Выйдем через шахту на верх, я вам и это всё покажу.

И вот, до нас начинают добираться лучи дневного света,

падающие сверху. Свет нашего фонаря блекнет, мы стоим под крутой деревянной лестницей; мы взбираемся по этой отвесно поставленной лестнице, с широко-расставленными приступками, с обязательно неизбежными перилами. Лестница плотно приделана железными закрепами к каменной стене шахты. С трудом и надсаживая грудь, при помощи перил, поднимаемся мы наверх и с трудом переводим дыхание, очутившись на первой площадке. Площадка эта одним краем опять уходит в сырой и непроглядно мрачный лихтлог, идущий параллельно нижней штольне и составляющий в руднике как бы второй этаж его. Другой конец площадки обрывается в ту огромную яму, которая прорыта до самой подошвы горы до дна той штольни, в которой мы были, и освещается такой же широкой, как нижняя яма, трубой, составляющей её продолжение и выходящей на верхушку горы. Отдохнувши, осиливаем вторую лестницу, такую же отвесную и крутую, такую же неподатливую, с такими же крепко захватанными перилами — снова устаем до изнеможения и с радостью узнаем на второй площадке, что конец мучениям близок. Узнаем здесь, что Зерентийская шахта, которая кажется нам теперь глубоким и широким колодцем, имеет глубины 24 сажени: первая лестница 11 сажен, вторая 13; что бревенчатый сарай над шахтой-колодцем сооружен уже на крайней вершине горы, что вся зерентуйская штольня длиною в 160 сажен, но что делают новую — «Надежду», которая будет еще больше, еще длиннее, но в другом месте.

Отрадно было, по выходе из шахты, взглянуть на свет Божий; весело было вздохнуть свежим, хотя на этот раз и крепко морозным воздухом, и еще краше и веселее глядели теперь на нас со всех сторон окрестные валуны — эти застывшие морские волны и еще сумрачнее, тяжелее и каторжнее показалась нам вся темная мгла подземельев — штолен, лихтлогов и тяжелый полумрак шахты.

Целыми десятками лет, не одной тысячью преступных и непреступных рук, рылись эти каторжные подземелья, и рудник, оцененный десятками тысяч рублей, неизмеримо высоко поднимается в цене от того множества слез и стонов, которые вызваны были среди сумрачных каменных стен на тяжелой, опасной работе, и которые вверены были тем же бездушным стенам и тем же безгласным и холодным камням. Через чистую и свежую ключевую воду проходит всё то золото, которым покупается целый свет, и только в немногих местах в ключевой воде этой примешиваются и мутят, и темнят эту воду горькие слезы несчастных; но всё серебро, накипевшее в недрах земных, добытое в сибирских рудниках, прошло через горькие и также

ключом бьющие слезы несчастных. И сколько смертей, нежданных, негаданных, накидывалось там, в этих темных, и сырых подземельях, на терпеливую, замечательно выносливую и крепкую натуру русского человека, хотя на этот раз и обездоленную крутым житейским переломом и крепким, большею частью непредвиденным несчастьем».

«Каторжна жизнь рудникового рабочего, — пишет далее С. В. Максимов, — не только потому, что она бесплатная, обязательная, казенная, но и потому, что подвергается случайностям, недалека от несчастья и граничит с нечаянною, скоропостижною смертью.

«Диркой бьет» — кладет на смерть и увечит рабочего при быстром нечаянном взрыве буровой скважины, сопровождаемом неизбежными камнями, осколки которых брызжут по сторонам с быстротой и силой. Эта опасность для неопытных рабочих на каждом шагу, потому что на каждом шагу эти буровые скважины, и потому, что при спешных работах на каждый шаг не напасешь осторожности и оглядки, если и та и другая не обратились в привычку.

«Горой давит» рудникового рабочего та же оплошность, то же неуменье, а часто и невозможность спохватиться вовремя, — именно в то время, когда он сделал подработку молотком своим под породу, и отломятся от неё плохо слипшиеся или хорошо отбитые груды известняка или глинистого сланца. Горой этой и увечит, и давит до смерти…

Новичок арестант, приходящий на крайнюю каторжную работу — на карийские золотые промыслы — назначается обыкновенно хвосты убирать. Хвостами называются те пустые, ненужные пески, которые остаются на разрезе после промывки золота и от которых золото уже отделено: вода, унося пески, как вещество легчайшее, и не сладив с крупинками золота — веществом тяжелейшим, оставила их осевшими на дне промывного желоба. Уборка хвостов или пустых песков — работа каторжная и потому, что требует усиленных уроков и некоторой поспешности, чтобы принять с дороги старую ненужную дрянь и дать место новой драгоценности и потому хвостовая работа тяжела главным образом тем, что не заключает в себе и не дает того, чем красна всякая работа. Она мало питает сознание, что в труде этом заключаются те же животворные, осязательные и наглядные результаты, как и во всяком другом труде рук существа разумного и мыслящего. Этот труд на хвостах как будто даже бесполезно истрачивает физические силы и без того значительно истощенные и, во всяком случае, нисколько не укрепляет дух, не поддерживает жизни его. Носить целые дни с

раннего утра до позднего вечера пустые пески, носить их по заказу, на урок, в виду наказания за неисполнение полной задачи и без всякого существенного и нравственного вознаграждения на случай честного исполнения долга и обязанности: дело равносильное и равноправное древнему монастырскому наказанию — толочь в ступе воду. Сверх того сознание, что вся эта работа направлена ни ближе, ни дальше, как к бесцельному сооружению на крутых речных берегах новых берегов, целых гор песчаных, так называемых отвалов, сознание это беспредельно мучит и терзает несчастных арестантов, твердо убежденных и сознательно убеждаемых в том, что исполняют они те самые работы, которые по всем правам принадлежат волам, лошадям, животным…

Солеваренная каторга вся тяжела; тяжка она больше всего для организма, которому представляются многотрудные задачи, особенно в сибирских заводах, построенных на старый образец: черно и грязно, старо и грубо. Прежде, когда гнали человеческою силою рассол из соляных источников по желобьям и поднимали бадьями в бунфы посредством насосов — солевареная каторга была настоящая, тяжелее и мрачнее всех. Ссыльные качали насосы на высоких каланчах иногда при 30° морозу, одетыми в казенную рвань; насосы были первобытной формы, как на простых барках, однако требовали, при каждом движении, силы и поклона всем телом почти до земли. Рассол должен был пробегать по желобьям беспрерывно; платье на рабочих сначала мокло от брызг, потом замерзало. Рабочий, отбыв свою смену, всё стоя на ногах, действительно побывал на каторге. Тяжелая качалка так утомляла троих людей, обязанных уроком свыше ста раскачиваний, что они часто падали на месте в беспамятстве от крайнего истощения сил. Журавцы были заменены ручными насосами в 1836 г.; к насосам, для большего облегчения работы, приделаны маятники, — стало легче: балансир маятника стали поталкивать от себя уже меньшее количество рук с наименьшими усилиями; люди могли это делать, сидя в особо прилаженных беседках. Затем постарались (1838 г.) к насосам приспособить лошадиную силу и две лошади стали делать то, что прежде производили двенадцать человек. Но и после таких приспособлений для каторжных осталось довольно места, чтобы видеть ясно, что сил их не щадят и не ценят, о человеческом достоинстве их не заботятся и их тело почитают не выше лесной гнилушки. Жар, который скопляется в том сарае, где варится соль, в громадном чрене или сковороде, становится во время горячих и спешных работ до того тяжелым и невыносимым, что арестанты принуждены скидать с себя всё платье и работать

голыми до обильного пота. Но и при этих условиях духота и жар до того неодолимы, что каждый рабочий обязан выбегать из варницы в бревенчатую холодную пристройку, плохо мшонную и без печки, где таким образом ожидает мокрое и потное тело рабочего свежий, морозный, уличной температуры, воздух. Многие варницы от неправильного устройства пролетов накопляли такой дым, что рабочие, для поправления огня, не могли и по земле ползать. В ветряное время они задыхались; на лучший конец добивались безвременного страдания и боли глаз, и до потери аппетита. Малейший порез какого-нибудь члена, на разъедающих соляных парах варницы, производит опасные летучие раны. Присоединяя к ним неизбежную простуду, при быстрой и крайней перемене температур, мы встречаем тот положительный факт, что редкий рабочий выдерживает больше двух месяцев: многие уходят в госпиталь, всегда наполненный больными ревматизмом, тифом, потерею аппетита, но еще большее число рабочих, не успевших заболеть или поправившихся от болезни уходит в лес и в бега при первом благоприятном случае, на какие особенно щедр и богат Иркутский солеваренный завод или так называемое Иркутское Усолье…

На винокуренных заводах степень каторжной тяжести видоизменяется, значение каторги своеобразнее. Там круглый год тяжело *жиганам*, обязанным подкладывать дрова в печь и, стало быть, целые сутки стоять у огня в тесном подвале, среди нестерпимой духоты, около удушливого печного жара. Здесь значение каторги сходствует с тем, которое дает соляная варница и получает разительное подобие, когда припомним то обстоятельство, что каторжный рабочий — не вольнонаемный; по отношению к нему нет уже никаких уступок ни вынужденных, ни естественных; возвышенной платы он не потребует, от тяжелой работы не откажется и не посмеет заявить открыто и гласно все те права, о которых всегда готов напомнить свободный человек, вольный рабочий, старожил — сибиряк крестьянин. Зимою, во время холодов, заводская винокуренная каторга, всей своей тяжестью, налегает на *заторщиков*, обязанных чистить квашни, промывать в них прилипшее в стенкам этого огромного ящика тесто, когда намоченные руки знобит едким, невыносимым ознобом, когда рабочий, от пребывания в пару, постепенно охлаждаемом, успевает даже *закуржаветь*, т. е. покрыться инеем до подобия пушистой птицы. Последствия известны врачам и даже дознаны на практике: это постоянная дрожь во всём теле, отсутствие аппетита и лихорадка, которую сначала больные презирают, а оттого вгоняют в тело глубоко и близят последнее к

гробовой доске. Нередко накрывала последняя рабочих, опущенных в лари, где бродила брага, прежде чем выходил оттуда весь углеродный газ, накопившийся во время брожения браги: рабочие эти там задыхались и их на другой день выносили оттуда уже мертвыми холодными трупами»…

А вот и очерк одной из тюрем, где помещаются каторжные (Нижнекарийской). Снаружи казарма ветхая, решетки ржавые, крыльцо погнившее, крыша полинялая, но зато всё остальное, обрядовое, в совершенном порядке и надлежащей форменности. Внутренность казармы… Впрочем, мы предоставим рассказать это самому автору.

«Перед нами отворилась дверь, — говорит г. Максимов, — и словно из погреба, в котором застоялась несколько лет вода и не было сделано отдушин, нас облила струя промерзлого, спершегося гнилого воздуха, теплого, правда, но едва выносимого для дыхания. Мы с трудом переводили последнее, с трудом могли опомниться и прийти в себя, чтобы видеть, как суетливо и торопливо соскочили с нар все закованные ноги и тотчас же, тут подле, вытянулись в струнку, руки по швам, по-солдатски. Многие были в заплатанных полушубках в накидку, насколько успели; большая часть просто в рубашках, которые когда-то были белые, но теперь были грязны до невозможности. Мы всё это видели, видели на этот раз большую казарму, в средине которой в два ряда положены были деревянные нары; те же нары обходили кругом, около стен казармы. Вид известный, неизбывный во всех местах, где держат людей для казенной надобности в артели, в ротах, в батальонах. На нарах валялись кое-какие лоскутья, рвань, тоненькие как блин матрацы, измызганные за долгий срок полушубки, и вся эта ничтожная, не имеющая никакой цены и достоинства собственность людей, лишенных доброго имени, лишенных той же собственности. Вопиющая, кричащая бедность и нагота кругом нас, бедность и несчастье, которые в добавок еще замкнуты в гнилое жилище, окружены гнилым воздухом, дышат отравой его до цинги, ступают босыми ногами с жестких нар на грязный, холодный и мокрый пол. Нечистота пола превзошла всякое вероятие: на нём пальца на два (буквально) накипело какой-то зловонной слизи, по которой скользили наши ноги, не раз ходило сильное властью и средствами начальство, — и не заметило, а если и заметило — то наверное забыло. Половина смрада в казарме копилась на полу и наполнила потом всю ее до самого потолка, который также оказался неспособным отправлять свою трудную службу. Отворялись и форточки — и не помогали делу нимало; топятся и уродливые огромные печи и оказываются бессильными. И вся сила спасения не в планочках, которые мы,

набалованные повадкой, охотно прибиваем ко всякому месту, которое сквозит, свистит и просвечивает, не в загрунтовке мест, которые пробелели до того, что заразились гноем и сочатся гнилой, порченной кровью: вся сила, — в коренной перетруске старого и в решительном создании нового[27]»…

Наконец, представим и портреты некоторых, выслуживших срок, ссыльнокаторжных:

«— Иванушко, поди-ко сюда! — кричит пристав промысла встречному. Из ворот соседнего дома вышел человек в рваной шапчонке, с всклокоченной реденькой бороденкой. Шея его была голая; армячишко совсем слез с плеч, и даже рубаха под ним была рваная. На ноги этого человека я уже и решимости не имел посмотреть. Иванушку всего подергивало, голова нетвердо держалась на плечах; он то приклонит ее к правому плечу, то быстро отдернет к левому. Левое плечо ходуном ходит, и самого Иванушку как будто всего ведут судороги, как будто чувствует он, что все его конечности не на своих местах и он употребляет теперь все усилия, чтобы вправить их кости в чашки, в надлежащие и пристойные места. Видно, тяжело Иванушке носить свою головушку, да и с остальным телом мудрено ему ладить, и по-видимому он не тяготится этой работой; на дворе слишком тридцать градусов мороза, а у него оба плеча буквально голы.

— Где ты был? — ласково спрашивает его пристав.

— Снежку отгребал: покормили за то! — отвечал Иванушко и брызгал. Голова как будто еще сильнее заходила на плечах. Левое плечо так и приподнял он до самых ушей.

— А кто ты такой? — продолжал расспрашивать пристав.

— Я — Божий человек! — гнусливо растянул старичок.

— Как прозываешься-то?

— Поселенцем велят зваться.

— Откуда ты родом?

— С Вятки родом.

— За что прислан-то сюда?

— Я и сам не знаю. Мне бы уж домой идти надо. На родину пора… Там у меня тятька с маткой остались.

— Да ведь уж нельзя тебе возвращаться-то…

— Можно, говорят вон там.

Иванушко указал рукой на тюрьму.

— Надо, слышь, только бумагу этакую достать; без бумаги-де не пропустят и назад вернут. Дай ты мне такую бумагу, чтобы мне в Россию уйти, сколько прошу!.. (и в последних словах послышался упрек).

— Всякий раз обращается он ко мне с этой просьбой! —

объяснил потом пристав, когда оставили Иванушку.

— А вот и другой экземпляр ссыльно-каторжного, — говорил тот же карийский пристав, указывая на высокого старика, седого как лунь, тщательно выбритого и чистенько одетого. Старик приковал мое внимание, продолжает г. Максимов, необыкновенно правильными чертами лица, в глазах его еще было много жизни и во всех чертах лица много мягкости и ничего злодейского ни во взгляде, ни в улыбке; даже и верхняя челюсть не была развита в ущерб остальным частям лица. Глядел он бодро, честно и открыто, шел смело и уверенно. Сложен он был превосходно и даже той сутулости, которая характеризует всякого ссыльного, битого кнутом, и даже той запуганности, которая заставляет прятать взор куда-нибудь в сторону, в угол, мы в нём не заметили. Наконец, той робости, которая велит скидать шапку всякому встречному (что так любят и привыкли делать все, просидевшие долгое время в каторжной тюрьме) — в старике нашем также заметно не было. Внешний вид расположил меня в его пользу и я готов был усомниться в подлинности и вероятии рекомендации пристава; но последний настаивал на. своем:

— Три года в Акатуе на цепи сидел.

И сам старик рассказывал потом:

— В Калуге, на родине, почту мы ограбили и почтальона с ямщиком убили.

И откуда он взял столько хладнокровия, чтобы совершенно спокойно выговорить эти последние слова, из рассказа своего.

— А за что тебя на цепь посадили? — спрашивал пристав.

— Сами знаете, ваше благородие! — отвечал старик: и мягкая, кроткая улыбка пробежала по лицу его. Улыбка эта, может быть, в то время меня обманула, продолжает г. Максимов, но я и теперь за нее. Далеко ходить в оправдание её; но лицо старика при дальнейших расспросах оставалось невозмутимо спокойным. Думал ли он на тот раз, что перед прямым, непосредственным своим начальником скрываться нечего: он всё знает, или сообразил он, что нет греха сознаться в том преступлении, которому минула законная давность и тяжесть которого давно уже искуплена цепью и одиночным заключением, сосредоточивающим все помыслы в самом себе, — старик обо всём этом вслух не сознался, но поведал другое:

— На цепи я сидел за то, что из тюрьмы бежал, на дороге бурятскую юрту ограбил и одного братского задушил.

И опять хладнокровный тон в показании, как будто в свидетельство того, что старик теперь не боится за себя. Знать «умыкали бурку крутые горки».

— Взял я его к себе в водовозы, и не нахвалюсь старанием и

усердием; запивает иногда, но очень редко — говорил пристав. — У нашего начальника жила в кормилицах женщина, сосланная сюда за убийство собственного ребенка, и исполняла свою обязанность с такой любовью, что иная мать не прилагает столько нежности и ласки к собственному детищу. Мы объяснили это порывами раскаявшейся натуры, жаждавшей искусственною, подогретою любовью замыть кровавый грех ужасного преступления, — но баба эта нас обманула. Теперь она осталась нянькою при многих детях и вот уже четвертый год такая же неустанная, бессонная, честная и нежная работница.

Третий, Мокеев, и также случайно попавший на глаза, был именно из тех боязливых и робких, которые привыкли прятать свой взгляд, привыкли быть замкнутыми и неоткровенными на любой из вызовов ваших. Ссыльный этот писал, напр. стихи, и одно время исполнял даже обязанность полкового пииты: написал по заказу начальства песню на отправление первой экспедиции, снаряженной для завоевания Амура. Мокеев пришел в Нерчинские заводы *по делу об ограблении и умерщвлении* какого-то купца, где-то в степных губерниях, и принес с собой рекомендательные письма. По письмам этим он оказался виновным только в том, что был при убийстве свидетелем, но не участником. Письма говорили, между прочим, и то, что он, нося веселое звание купеческого сына или брата, вел в тоже время и жизнь, приличную этому званию, т. е. ничего не делал, кроме кутежей, ничего не видел, кроме трактиров и погребов. Он жил таким образом долго и весело, пока не истощились отцовские деньги. Недостаток денег вывел его из трактира в кабак. В кабаке он попал на развеселых товарищей, которые образовали шайку, имевшую намерением поправить свои обстоятельства и подсластить пропойную жизнь на чужие средства. Средством для этого друзья придумали грабеж на большой дороге. Желая ограничиться грабежом, они сгоряча и в противоборстве совершили убийство, но без участия Мокеева, хотя и в его присутствии. Как соучастник и друг убийц, не давший во время знать начальству о преступлении, он от товарищества судом выделен не был, и вместе с ними попал на каторгу. Сюда, когда он освободился из тюрьмы, богатые родные присылали ему деньги. На деньги, при посредстве промыслового начальства, вознаградившего его тем снисхождением и участием, которых не получил он от судей, Мокеев успел затеять кое-какую торговлю. Торговал он удачно и деньги наживать начал, да вдруг вспомнил о своем бездолье и родине — и запил. Запой сокрушил все его средства; новые присылки денежной помощи шли в кабак. Сколько не валили потом щебня в болото: гати не сделали, раз

прососавшаяся вода по знакомому ложу смывала все преграды. На время (и только на время) приостановилась было вода на мельнице, не рвала гати и обещала по ней прямое и надежное русло туда куда надо: Мокеев полюбил вольную казачку, полюбился и ей — и женился, торговля опять пошла на лад; колеса на мельнице завертелись; мука была и покупателей было довольно, да вдруг загул, и опять прорвало плотину. Суетилась жена, хлопотали соседи, суетились и хватали много и долго, а добились одного только, что больной стал пить не загулами, а запоем, что как известно, и безнадежно и неизлечимо. Стал Мокеев человеком убитым и потерянным и скрежещет теперь зубами на свою шаль и дурь; и жену любит и всеми соседями был бы любим за кроткий податливый нрав, да слабость свалила и не позволяет встать на ноги. Мокеев теперь на всё рукой махнул.

— Ничего с ним не поделаешь — говорила жена его: — самый беспутный человек! песни писать пуще прежнего начал, станет тебе читать какую, — слезой прошибет. Лучше бы уж в гроб скорее ложился да гробовой доской накрывался. Вот и вчера пьянехонек домой пришел и завтра такой же будет».

Маколэй в одной из своих статей говорит: «Дантовская поэзия своею картинностью превосходит всё что когда-нибудь было написано. Впечатление, производимое ею, напоминает впечатления, которые мы чувствуем, смотря на произведения живописи или резца». Если под сущностью поэзии, как полагает знаменитый ученый, историк и поэт Англии, понимать только искусство употреблять слова в таком виде, который производит с помощью слов то, что живописец производит с помощью красок, то в описании каторги С. В. Максимова нельзя не видеть высокопоэтического, художественного очерка. Это описание своей жизненностью, своей поражающею оригинальностью, своей безотрадной правдой превосходит даже мрачные картины дантовского ада. Это не иллюзия, не мираж, обманывающие орган зрения, не театральные сцены, увлекающие воображение; это — жизнь со всеми её страстями, жизнь безрадостная, безнадежная, свитая из зла и горести, ползущая, пресмыкающая как гадина и возбуждающая в душе отвращение до nec plus ultra; это — ехидна, ядовитая и беспощадная; это, наконец, сама Медуза, смертельно поражающая всю нервную систему, Медуза живая, во всём своем грозном величии, с вьющимися и шипящими Горгонами на голове… Читая очерк Максимова, вы видите перед собой и чуть не осязаете это чудовище, называемое каторгой, видите, как оно постепенно и без всякой пользы для дела и для самих ссыльно-каторжных истязает и истощает до изнеможения физические их силы, губит жизнь духа, развивает и поддерживает с

заботливостью, достойною лучших целей, заразительные и неизлечимые между ними — болезни, делает людей идиотами, мономанами, существами дряхлыми и ни к чему неспособными, живыми мертвецами и скелетами до времени — и ужас охватывает ваши члены, волос становится дыбом, оконечности коченеют и язык невольно лепечет стих Данта:

«Почто наш грех карает нас так строго?»..

По сведениям, сообщаемым г. Максимовым, в течение тридцати восьми лет (с 1823 по 1861 г.) в Сибирь из России ушло всего обоего пола лиц 289 514, сосланных по судебным приговорам и административным порядком, не считая пришедших по воле жен и детей. В этом числе сослано в каторжные работы 39 601 мужч. и 4330 женщ. и на поселение 207 604 мужч. и 37 179 женщ. Цифра не маленькая, над которой нельзя не призадуматься.

Хотя учреждением внутри России центральных тюрем для содержания некоторой части преступников, приговоренных к каторжным работам, и положен краеугольный камень основания новой тюремной системы, но как старый порядок ссылки на каторгу в Сибирь, так и вновь усвоенные на западе системы тюремного заключения, не удовлетворяют рациональным потребностям современного, гуманного взгляда на содержание под стражею людей, признанных судом преступными.

Существующие в настоящем виде каторжные работы — наследие доброго старого времени, когда каторга считалась продолжением нещадного битья кнутом и заорления щек. Сибирь, как ссыльное место, обречена была прикрывать грехи России. Она залита слезами, оглушена стонами и усеяна костьми отверженцев и отщепенцев общества. Каторга по своему значению даже не кара, не наказанье, не возмездие, но нечто большее… Это — пытка, и пытка тем более страшная и мучительная, что она продолжается не день, не два, не три, но годы, десятки лет и даже бессрочно. Это — ни что иное, как бесконечная нравственная встряска, дыба без отдыха, медленный огонек без предела и конца. Каторга противна не только человечеству, но даже самому принципу кары и возмездия. Окончательное уничтожение её будет принято с восторгом всеми здравомыслящими людьми и займет, без сомнения, видное место на страницах современной истории.

Но высказываясь за окончательное уничтожение традиционных каторжных работ, мы не можем не коснуться и новых тюремных систем. За границей существуют две системы

заключения: *келейная* и, так называемая, *молчания*.

В начале настоящего столетия, в видах предупреждения развития преступлений, исправления преступников и устранения рецидивизма, квакеры-филантропы изобрели келейную систему заключения. В основание этой системы легла та мысль, что преступник, заключенный в приличной, опрятной и чистой комнате, снабженной всем нужным, и, следовательно, изолированный от всяких вредных влияний со стороны других преступников, не может не исправиться, так как вся его обстановка должна располагать его к размышлениям и раскаянию. Но эта система оказалась хорошею только в теории. Примененная первоначально в Оборнской тюрьме в Америке, она дала страшные результаты. Большая часть преступников в самое короткое время погибла. Одни впали в идиотизм, другие сошли с ума, третьи умерли. Из числа всех заключенных в этой тюрьме испытание вынесли только 26 человек. Тюремное начальство, боясь ответственности за такие неутешительные результаты, освободило всех заключенных, вынесших пробные эксперименты, но из числа освобожденных 26 человек — 14 в самом непродолжительном времени вновь попали под суд и были приговорены к заключению в той же тюрьме за повторенные преступления. Другие тюрьмы в Америке, где производились подобные опыты, дали почти такие же результаты: в Нью-Джерси, напр. десять человек умерли один вслед за другим. Применение этой системы (с допущением, впрочем, работ), во Франции повело к более худшим результатам — к развитию между преступниками самоубийства. В одном 1866 году насчитывалось до 46 самоубийств, происшедших, по преимуществу, в кельях. Вторая система (молчания) выродилась из первой. Преступники находятся на работах и на прогулках вместе, но им предписывается сохранять повсеместно безусловное молчание. Не смотря на то, что тюремным начальством были принимаемы все зависящие от него меры к развитию этой системы, она не пустила корни во Франции: правительство вынуждено было заявить, что оно отказывается от этой системы. Система молчания насколько нелепа, настолько и чудовищна. Для того, чтобы правила молчания были выполняемы во Франции, в 1864 году, 18 713 преступников перенесли в тюрьме 59 841 наказание, в том числе были 10 604 случая заключения в карцер, и это одно наказание составило 94 563 дня, т. е. почти по 10 дней карцера на каждого преступника. Приведенные нами статистические данные сами собою красноречиво говорят о достоинствах системы молчания и не требуют никаких комментариев.

Без сомнения, тюрьмы, построенные по новейшей системе,

как *здания* для помещения отверженцев и отщепенцев общества, наиболее соответствуют идее гуманности, нежели те постройки, которые так характеристично и верно описаны г. Максимовым, но как *учреждения*, как *системы* для содержания под стражею людей, признанных судом преступными, они стоят наряду с нашими традиционными каторжными работами в Сибири, если еще не ниже их. Как те, так и другие — плоды долголетних измышлении криминалистики, основанной исключительно на принципе возмездия и устрашения, с тою только разницею, что каторга изобретена тогда, когда работал застенок, свирепствовал кнут и производились церемонии торжественного и всенародного заорления щек; а системы заключения — келейная и молчания — дело филантропии XIX века, который работу застенка, свист бича и клеймо щек воспроизводит в другой более изысканной форме, но без всякой пощады и снисхождения, казнит с соблюдением приличий, но в высшей степени мучительно и жестоко.

Нам кажется, что прежде нежели остановиться окончательно на одной из систем содержания под стражею отверженцев и отщепенцев общества, нужно пересмотреть и согласить с духом нового уголовного судопроизводства и самое уложение о наказаниях, вдунуть в него, так сказать, душу бессмертную. Хотя современное уголовное право и усвоило ныне более гуманный взгляд на преступления, нежели это было прежде, но основные начала его ничем не отличаются от начал уголовного права древних народов. Это — сочетание принципов кары, возмездия, абстрактной справедливости и устрашения. При таком характере уголовных кодексов вообще в Европе караются одни преступления, на источники же происхождения преступлений, на те неблагоприятные условия нравственного, социального и экономического положения человека, которые имеют подавляющее влияние на проявление его личной воли, не обращается никакого внимания, вследствие чего и самые средства к излечению общественных болезней и язв найдены быть не могут. Нисходя в глубь веков, мы видим, что первобытный человек, в деле расправы за обиды и оскорбления, руководился только чувством мести. Древние греки считали месть наслаждением богов. Первые законодатели народов узаконили месть: Моисей определил в виде возмездия: душу за душу, око за око, зуб за зуб[28]. Солон предписал выкалывать оба глаза тому, кто выколет глаз у кривого. Вот начало тех принципов, которыми руководствуется и доныне уголовное право. Хотя с развитием человеческих общин и государств, область уголовного права и отделяется от области права войны, регулируются правила и целые системы, казнь без различия запрещается, но основными

принципами уголовного права, до наших времен остаются принципы возмездия, абстрактной справедливости и устрашения. Народы руководятся этими принципами с беззастенчивостью, доходящею до попрания понятий о существовании самого уголовного права. Так, например, римские власти тиранят и казнят христиан. Монголы воздвигают пирамиды из человеческих голов; турки толкут в ступах и сажают на кол десятки тысяч людей; святая инквизиция пытает и сжигает на костре бесчисленное количество жертв *для примера*; малороссияне производят Уманьскую резню; революция гильотинирует, а реставрация производит белый террор. Наконец, на наших глазах представители коммуны и Мак-Магон, каждый в свою очередь, совершают кровавые вакханалии, и массы народа погибают во имя принципа возмездия и устрашения. Человеческий разум не может отрешиться от этой бесчеловечной идеи. В Риме, во время императора Нерона, раб, мстя за обесчещенную жену, убил своего господина; суд, чтобы навесть ужас на всех рабов, приговорил к смерти, вместе с убийцею, четыреста других рабов, живших под одной с ним кровлею. Катерина Медичи воспроизводит Варфоломеевскую ночь. У нас переходит в легенду суд Шемяки. Никто — ни сумасшедший, ни идиот, не избавлялся от уголовного наказания. Кредитор имел право продать своего должника в кабалу, или вырезать из его тела несколько кусков мяса. Смертная казнь определялась за такие преступления, которые ныне преследуются слабо: напр. во Франции: за покупку свинцу и пороху больше, чем нужно в доме, за сопутствование ворам, за ввоз табаку и ситцев посредством контрабанды; в Англии: за воровство в лавке на 5 шиллингов, за воровство писем или за воровство на мануфактурах льна. И не только люди, но даже животные и даже неодушевленные предметы несли уголовную ответственность. Судьи присуждали: лошадь, если она убила человека — к повешению; свинью, если она сожрала ребенка — к сожжению; дерево, если оно во время бури или ветра давило или убивало человека или животное — к сожжению. Новейшие ученые мыслители и философы идут по стопам криминалистов каменного, железного и бронзового веков. Так, ученый Силвелла проводит идею, что смертная казнь должна существовать вследствие взаимного нравственного обязательства людей, на основании которого все нарушающие законы справедливости соглашаются на самоуничтожение. Абегг защищает смертную казнь во имя примирения преступника с небом. Жозеф де-Местр, Доназо Кортез, Луи Вельо и др. провозглашают законы Ману. По их мнению, кровь очищает и удобряет землю, топор палача и плаха составляют великие акты

справедливости, гильотина нужна для примера, для развития нравственности и ограждения общества. Учение Канта проповедует воздаяние злом за зло — как идею, присущую человеку, категорический императив. Философия Гегеля признает звеньями трахотомии, трехчленным диалектическим развитием идеи: право, нарушение права — преступление; и отрицание преступления и примирение с правом — наказание. Английский криминалист Джемс Стифенс полагает даже, что самое умопомешательство не должно служить поводом к отклонению вменения.

Таким образом уголовное право под давлением подобных рутинных взглядов переживало различные фазисы своего развития, — и если, с течением времени, гуманные идеи и проникли в уголовные кодексы Европы; если смертная казнь не назначается более за кражу в лавке на 5 шиллингов или с фабрики нескольких фунтов льна, а в некоторых государствах и совсем отменена; если наказание животных и неодушевленных предметов уничтожено; если к принципу абстрактной справедливости присоединился новый — исправление преступника посредством работ, то и за всем тем, уголовное право не могло не отстать от поступательного движения современного общества на пути прогресса и цивилизаций.

Без сомнения, владычество грозной Немезиды рано или поздно должно кончиться, и современным криминалистам предстоит великая задача — примирить гуманные требования современного общества с суровыми тенденциями уголовного права, — изыскать меры, которые могли бы вести не только к изолированию лиц, признаваемых судом преступными, без обременения их участи и к уничтожению рецидивизма, но и к уменьшению числа преступлений в народе, действуя преимущественно на причины преступлений, как корень всему существующему в мире злу.

Переходя к устройству наших центральных тюрем, нельзя не заметить, что мы привыкли всё перенимать и во всём подражать западу, ловить, по знаменитому выражению М. Н. Каткова, *хвостики мыслей*. Неужели и в тюремном деле мы должны также пересаживать на нашу почву то, что не привилось, не принялось на западе. Тюрьмы, не говоря уже о их значении как учреждений для содержания преступников, требуют много денег для их возведения и приспособления. Это — игрушки дорогие. Постройка Мазаской тюрьмы в Париже обошлась в 5 миллионов франков. Мы еще не так богаты, чтобы бросать миллионы рублей на одни эксперименты, бросать с уверенностью, что эксперименты эти ни к чему, кроме траты денег, не поведут. Тюрем у нас, слава

Богу, и без того довольно. Есть тюрьмы гражданские, есть тюрьмы военные, есть тюрьмы морские; есть тюрьмы губернские, уездные и этапные; есть тюрьмы центральные, постоянные и временные; есть тюрьмы исправительные, смирительные и для неисправных должников; есть тюрьмы подследственные, пересыльные и крепостные… На недостаток тюрем мы пожаловаться не можем, хотя, говоря откровенно, было бы ни сколько не хуже, если бы число тюрем не увеличивалось, а уменьшалось. Мы думаем, что было бы вполне рационально, если б вопрос об организации тюрем был подвергнут всестороннему обсуждению при посредстве людей сведущих; если б подумали наконец и над тем, как бы освободиться совсем от тюрем. Депре, в изданном им в 1868 года сочинении «De l'abolition de emprisonnement», говорит, что обходиться без тюрем не только можно, но даже должно, если исходною точкою легальной системы признать не одно только желание общества, во чтобы то ни стало, и как бы то ни было, отделываться от преступников, но заботиться и о действительном их исправлении и о противодействии тем печальным результатам современной криминалистики, которые главнейшим образом обусловливают явления рецидивизма в преступлениях. Знаменитый доктор права рекомендует труд вне тюрьмы, рациональную организацию исправительно-земледельческих колоний. Мы, с своей стороны, укажем на организуемые военным министерством из штрафованных нижних чинов рабочие бригады, которые вполне соответствуют своей цели: укажем на работы арестантских рот гражданского ведомства на курско-харьковской железной дороге в 1868 году, где роты эти работали *без конвоя*, за круговым поручительством, и побегов, за исключением нескольких случаев, не было; укажем, наконец, на предложение бывшего генерал-губернатора Восточной Сибири, генерала Синельникова, сибирским золотопромышленникам принимать для работ на приисках ссыльных. Всё это, взятое вместе, может дать результаты более блестящие, нежели думают приверженцы status quo. Конечно, современным криминалистам и специалистам тюремного дела необходимо поработать над этим вопросом, но работа эта должна удовлетворить самое громадное самолюбие, так как она, в случае успеха, открыла бы новую эпоху в истории развития человечества.

Резолюции императора Александра II



Император Александр II обращал, как известно, особенное внимание на устройство вооруженных сил империи, любил военное дело и прилагал всевозможные попечения к улучшению быта как офицеров, так и нижних чинов. Он хорошо изучил организацию, числительный состав и хозяйство войск. Он в совершенстве знал хронику полков, время их основания, в каких войнах они участвовали, в каких сражениях отличались и чем награждены. Он обладал отличной памятью и безошибочно перечислял: какие части войск имеют георгиевские знамена, Владимирские ленты, серебряные трубы, петлицы, знаки за отличия. При прочтении докладов, он указывал иногда на такие частности дела, которые ускользали от внимания их составителей-специалистов. Я могу привести несколько примеров подобных указаний, но в настоящем случае ограничусь пока одним, именно замечаниями государя на доклад военного министра, генерал-адъютанта Сухозанета, от 23-го июля 1857 года, о знаменах гвардейских и гренадерских полков.

Генерал-адъютант Сухозанет, как известно, грамотностью не отличался. Некоторые его резолюции сделались общеизвестными, даже более известными, чем знаменитые резолюции графа Аракчеева. Например, такие, буквально списанные нами с подлинников, резолюции: «*Сумляваюс чтоп палковник И. обалванил сиэ дело кюлю*» (сомневаюсь, чтобы полковник И. оболванил сие дело к июлю), или: «Неспасобных многа хто пладит лэкаря, али чясти, нада разобратца» (неспособных много, кто плодит: лекаря, или части, надо разобраться), — могут служить красноречивым тому доказательством. В его докладах государю, конечно, проходили и неясности, и неточности изложения. Император Александр строго относился ко всем

подобным недомолвкам и делал замечания, не совсем лестные для составителей таких докладов.

После Крымской войны гвардейские и гренадерские полки, имевшие (с резервными) по шести батальонов, должны были состоять в трехбатальонном составе (в том числе 3-й батальон резервный). Возбудился вопрос: как поступить со знаменами упраздняемых батальонов?

Генерал Сухозанет излагал в докладе: «Поставление знамен упраздняемых вовсе третьих батальонов полков лейб-гвардии в тех дворцах, где ныне стоят знамена, остающихся первых и вторых батальонов тех же полков, было бы неудобно, потому что первые знамена (т. е. третьих батальонов) принадлежат частям, которые не будут уже существовать». Государь против этого пункта написал: «*Совершенный вздор, ибо третьи батальоны не упраздняются, а только распускаются на мирное время и переименовываются в третьи резервные батальоны по примеру 4-х резервных батальонов, коих знамена стояли во дворцах*».

Далее Сухозанет говорил: «Предполагаемая замена знамен первых и вторых батальонов гвардейских полков, если оные пришли в ветхость, знаменами пятых и шестых батальонов в полках лейб-гвардии Преображенском, Семеновском, Измайловском, Московском, Гренадерском и Литовском, была бы излишнею, потому что означенные батальоны все получили новые знамена». Государь отметил: «*Никогда, об этом и речи не было*».

Таким образом, весь доклад оказывается испещренным заметками: *«они не упраздняются», «всё это вздорные рассуждения», «это одно справедливо»* и проч. Наконец, самая резолюция его величества, помеченная 26-го июля 1857 года, гласила так: *«Вздорный доклад. Исполнить — как показано в конце»*. В конце же доклада государем собственноручно начертано следующее:

«В полках лейб-гвардии:
Гатчинском,
Павловском,
Финляндском,
Волынском,
Гренадерских:
Императора Австрийского,
Короля Фридриха Вильгельма III.

В 1-ые и 2-ые и в 3-и резервные батальоны передать знамена, имевшиеся в резервных батальонах сих полков 4-х, 5-х и 6-х, с переменою только скоб.

Старые знамена гвардейских полков перенести с

почестью в полковые церкви, гренадерских полков знамена сдать в С.-Петербургский арсенал.

Во всех прочих полках гвардии знамена бывших резервных батальонов 4-х, 5-х и 6-х перевести с почестями из дворцов на хранение в полковые церкви.

В Гренадерском корпусе знамена 3-х батальонов, переименованных в 3-и резервные, сдать в арсенал, где будет храниться оружие для сих резервных батальонов. Прочих резервных батальонов, ныне вовсе упраздняемых, сдать на хранение в С.-Петербургский арсенал. 26-го июля 1857 года».

По разумности и ясности изложения, это — действительно царская резолюция.

Генерал Клугин

3-го декабря 1868 года, помощник начальника главного штаба, генерал-майор Клугин подал по команде рапорт следующего содержания: «Сегодня, в $8^3/_4$ часа утра, идя по Невскому проспекту в пальто, я встретил обер-офицера, который не отдал мне установленной чести. Спросив этого офицера, на основании §19 дисциплинарного устава, о причине, по которой он не отдает чести генералам, я получил ответ от шедшего возле него штаб-офицера, что я имел честь обратиться с вопросом к его высочеству. Считаю долгом донести об этом вашему сиятельству».

Когда доведено было об этом до сведения государя, император Александр II отозвался: «По уставу он должен был сделать замечание офицеру, не отдавшему чести, но я не понимаю, как это — генерал служит в Петербурге и не знает моих детей».

— Ваше величество, он близорук.

— А, тогда дело другого рода, — засмеялся государь — тогда я не вправе на него сердиться, дисциплину поддерживать нужно.

Генерал Рамзай

Генерал-майор барон Рамзай (впоследствии генерал-адъютант, командир гренадерского корпуса) во время командования гренадерским полком, стоявшим в Новгороде, чрезвычайно строго относился к солдатам и жестоко наказывал их во время учений. В зимнее время полк учился в манеже кадетского корпуса, куда приводили на ученье и кадетов. Однажды, во время совместного ученья в манеже какой-то роты полка и кадетов, когда барон Рамзай немилосердно бичевал солдат, в манеж приехал директор кадетского корпуса, генерал-майор Бородин. Увидав истязания солдат, он подозвал к себе барона и перед фронтом сказал ему: «ваше превосходительство, я предоставил в ваше распоряжение манеж для обучения солдат, а не для варварских экзекуций над ними, вредно влияющих на воображение моих кадетов. Не угодно ли вам ваши экзекуции производить в казармах, иначе я вам не могу предоставить пользоваться манежем».

С этого времени экзекуции в манеже более не повторялись. Барону Рамзаю кадеты дали прозвание «*генерал Крамсай*», которое и сохранилось за ним на всю жизнь.

Граф М. Ю. Виельгорский

6 апреля 1835 года, граф Матвей Юрьевич Виельгорский назначен шталмейстером двора её императорского высочества, великой княжны Марии Николаевны, и вот по какому поводу. В великую субботу, у всенощной во дворце, прикладываясь к плащанице, граф уронил нечаянно с одной ноги башмак и за теснотой не мог его поднять. Государь заметил это и, подозвав графа, сказал ему: «Mais, mon cher comte, pour que vous ne perdiez pas une autre fois vos souliers, je vous donne les bottes», (любезный граф, чтобы вы в другой раз не теряли башмаков, я даю вам сапоги).

Генерал Бурмейстер

В начале сороковых годов, кронштадтским комендантом состоял генерал-лейтенант Бурмейстер. Это был деликатный, добрый и любимый всеми подчиненными начальник. Но у него была своя слабость — муштровать молодых офицеров в отношении знания караульной службы, для чего он их держал по целым часам в манеже, производя разводы и заставляя их по нескольку раз подходить к нему с рапортом. — «Не так, отставь», «рапортуйте снова», «вы салютовать не умеете», «вот как надо!» — распекал их генерал и только после нескольких приемов отпускал развод. Молодые моряки, выходившие в караул с своими экипажами, зная слабость генерала, нарочно школьничали и выводили его из терпения.

Как-то был назначен развод в высочайшем присутствии. Генерал Бурмейстер, зная, что император Николай I строго относился к строевой службе, и будучи не уверен в знании флотскими экипажами караульной службы, начал производить каждый день репетиции разводу.

Лейтенант Лазарев-Станищев, бывший в образцовом полку и знавший службу хорошо, был назначен командиром 1-го взвода. Ему генерал стал объяснять, как надо вести взвод, что ему скомандовать, и закончил словами: «Когда вы доведете взвод до конца манежа, поверните и остановите его против печки, по вашему взводу будут строиться другие взводы». Лазарев, как образцовый офицер, всё это знал, но, желая подшутить над генералом, привел взвод, остановил его и, не повертывая, направился к генералу и обратился к нему с вопросом.

— Ваше превосходительство, вы изволили приказать остановить взвод в конце манежа?

— Да!

— Вы изволили приказать повернуть его?

— Да!

— Вы изволили приказать поставить его против печки?

— Да! ну, что же? — и генерал начинал видимо волноваться.

— Но я, ваше превосходительство, не знаю: остановить ли взвод против самой заслонки печки, или же несколько продвинувшись?

— А! какого это офицера вы назначили в первый взвод, — обратился комендант к командиру экипажа: — он ничего не знает. Сменить его сейчас же!

Лазареву это и было нужно; он ушел куда-то к знакомым, и на репетиции не участвовал. Когда же командир экипажа

объяснил генералу шутку лейтенанта, он призвал его к себе, извинился и сказал: «отчего вы не сказали мне, что вы — «образцовый», тогда бы я вас не муштровал».

Несмотря на то, что при императоре Николае во всех сухопутных войсках строго наблюдалось, чтобы стрижка волос как у офицеров, так и нижних чинов была короткая, моряки носили и височки, и алякоки, а некоторые даже позволяли себе запускать и затылки. В 1-м флотском экипаже наиболее длинными волосами отличался мичман Выгодчиков. Генерал Бурмейстер неоднократно замечал ему о неуместности ношения длинных волос, и мичман постоянно обещал остричься, но не стригся и являлся каждый раз еще с более отросшими волосами. Комендант, выведенный из терпения, однажды перед разводом, заметив ему о длинноте волос, предупредил его, что, если он осмелится явиться в следующий раз с такими же волосами, то он велит цирюльнику остричь его перед фронтом на барабане. Все знали, что Бурмейстер шутить не любит и, если что скажет, то исполнит. Но каково же было всеобщее удивление, когда Выгодчиков явился на следующий развод с такими же длинными волосами. Бывшие в разводе офицеры ждали спектакля, и он состоялся, но совершенно в другом роде.

— Честь имею явиться! — рапортует генералу мичман самым серьезным образом.

— Вижу, — перебивает его генерал — что вы «имеете честь явиться», но в каком виде? Третьего дня я приказал вам остричься, а вы осмеливаетесь явиться еще с более длинными волосами. Да я вас не только остригу здесь сейчас, но еще на три дня на гауптвахту посажу.

— Я остригся, ваше превосходительство, — отвечает кротко мичман.

— Да как вы остриглись! Разве так стригутся? — горячился генерал — смотрите, у вас волосы лежат на воротнике мундира.

— Короче нельзя остричься, ваше превосходительство, — отвечал с невозмутимым хладнокровием мичман.

— Как нельзя? — свирепеет генерал — я вам сейчас докажу, что можно.

— Нельзя, ваше превосходительство, — повторяет более оживленно мичман и, пародируя генерала, говорит, — я вам сейчас докажу, что нельзя.

Генерал в изумлении отступает на шаг и, скрестив на груди руки, принимает грозную позу оскорбленного начальника.

Мичман, между тем, неторопливо вкладывает полусаблю в ножны, расстегивает у кивера чешую и, снимая левой рукой кивер, в то же мгновение правой сдернул с головы парик.

Изумленному взору генерала предстал совершенно голый череп, так как мичман не выстриг, но выбрил себе голову бритвой.

— Короче остричься нельзя, ваше превосходительство, — проговорил почтительно мичман. — Что же касается парика, то я его надел, чтобы не простудить головы. Нынче большой мороз!

Все захохотали. Генерал только развел руками.

— Всего я от вас ждал, — проговорил он смеясь, — но этого никак не ожидал. Идите, да смотрите, в самом деле не простудитесь!

Гвардейцы в Калише

В августе 1835 года, происходили в Калише маневры, в которых участвовала гвардия. Конные части отправились походным порядком, а пехотные отвезли на кораблях. Те и другие вступили в один день. Гвардейские офицеры, принадлежавшие к богатым фамилиям, заняли лучшую в городе гостиницу, и завтраки, обеды, угощенья, попойки и кутежи шли своим чередом каждодневно. О расходах не было речи. Всякий думал только об одном, чтобы не посрамить имени русского. Требования вина и разных гастрономических деликатесов были так велики, что немец, содержатель гостиницы, первоначально завел было счета для своих постояльцев и гостей, а потом сбился и махнув на всё рукой, исполнял капризы своих посетителей, ничего не записывая.

Кончились маневры, назначен был день выступления войск в Россию, немец загоревал: он не знал, с кого сколько нужно было получить ему денег. Некоторые офицеры, узнав о его сокрушениях, нарочно начали над ним подшучивать, говоря ему, что он ничего не получит, так как у него никаких доказательств о том, кто и что забрал, не имеется. Немец заболел. В день выступления войск, офицеры имели в гостинице последний завтрак, окончив который потребовали, чтобы хозяин подал им счет за всё время нахождения их в его гостинице.

Выходит полубольной хозяин и объявляет, что он никаких счетов не вел, а потому и не знает, сколько ему следует получить с них.

— Ну, и прекрасно, Карл Иванович, — смеются офицеры — вы поступили точно так же, как ваши отцы в 1813 году, когда русские шли вместе с ними против французов. Они тогда с русских денег не брали. Очень вам благодарны за это! Но позвольте нам с вами по этому случаю чокнуться. Дайте шампанского.

Немец, повесив голову, вышел и, спустя несколько времени, вернулся с большим подносом, уставленным бокалами с вином. Офицеры окружили его, выпили за его здоровье и, поблагодарив его за особенное его доверие к русским, пожелали с ним рассчитаться. — «Вы, Карл Иванович, не знаете, сколько с нас следует получить, а мы не знаем, сколько нужно вам заплатить. Позвольте же вам отдать, сколько мы можем». — И молодежь стала класть на поднос, который держал трактирщик, золото: кто горсть, кто две, кто три… Поднос стал наполняться, вот он уж полон, трактирщик не может держать его, становится на одно

колено, а молодежь, а за ней и усачи-старики всё бросают и бросают монету. Золото сыплется уже с подноса на пол, а офицеры всё сыплют. Наконец, немец не в силах держать подноса, опускает его на пол, а сам наклоняется над ним и плачет.

— Довольны ли вы, Карл Иванович? — спрашивают его офицеры. Но бедный немец ничего не мог ответить и только шептал: «o mein Gott! o mein Gott! наш великий король и тот не имеет столько золота!»

Нилус

В начале сороковых годов в Москве проживал известный картежный игрок Нилус. Приобретя покупкою старинный дом светлейшего князя Салтыкова на Мясницкой улице, он поставил его на широкую ногу, завел тысячных лошадей, английские экипажи и грумов, давал роскошные завтраки, обеды и вечера, стараясь привлечь на них высшее общество, и вообще изощрялся делать всё то, чем можно было обратить на себя всеобщее внимание.

Однажды явился он к митрополиту Филарету и, после обычных приветствий, попросил у него благословения на отлитие тысячепудового колокола для какого-то монастыря. Владыко посмотрел на него внимательно и спросил его:

— Что вы желаете: сделать ли доброе дело, или только позвонить?

— Конечно, сделать доброе дело, — отвечал развязно Нилус.

— В таком случае, — проговорил кротко, но внушительно святитель, — лучше пожертвовать рублей тысячу бедным, нежели тратить десятки тысяч на колокол: добро нужно делать, как завещал Спаситель, чтобы шуйца не знала, что творит десная.

Нилус вполне согласился с мнением архипастыря, и предоставил в его распоряжение для раздачи бедным тысячу рублей.

Москва, узнав об этом, только покачала головой. Но когда песня Нилуса была спета, граф Закревский потребовал его к себе и стал упрекать его в предосудительной картежной игре, он хладнокровно отвечал:

— Ничего предосудительного в моей игре нет, я в точности исполняю совет митрополита Филарета: моя шуйца не знает, что творит десная.

Бодиско

Летом, 1852 года, проездом на Иматру, капитан Бодиско и чиновник Иванов посетили Выборг. День был праздничный, и они отправились осматривать город. Состоявший при капитане денщик пошел в костел. Во время служения ксендз сделал обычное возглашение: «Dominus vobiscum»! Денщику показалось, что он спрашивает: «дома ли Бодиско»? и во всё горло гаркнул: «никак нет-с, ушли по делу». Конечно, его сейчас же удалили из костела, но капитан Бодиско должен был съездить к ксендзу и коменданту, чтобы разъяснить дело.

Лазаревич

В том же 1852 году, на похороны какого-то генерала, отправился один из солидных чиновников военного министерства Лазаревич. Это был почтенный плешивый старик, дома и на службе он ходил без парика, а в торжественных случаях имел обыкновение надевать большой рыжий парик. Отправляясь на похороны, он облекся в парадную форму и надел парик. Подъезжая к лавре, он снял перед воротами трехуголку и взяв ее подмышку, помолился образу. Входя в церковь Св. Духа, он снял парик и, перекрестясь, вошел, имея шляпу под мышкой, а парик в левой руке.

— Наденьте парик, — заметил ему товарищ Иванов, — а то, смотрите, люди смеются.

Лазаревич переконфузился, растерялся, и впопыхах надел на голову, вместо парика, свою треугольную шляпу, и стал молиться. Это обратило всеобщее внимание и его попросили выйти из церкви. Наутро ему сделан был начальством выговор.

Статс-секретарь А. Д. Комовский

В числе общественных деятелей последних двух царствований, имевших собственный свой облик, не тускневший даже при ярком блеске административных светил первой величины, занимал видное место покойный сенатор и статс-секретарь Александр Дмитриевич Комовский[29]. Окончив курс в лицее, в 1832 году, он поступил на службу в канцелярию Государственного Совета. Потом был зачислен в морское министерство. Во время крымской войны состоял при главнокомандующем князе Меньшикове и, по своей близости к нему, имел большую силу. По возвращении же в Петербург, занял видный пост по морскому ведомству, назначен статс-секретарем и сделан сенатором.

В ранней молодости он вращался в литературных кружках, имел в них связи и знакомства, поэтизировал, писал и печатался в периодических изданиях того времени. Из числа стихотворений его наиболее известна: «Переписки старика со светской девушкой», вышедшая впоследствии особым изданием. Статьи его: «Под громом Крымской войны» печатались лет 10–15 тому назад в «Русском Вестнике», а записки, относившиеся к 1859–1862 годам, под названием «Шумные годы», помещены в журнале «Колосья» за 1884 год.

Это был человек высокого образования, наблюдательный и умный. Вращаясь в лучшем обществе, он много видел, много слышал и много испытал. Вот что рассказывал он о жизни в Петербурге и петербургском обществе в 1835 и 1836 годах.

Летом 1835 года, в Петербурге распространился слух, что известный поэт, граф Дмитрий Иванович Хвостов скончался. А. Д. Комовский почтил эту утрату следующим стихотворением:

Окончив дни свои, певец,
Ты в лучший мир переселился,
И жизни праведной венец
Тебе воздаст благий Творец,
Кому усердно ты молился.

Оплаканный своей семьею,
Земле холодной предан ты,
Но старца с пылкою душою
И поэтически младою
Забуду ли когда черты?

Ты твердый памятник оставил,
Себя потомству закрепил,
Быв гражданином честных правил,
Ты муз и Аполлона славил,
И слово русское любил.

Почий же в мире и покое!..
Теперь блажен ты!.. но кому,
Какого смертного уму
Постичь блаженство не земное!
Поэт, мир праху твоему!

Стихи, конечно, вполне достойны почившего поэта. Но они, к сожалению, должны были остаться в портфеле автора, так как граф Хвостов вовсе не умирал. Это была чья-то злая шутка.

Вскоре после того Комовский встретился с графом Хвостовым на вечере у известного Александра Семеновича Шишкова и между ними произошел следующий разговор.

— Вы, граф, скупы в отношении «Библиотеки для чтения», — обратился Комовский к графу Хвостову, — мы давно уже не имели удовольствия видеть в ней ваше имя.

— Кто ж виноват, — отвечал с добродушной улыбкой почтеннейший Дмитрий Иванович, — я им посылаю исправно, да они не печатают… А разве вы там что нибудь помещаете?

— Ничего, граф, решительно ничего.

— В какие же журналы вы посылаете свои стихи?

— Я их не пишу.

— Как не пишете!.. мне говорили, что вы написали даже стихи на мою кончину…

— Да, граф, написал, но стихи эти я никуда не посылал… — и молодой человек, переконфузясь, не знал, что отвечать, не знал, как выйти из своего затруднительного положения. Произошла долгая пауза.

— Бываете ли вы у Греча? — заговорил граф Хвостов, чтобы прервать молчание.

— Бываю, граф, только редко, потому что четверги его не всегда веселы.

— Приезжайте ко мне!.. у меня среды… и хотя на них собирается не такое множество людей, как у Греча по четвергам, но не менее того всё люди умные и лучшие наши литераторы!.. Приезжайте и сравните наши вечера!.. Кстати, я имею к вам и просьбу… Давно я занимаюсь составлением — не биографий наших словесников, non, c'est un nom qui demande trop d'etende —

а так сказать «словаря любителей русской словесности».

— Но, позвольте, граф, — возразил Комовский, — последний труд требует еще большей обширности… Кто у нас не любитель?..

— Желая, чтобы некоторые добрые люди помогали мне, — отвечал Дмитрий Иванович, — я попрошу и вас принести мне две статейки в будущую среду. Напишите биографию вашу и вашего брата[30]… Вы вкратце изложите о вашей молодости, о воспитании и вашей прикосновенности к литературе — и будет прекрасно, и я вам буду очень благодарен.

Комовский отвечал молчаливым наклонением головы и разговор прекратился. Но быть ему у Хвостова не пришлось, так как он вскорости заболел и действительно умер.

У Николая Ивановича Греча, как известно, были, так называемые, «четверги». По словам Комовского, это было место личных литературно-ученых пререканий и критических турниров, где приезжие певцы и музыканты появлялись рекламироваться. Иногда дети хозяина и близкие знакомые устраивали домашние спектакли и исполняли легкие пьески довольно удачно. Николай Иванович старался казаться любезным и остроумным хозяином и, действительно, шутки и beau mots его были иногда остроумны и забавны, но большинство острот его имели непозволительную вульгарность и тяжеловесность. Ф. В. Булгарин занимал гостей более рассказами о своей дерптской жизни, но той живости, веселости и ума, о которых тогда кричали все, в его разговорах не проявлялось. Речь его была неправильна и неблагозвучна, в особенности ему не давались длинные периоды, на которых он постоянно спотыкался, так что казалось даже странным, как это человек, так прекрасно, плавно и гладко излагающий свои мысли на бумаге, в обществе не умеет говорить. «Инвалидный литератор», как называли в шутку Воейкова, издававшего «Литературные прибавления» к «Русскому Инвалиду», производил своей внешностью и речью самое неприятное впечатление. Этот неуклюжий, нахальный и грубый человек старался казаться авторитетным, говорил отрывисто и резко, так что речь его напоминала собою рубку сечкою капусты. Вообще литературные стычки и споры на «*гречневых четвергах*», как называли четверги Греча его антагонисты, отличались особенной бесцеремонностью и безалаберностью, переходили в личности и кончались часто ссорами, хотя в общей оживленности отказать им были нельзя: их находили неприятными, но посещали.

С Александром Сергеевичем Пушкиным Комовский познакомился летом 1836 года, встретившись случайно в купальне. Они оба любили воду и купались ежедневно. Однажды Пушкин подошел к Комовскому и, пожав ему руку, сказал:

«благодарю вас за письмо, очень рад! очень рад»!

— Какое письмо? Я не посылал к вам письма, — отвечал изумленный Александр Дмитриевич, не зная о каком письме говорил Пушкин.

— Полно, полно скрываться и скромничать, — улыбался Пушкин, — я по глазам вижу, что аноним разгадан. Это вы прислали мне свои стихи: очень милы, очень милы…

— Послушайте, Александр Сергеевич, — прервал его Комовский, — если бы действительно письмо со стихами было от меня, то ваша похвала, ваше одобрение заставили бы мое самолюбие признаться, но я, как ни желаю нравиться вам своими сочинениями, не смею взять на себя того, что не мое.

— Да кто же другой? Ведь вы пишете стихи?

— Пишу… И кто же, скажите, проведя шесть лет в стенах лицея, имея предшественниками Пушкина, Дельвига и др., не соблазнится их примерами?

— А вы из лицея?.. значит, мы с вами вышли из-под одной крыши! Дайте же руку, теперь мы с вами совершенно в других отношениях. Я и не знал, что вы лицейский!.. Пожалуйте ко мне, ко мне на целый вечер, да заберите-ко с собой пук своих стихов, мы с вами кое о чём потолкуем.

Комовский дал слово быть, но, по обстоятельствам, не мог сдержать его, а по прошествии нескольких месяцев поэт скончался.

О графе Михаиле Юрьевиче Виельгорском Комовский отзывался так: по свойствам души своей это был скорее поэт, нежели вельможа, но барское тщеславие и великосветская жизнь подавляли в нём художника. Он отличался светской любезностью и обходительностью и в сущности был добрый человек, с нежною артистической душой и большими музыкальными способностями, но всё это утопало в море своеобразного дилентантизма, и, потому, никакого серьезного следа по себе не оставило. В материальной его обстановке постоянно царил лирический беспорядок, а рассеянность и забывчивость его причиняли ему немало хлопот. Но всё это, однако, не мешало ему принадлежать к масонской ложе и быть даже её секретарем. Александр Дмитриевич, разбирая его библиотеку, нашел почти целый шкаф, наполненный сочинениями масонов, сочинениями о масонах или о масонских сектах, а также много тетрадей, рукописей, патентов, аттестатов, рапортов и других бумаг, касавшихся участия графа в делах масонских лож.

Назначение в 1836 году государственным секретарем барона М. А. Корфа произвело большую сенсацию в высших сферах. Старики не особенно радушно встретили назначение им

молодого руководителя. Но любезность и предупредительность барона сглаживало понемногу первоначальное нерасположение и примирило его с большею частью антагонистов. Будучи сам лицеистом, он составил о лицеистах самое своеобразное понятие. «Все они — говорил он — или очень хороши, или очень худы, а средины у них нет».

Председатель Государственного Совета Н. Н. Новосильцев, в 1836 году, возведен в графское достоинство. Никто не посмеет отказать в уме сему государственному мужу — отозвался о нём Комовский, — но кто не знал его как безнравственного человека. Кто не был свидетелем его явных волокитств в Летнем саду и на других публичных гуляньях. Имея дом близ Летнего сада он, по обыкновению, ежедневно гулял в нём, и большей частью — en grande société des dames. Убеленный сединами маститый старец открыто соперничал с молодыми повесами в деле волокитства. Конечно, подобные ухаживания не могли не волновать общественного мнения, — от первого государственного мужа требовали примеров более соответственного его положению поведения, но вспоминая, что лучшие годы жизни он провел в Царстве Польском, прощали ему старческие увлечения.

Наибольшей симпатией публики пользовались молодые члены Государственного Совета, принц Петр Георгиевич Ольденбургский и граф А. О. Орлов. Первый, по словам Комовского, был в душе истинно русский, а в наклонностях — совершенный немец, преданный Царю и усыновившему его отечеству, и старавшийся доказать свою преданность добросовестным исполнением возлагаемых на него обязанностей. Второй же — с головы до ног русский человек и верный царский слуга, которого немцы любили и ценили по достоинству. Баварский король охарактеризовал его вполне, назвав: «это — настоящий генерал-адъютант Императора всероссийского».

Наибольшую же антипатию возбудил во всех слоях общества известный член государственного совета князь Репнин-Волконский, который за корыстолюбие и злоупотребление доверием монарха во время своего генерал-губернаторствования в Малороссии, отставлен в 1836 году от всех занимаемых им должностей. Казнокрадство и тогда пускало глубокие корни, но от царской кары не спасали ни чины, ни звания, ни положение, ни связи: император Николай I воздавал каждому по делом его.

Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская была крестной матерью Владимира Дмитриевича. «Это — женщина феномен нашего века», сказал про нее Гермоген, архимандрит Московского Андроньевского монастыря. Действительно, в жизни этой женщины и до сих пор еще многое остается невыясненным. Её

отношения к Фотию, архимандриту Юрьевского монастыря, её слепая непостижимая покорность ему, её вклады и приношения на монастырские нужды изумляли всех и, конечно, немало толков, укоризн и подозрений возбуждало в обществе её загадочное поведение. Комовский часто посещал ее, изучал её образ жизни и сферу мировоззрений, и пришёл к убеждению, что эта женщина — жертва утрированной религиозности и благочестия. Он высоко ценил её мужественный характер, не уступавший никакому давлению со стороны приличий света. Он говорил, что толпа не понимала ее, и основывала свои суждения о её жизни на пошлых слухах злоречивой молвы. Её дружба, её покорность, её безусловное служение воле своего духовного вождя зиждились на основах веры и религиозных убеждениях. С самых юных лет она воспитывалась в страхе Божием. Её законоучитель и духовник, отец Иннокентий, посеял в её юном восприимчивом сердце семена чистого христианского учения и заставил ее полюбить уставы церкви и православное богослужение. Он вел её духовное развитие, полагая стимулом жизни подчинение всякой человеческой воли воле высшего авторитета, строгого и безупречного. Молодая графиня прониклась к нему уважением и любовью, и дорожила его поучениями. Умирая, отец Иннокентий завещал ей сохранить навеки чистоту души и кротость сердца. Примером же строгой и безупречной жизни поставил отца Фотия, бывшего тогда еще законоучителем кадетского корпуса, но вскоре затем постригшегося в монахи. Графиня дала обет исполнить данный ей её первым наставником и духовником завет. Не зная Фотия лично, она, по рассказам Иннокентия о его жизни, прилепилась к нему всей силой своей девственной души и пожелала с ним увидеться. Уединившийся монах отверг сделанное ему предложение. Самолюбие графини было затронуто, и она задалась целью сломить упорство монаха. После долгих исканий и, как при содействии самого митрополита, ей удалось, наконец, упасть к ногам того, кого она давно уже считала своим духовным вождем. Шли годы, но графиня осталась верна раз принятому решению: она отдала монаху свою душу и совесть, и гордилась тем, что служит ему. С мнением света было покончено раз навсегда: служение Богу, при посредстве его служителя, и спасение души сделалось целью всей её жизни, и от неё уже уклонений никаких не допускалось.

В гостиной её (она жила на Царицыном лугу, в доме, принадлежащем ныне принцу Ольденбургскому), собирались представители высшего петербургского общества, но желанными гостями были только лица духовные, а из светских —

отличавшиеся преданностью делу благотворения и религии. Андрей Николаевич Муравьев, граф Виктор Никитич Панин, граф Алексей Федорович Орлов наиболее часто появлялись на её обедах, «с монахами».

Граф В. Н. Панин, тогда еще молодой человек, производил странное впечатление своей наружностью. Его сухощавая фигура напоминала — как заметил Комовский — длинную докладную записку, нескладно написанную, неловко сфразированную, но, впрочем, весьма толковую. Он говорил с расстановкой, обдуманно, умно, ни слова лишнего, ни слова пустого, всё гладко, кругло и к месту. Держался он солидно и, несмотря на свои молодые годы, смотрел уже министром.

А. Н. Муравьев старался казаться скромным и глубоко религиозным человеком. Все его разговоры касались исключительно дел церкви, веры и благочестия, хотя под его религиозными суждениями нельзя не заметить было порой большей дозы лицемерия и лукавства.

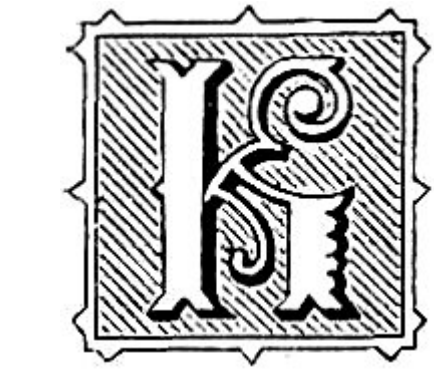
Но самым неподходящим гостем графини был, без сомнения, молодой жандармский офицер, числившийся при штабе адъютантом, Казаков, юноша лет 22–23-х, довольно высокого роста, красивый и статный, с личиком вербного херувима, завитыми в кольчики усами и грудью колесом. Его шпоры были чрезвычайно звонки, сабля то и дело бренчала, талия затянута в рюмочку, на голове, по моде, à la кок. Он пользовался особым расположением графини и выделывал вещи непозволительные: являлся на обеды в сюртуке, когда старики были во фраках и мундирах, вмешивался в разговоры солидных людей и заставлял их выслушивать разные глупости, рассказывая то про балы во дворце, то про заутрени и всенощные с приключениями. Это был enfant terrible, но его невежество сносили и терпели из уважения к графине, которая явно оказывала ему какое-то непонятное, исключительное снисхождение, извиняя его, как она называла, увлечения молодостью лет.

Из лиц духовных большим авторитетом пользовался ректор Киевской духовной академии, архимандрит Иннокентий, знаменитый богослов, автор «Святой седьмицы» и впоследствии архипастырь Таврический и Новороссийский. Беседа его заставляла смолкать даже Казакова. Но он говорил так тихо, что за другим концом стола не всегда возможно было следить за его речью. Росту он был небольшого и немного сутуловат, лицо имел полное, глаза выразительные, горевшие внутренним огнем. Речь его начиналась протяжным звуком, какой обыкновенно слышен в классах, когда спрашивают ученика, была плавна, внушительна и образна, но в голосе его было что-то неприятное, — он говорил в

нос и делал ударение на букве *е.* Знания свои он выказывал охотно и любил, чтобы его в обществе слушали внимательно. Большей частью он говорил один, изредка прерываемый вопросами графа А. Ф. Орлова, который, к стыду всех генерал-адъютантов, не знал, что в Киеве есть Софийский собор.

— Впрочем, почему и знать ему, — сказал, узнав об этом граф М. М. Сперанский, — разводов там не делают.

Последняя эмиграция татар из Крыма в 1874 году



Крым, — эта драгоценная жемчужина в короне царей русских, как называла его императрица Екатерина II, — обезлюдел, вследствие неоднократного выселения из него татар в Турцию. В 1871 году, ему грозила опасность потерять и остальное свое татарское население, если бы правительство принятием нужных мер не предотвратило её.

Бывший новороссийский и бессарабский генерал-губернатор, генерал-адъютант (впоследствии граф) Коцебу, 30-го ноября 1873 г., писал военному министру: «При недавнем объяснении нашем в Ливадии, по случаю возникшего между крымскими татарами стремления к переселению за границу, в виду ожидаемого издания закона о всеобщей воинской повинности, генерал-адъютант граф Шувалов заявил мысль свою, что, в видах успокоения крымских татар и облегчения для них воинской повинности, полезно было бы привлекаемых на службу татар назначать в отдельный отряд, не распределяя новобранцев по различным частям войск. Ваше высокопревосходительство изволили ответить на это, что, при множестве у нас инородческих групп, вводить объясненную меру в закон неудобно, но что она может быть приведена в действие административным порядком. Вполне сознавая и с своей стороны неудобство введения в закон объясненной меры, я считаю обязанностью сообщить лишь вашему высокопревосходительству, что принятие её было бы самым действительным средством к прекращению возбужденного между крымскими татарами брожения. Сколько можно судить по собранным мною в последнее время сведениям, они не страшатся воинской повинности, а опасаются лишь того, чтобы новобранцы их не рассеивались по разным местам, так как иначе они

стеснены были бы в исполнении духовных треб и вообще правил их веры. Посему, и пользуясь тем, что крымские татары с малолетства приобыкают к верховой езде, я полагал бы возможным: из призывных на службу крымских татар образовывать особые эскадроны при полках, входящих в район 7-го корпуса, или назначать их группами в эскадроны тех же полков. Татар мужеского пола в Крыму считается ныне всего около 60 000 душ, и процент новобранцев из этого населения будет столь не велик, что исполнение объясненной меры едва ли представит какие-либо затруднения, Назначение же их именно в конницу совершенно совпадало бы с собственным желанием татар. Засим, если приведенное предположение будет окончательно одобрено, то я полагал бы полезным, вслед за изданием устава о всеобщей воинской повинности, объявить крымским татарам о принятой относительно их мере. Можно надеяться, что это успокоит всё татарское в Крыму население, предупредив ложные толки и слухи, которым отчасти следует приписать возникшее среди его в последнее время движение».

Генерал-адъютант (впоследствии тоже граф) Милютин, прочитав это сообщение, отозвался: «Надобно заблаговременно сообразить, каким образом осуществить это предположение. Для этого необходимо прежде всего иметь в виду точную цифру ожидаемого ежегодного контингента с крымских татар». Таким образом дело отложили в долгий ящик, и оно затянулось до весны.

Между тем, 1-го января 1874 года, последовал указ о введении всеобщей воинской повинности, а вслед затем, с начала весны, в среде крымских татар началось движение. В газетах появились корреспонденции, в которых сообщалось, что у берегов Крыма появились турецкие фелуки, что с них спустили лодки, на которых турки плавают вдоль берегов и, под видом охоты на дельфинов, охотятся по-прежнему на татар, по-прежнему смущают их разными небылицами и, смутив, перевозят их на фелуки, которые и отвозят их в Турцию. В течение двух месяцев с южного берега вышло до 300 человек, из которых некоторые ушли с женами и детьми.

Необходимо припомнить прежние переселения татар в Турцию. En masse татары эмигрировали из Крыма в 1785–1788 годах, в 1812 году и в 1860–1863 годах. Первое переселение обусловливалось волей на то князя Потемкина. Вышло из Крыма, по словам бывшего крымского судьи Сумарокова, до 300 000 татар и ногайцев. Второе состоялось на основании Бухарестского мирного трактата, согласно которому Россия обязалась не препятствовать к переходу в области Порты Оттоманской

буджакских и эдисанских татар. Ушло, по официальным источникам, 3199 человек. Третье имело много причин: одни, в том числе и официальные донесения, объясняли его поведением татар во время крымской кампании, когда они не только сочувствовали союзникам, но и помогали им; другие — религиозным их фанатизмом; третьи — подстрекательством турецких эмиссаров. Сами же бежавшие объясняли его обезземелением их, притеснениями и обременением налогов. Не вдаваясь в изыскание причин последнего переселения, так как это выдвинуло бы нас из границ предпринятой статьи, мы скажем только, что в 1860–1863 годах выселилось из Крыма, по официальным источникам, 192 360 человек. Это было какое-то повальное бегство. Эмигрировали целые семьи, поколения и даже орды. Шли все: мужчины, женщины и дети, работники и старики. Пустели сотни аулов и деревень. Имущество продавалось за бесценок или бросалось задаром. Народ бежал, не зная куда, не зная зачем, не зная, что ждет его в чужом краю, не зная даже, нужно ли кому-нибудь из них это бегство, но, всё-таки, бежал. Не приостанови правительство выдачу паспортов, Крым обезлюдел бы совершенно: из всего татарского населения в Крыму осталось менее 100 000 человек.

Вот почему, когда в 1874 году среди татар началось движение, и канцелярию таврического губернатора стали заваливать прошениями о выдаче заграничных паспортов, правительство взглянуло на эмиграцию татар совершенно иначе, чем в шестидесятых годах.

Военный министр, 16-го марта 1874 года, писал начальнику главного штаба: «Государь Император, получив известие, что крымские татары, встревоженные новым указом о воинской повинности, опять намереваются покинуть Крым, изволил признать нужным, для успокоения этого населения, командировать в Крым генерал-адъютанта князя Воронцова[31], который и отправляется завтра же. Князю Воронцову, между прочим, приказано повторить татарам от Высочайшего имени то, что уже было им объявлено и в прошлом году, т. е., что они будут отбывать воинскую службу не в разных полках и частях армии, но будут составлять особую часть, наподобие того, как был в прежнее время лейб-гвардии крымско-татарский эскадрон. Часть эта в мирное время будет расположена, по возможности, или в самом Крыму, или вообще в Новороссийском крае».

17-го марта, генерал-адъютант Милютин представил Государю Императору Александру Николаевичу записку следующего содержания: «По случаю командировки генерал-адъютанта князя Воронцова в Крым, полагалось бы ныне же

официально объявить, на каких главных основаниях Вашему Императорскому Величеству угодно установить для крымских татар отбывание на будущее время воинской повинности. Если Ваше Величество соизволите одобрить представляемый при сем проект отношения к министру внутренних дел, то копии с него будут вручены сегодня же князю Воронцову, с тем, чтобы одну из них он мог немедленно по прибытии в Крым передать таврическому губернатору».

В проекте отношения к министру внутренних дел было изложено: «В Высочайшем указе 1-го января сего года правительствующему сенату о введении всеобщей воинской повинности, хотя и не сделано исключения для крымских татар собственно по отбыванию этой повинности, но в отношении самого порядка её выполнения постоянно имелось в виду установить для них такие облегчения, которые соответствовали бы их образу жизни и понятиям, о чём Государю Императору, в бытность Его Величества в Ливадии, благоугодно было лично объявить представителям татарского населения Крыма. В настоящее время составляется особое по этому предмету положение на следующих главных основаниях: крымские татары будут поступать на службу в особые части, расположенные в Новороссийском крае, и на первое время предлагается образовать отдельный эскадрон в пределах Крымского полуострова, с тем, чтобы они имели полную возможность исполнять все правила их веры и сохранить образ жизни, соответственный их религиозным требованиям. При этом имеется в виду даже форму обмундирования эскадрона применить к национальной их одежде. С Высочайшего Государя Императора разрешения, имею честь сообщить о сем вашему высокопревосходительству для объявления татарскому населению Крымского полуострова».

Государь соизволил одобрить. На записке собственною его величества рукою начертано: *«Очень хорошо»*.

Татарское население Крыма, по своему происхождению, образу жизни, характеру и языку, разделяется на две категории, резко отличающиеся друг от друга, а именно: на татар-степняков и татар-горцев. Первые — прямые потомки монголов, вторые происходят преимущественно от генуэзцев и греков, принявших мусульманскую религию во времена владычества в Крыму татар. Степняки населяют уезды Перекопский и Евпаторийский и плоскости уездов Симферопольского и Феодосийского; горцы же занимают весь Ялтинский уезд и горные части уездов Симферопольского и Феодосийского. Занятия степняков состоят в хлебопашестве и скотоводстве. Горцы занимаются, большею частью, садоводством, огородничеством, табаководством и

виноделием. Последние, как все вообще ренегаты, отличаются большим фанатизмом, нежели степняки, и нелюбимы последними, которые зовут их «татами» (сокращенно от слова «муртат», что значит: ренегат). Поэтому все выселения татар из Крыма не были общи. Эмиграция 1860–1863 годов коснулась в наиболее значительной степени татар-степняков, а переселение 1874 года задумано и развилось преимущественно среди татар горцев.

17-го марта, князь Семен Михайлович выехал из С.-Петербурга. Объезжая горные уезды Таврической губернии, он посетил все наиболее значительные татарские общества, входил с народом в объяснения, выслушивал их жалобы, обнадежил царским словом — и остановил переселение.

Вот что доносил государю, по возвращении в Петербург, князь Воронцов 14-го апреля 1874 года.

«Вашему императорскому величеству благоугодно было повелеть мне: исследовать на месте о причинах, вызвавших стремление крымских татар к выселению из пределов России, собрать сведения о том, в чьи руки, на каких условиях и за какие цены продают татары принадлежащие им земли и составить предположение о тех способах, какими было бы всего удобнее, не прибегая к принудительным мерам, остановить означенное стремление и удержать необходимое для края население.

Во исполнение такого высочайшего вашего величества повеления, посетив населенные татарами Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский уезды Таврической губернии, имею счастье донести вашему императорскому величеству, что волнение между татарским населением произошло, главнейшим образом, вследствие издания нового закона, подчиняющего татар отбыванию воинской повинности, от которой до сего времени они были свободны.

К этой новой повинности татары отнеслись тем более несочувственно, что у них составилось убеждение в чрезмерной её обременительности; так, например, татары полагали, что все 20-тилетние будут ежегодно поголовно забираемы в солдаты, что, кроме того, всё мужское население до 40-летнего возраста будет обязано нести службу и т.п. Причина такого ложного понимания устава о воинской повинности заключалась в том, что устав, написанный на чуждом для них языке, не был своевременно растолкован им надлежащим образом административными властями, вследствие чего толкование устава попало в руки полуграмотных писарей и разных мелких ходатаев, видевших в этом случае возможность поживы и действительно извлекших из населения более 10 000 рублей за написание просьб о выселении.

(Против этого пункта государь император положил резолюцию: *«желательно обнаружить этих лиц»*). С другой стороны, необъяснение татарам вместе с обнародованием устава о воинской повинности предположенной относительно их меры, состоящей в том, что они будут назначаемы в отдельные части, поселило у татар мысль, что призванные из них на службу будут рассеяны по разным полкам и лишатся возможности исполнять свои религиозные обряды.

Таким образом возникшее между татарами стремление к выселению было, так сказать, естественным последствием совокупности изложенных причин, неблагоприятно подействовавших на умы населения; каких либо внешних подстрекательств к выселению мною не замечено.

Но, независимо этой главной причины, существуют еще издавна некоторые побочные, которые в значительной степени поддерживали у татар раз возникшее намерение оставить пределы России. Всё татарское население Крыма можно разделить: на степных татар, населяющих северные уезды губернии, горных судакских и южнобережских. Степные татары, в значительном большинстве, не имеют собственных земель. Они живут десятинщиками на землях помещичьих и казенных, отдаваемых в аренду, и терпят большие притеснения, в особенности от арендаторов казенных земель. Экономическое положение этих татар крайне дурно, а пятилетний неурожай и падеж скота привел их в самое бедственное положение, так что выселение из пределов России представлялось их воображению делом, могущим только улучшить их положение. Горные татары, проживающие в окрестностях Судака, более обеспечены в средствах к жизни, но, населяя горные ущелья и не имея, по отсутствию путей сообщения, сношений с другими народностями, они представляются народом совершенно невежественным и полудиким, в котором сильно развит религиозный фанатизм. Намерение выселиться они объясняют внушением, ниспосланным им свыше, и никаких других мотивов к переселению не высказывают. Что касается татар южнобережских, то они пользуются большим благосостоянием, гораздо развитее остальных татар, почти все знают русский язык, и между ними были волости, как, например, Байдарская, из которой ни один татарин не подавал прошения о дозволении выселиться.

До моего приезда в Крым прошений о выселении было подано губернатору около двух тысяч и во всех почти прошениях употреблялась стереотипная фраза: «если со стороны закона нет к этому препятствий». Причем указывалось на дозволение, данное в 1861 году татарам, выселяться из пределов России. Если бы с

самого начала прошения были возвращаемы с отказом в выдаче паспортов, как это неоднократно советовал таврический муфтий, то это значительно бы ослабило начавшееся волнение. Невозвращение же прошений поселило у татар убеждение в законности просьб и надежду на удовлетворение оных, что вынуждало и других просить о том же, дабы не отстать от своих единоверцев. Хотя губернатор, пред моим приездом, и предложил циркулярно полицейским управлениям объявить по городам и волостям, что прошения о выселении будут оставлены без последствий, но татары этого не поняли, объясняя, что если прошения не возвращены, то, значит, надежда на получение паспортов не потеряна.

С моим приездом в Крым, по высочайшему вашего императорского величества повелению, о чём татары, к сожалению, узнали лишь частным путем, дальнейшая подача прошений о выселении хотя прекратилась, но, тем не менее, я везде встречал в населении беспокойство, недоумение, страх и решимость настойчиво продолжать домогательство о дозволении выселяться за границу; в некоторых местах полагали даже, что правительство само желает ухода их наподобие 1861 года.

Переданный мною, по высочайшему вашего величества повелению, привет татарскому населению и уверение в неизменной к нему благосклонности вашей, наравне с. остальными подданными вашего величества, а также всемилостивейше дарованные вами облегчения татарам по отбыванию воинской повинности, гарантирующие свободу их религиозных верований, видимо обрадовали и успокоили народ, везде возносивший теплые молитвы о здравии и долгоденствии вашего величества.

Сделанные мною затем разъяснения сущности нового устава о воинской повинности и необременительности её для населения, а также указания на обязанности всех верноподданных по отношению к престолу и отечеству и на все невыгодные для благосостояния татар последствия от переселения, окончательно рассеяли беспокоившие их опасения и примирили татар, исключая населяющих Феодосийский уезд, с необходимостью отбывания воинской повинности.

Смею думать, что такое примирение совершенно искренно и чистосердечно, так как желание подчиниться новой воинской повинности почти везде, а особенно в городах Бахчисарае и Карасубазаре, главных центрах волнения, было изъявлено населением добровольно, после долгих размышлений и колебаний и без малейшего с моей стороны давления. (Против этого пункта государь изволил отметить: *«Дай Бог»!*).

Составленные обществами благодарственные приговоры имею счастье повергнуть к стопам вашего императорского величества.

Поданные татарами прошения о дозволении выселения, по моему распоряжению, возвращены просителям на руки, и каждый, получивший обратно свою просьбу, видимо был доволен таким исходом дела. Везде татарское население принялось за обыкновенные свои занятия и обработку полей, садов и виноградников, так что волнение между татарами можно считать оконченным и население успокоившимся.

Что касается татар, населяющих Феодосийский уезд и некоторые смежные с ним горные деревни, принадлежащие к Алуштинской волости, Ялтинского уезда, как-то: Туак, Искут и др., то хотя они остались при прежнем своем намерении домогаться выселения, но едва ли они думают теперь об этом серьезно. С одной стороны, пример остального татарского населения, особенно городов Бахчисарая и Карасубазара, произвел на них, как я убедился, довольно сильное впечатление, а, с другой стороны, возвращение прошений о выселении показало им бесполезность их домогательств. Подобно прочим татарам, они также принялись за свои обыкновенные занятия, и нет сомнения, что волнение между ними само собой утихнет, если они будут оставлены в покое и дело об их стремлении к выселению будет предано забвению. (Тут государь изволил написать: *«Оно, к сожалению, не согласуется с последне-полученными сведениями»*).

Зная довольно близко татарское население, его характер и привычки, смею выразить пред вашим императорским величеством мою уверенность, что служба в кавалерии, и притом в особом эскадроне, весьма полюбится татарам, и они с удовольствием будут поступать в войска, в особенности, когда на практике убедятся в необременительности этой повинности. В настоящем случае важны те способы, какими будет вводиться между татарами новая повинность; чем гуманнее и применительнее к их нравам и обычаям будут эти способы, тем прочнее и скорее привьется к татарам любовь к военной службе. Сообразно дарованным татарам облегчениям, казалось бы необходимыми., для сформирования отдельного эскадрона из татар, составить для татарского населения Крыма особые от прочего народонаселения призывные списки; командование же будущим эскадроном было бы полезно поручить русскому офицеру, не из татарских мурз, о чём все без исключения волости и города просили меня ходатайствовать пред вашим величеством, как об особой для них милости. (Государь положил резолюцию:

«Это довольно любопытный факт, который иметь в виду при назначении»).

Слухи о том, что татары распродают свои земли, оказались неосновательными, никто из татар продаж не совершал.

Для вящего успокоения татарского населения Крыма и для того, чтобы привязать его более прочными узами к своей родине и предотвратить в будущем возможность волнений, подобных настоящему, считаю долгом повергнуть на всемилостивейшее вашего императорского величества воззрение нижеследующие предложения:

1) Степным татарам отвести из казенных земель наделы, если не даром, то за умеренную плату с рассрочкою платежей на продолжительное время. В случае неимения в достаточном количестве казенных земель для полевых наделов, дать им, по крайней мере, землю для их усадебной оседлости. (Резолюция государя: *«Передать для соображения министру государственных имуществ»*).

2) Горные поселения возле Судака соединить шоссейными дорогами с Алуштою, Феодосиею и Карасубазаром. Означенная местность, изобилующая самыми давними в крае виноградниками, производит большое количество вина, и удобные пути сообщения, подняв её благосостояние, вместе с тем будут содействовать смягчению нравов горных жителей посредством сближения их с другими более цивилизованными народностями. Устройство указанных путей было предположено и частью началось приводиться в исполнение еще бывшим новороссийским и бессарабским генерал-губернатором князем Воронцовым, но, за выбытием его из края, дальнейшие работы оставлены, а произведенные заброшены. (Резолюция государя: *«Сообразить, как сие исполнить»*).

3) Ускорить окончанием спорных дел о лесных дачах, отобранных казною от южнобережских татар в 1838 году, с учреждением министерства государственных имуществ, против какового завладения казною энергически протестовал бывший генерал-губернатор князь Воронцов. (Резолюция государя: *«Тоже»*).

4) Подвергнуть справедливому рассмотрению жалобы татар на завладение казною принадлежащими им землями и домами, а также удовлетворить, если не встретится особых препятствий, ходатайства некоторых обществ о разрешении выкупить у казны отдаваемые в аренду земли для устранения разных притеснений, испытываемых татарами от арендаторов. По этому предмету мне подано несколько просьб, которых я не счел себя вправе не принять при настоящих обстоятельствах. (Резолюция государя:

«Тоже»).

5) Отменить существующие стеснения в выдаче татарам паспортов для путешествия в Мекку и подчинить татарское население в отношении получения разного рода паспортов общим законам, наравне со всеми русскими подданными. (Резолюция государя: *«Тоже»*).

Кроме сего, во многих местностях Крыма татары заявили мне словесные жалобы по поводу возбужденного бывшим губернатором генералом Жуковским вопроса о вакуфах, который сильно тревожит и волнует как население, так и магометанское духовенство. Вакуфные земли и капиталы составились в течении многих лет из пожертвований по завещаниям на содержание мечетей и духовенства. Население просит об оставлении этих имуществ и распоряжения оными по-прежнему в ведении обществ. Удовлетворение такого ходатайства, в существе своем справедливого, оказало бы благотворное влияние на настроение умов татарского населения. (Резолюция государя: *«Тоже»*).

В заключение считаю долгом упомянуть, что во всех посещенных мною уездах Таврической губернии были распространены слухи о том, что на праздник Воскресения Христова татары собираются резать христиан. При всей очевидной нелепости таких слухов, не имевших ни малейшего основания и истекавших из сомнительных источников, местное начальство, к сожалению принимало по этому поводу некоторые меры и заводило переписку, что крайне обидело и огорчило татарское население. Оно горячо просило меня снять с него незаслуженное пятно и оправдать его пред лицом вашего императорского величества. Я обещал это, и вместе с тем осмелился от августейшего вашего имени высказать татарам, что вы — первый государь России, счастливящий Крым своим присутствием, что вам известна преданность татарского народа и что зная честные убеждения и правила татар, ваше величество ни на минуту не поверите подобной возведенной на них клевете». (Против сего пункта государь написал: *«Нет»*).

Независимо частных резолюций, на лицевой стороне доклада император Александр II собственноручно начертал: *«Сообщить военному министру то, что касается военной части».*

Генерал-адъютант Милютин, получив высочайшее повеление. 18-то апреля представил государю следующие главные основания отбывания татарами воинской повинности.

Общая численность крымских татар простирается до 60 000 душ мужеского пола. С этого числа, при наборе пяти с половиною человек с тысячи, будет причитаться 330 рекрут ежегодно, вследствии чего, при шестилетнем сроке службы, число крымских

татар в войсках достигло бы, за исключением % убыли, до 1900 человек. Помещая весь контингент в особые части, пришлось бы сформировать особые три кавалерийские полка. Но, так как в подобном увеличении кавалерии в мирное время надобности не предстоит, тем более, что мера эта потребовала бы нового расхода до 500 000 р. в год, то и полагалось бы: 1) из общего числа новобранцев из крымских татар ежегодно назначать до 150 человек, желающих служить в коннице на собственном коне, в состав особого крымского эскадрона, нарочно для того формируемого. 2) Новобранцев этих содержать в эскадроне до десяти месяцев, т. е. с января по 1-е ноября, отпуская их, после этого, вместе с лошадьми по домам. В последующие затем два года собирать их при эскадроне на три летних месяца для занятий. 3) Прослуживших таким образом три года зачислять на остальные 12 лет в запас, призывая их в течение этого времени, два или три раза для занятий при эскадроне на срок до четырех недель. 4) Остальных затем татарских новобранцев назначать на службу в ближайшие полевые полки на общем основании. 5) Новобранцы, поступающие в крымский эскадрон, обязаны являться на собственном коне и с собственным седлом и прочим конским убором, но обмундирование и оружие им выдается от казны.

Предположения эти высочайше одобрены и к осени 1874 года крымский эскадрон учрежден. Но подобная мера, как она ни была гуманна и соответственна обстоятельствам, к сожалению, не могла удовлетворить вполне татарского населения. Были довольны люди зажиточные, которые могли являться на службу с своим конем и конской сбруей. Но бедные, подлежавшие отправлению в войска на общем основании, конечно, не сочувствовали ей, и глухое брожение среди татар не прекращалось.

Правда, общее выселение татар из Крыма усилиями князя Воронцова было остановлено, но одиночный уход молодых татар, опасавшихся поступления в службу, и побеги усилились. В одном официальном донесении говорилось: «Бегство татар совершается в Гурзуфе, Севастополе, Евпатории и Судаке. Пробираются они по ночам, в одиночку или по нескольку человек, и турецкие баркасы, плавающие около наших берегов для ловли дельфинов, принимают их и перевозят в Турцию».

Осенью 1874 года, находясь в Крыму, я был в Гурзуфе. Это — татарская деревня, на южном берегу Крыма, в 11-ти верстах от Ялты и 30-ти от Алушты, амфитеатр скал, утесов и громадных камней, оторванных вулканическим извержением от хребта Яйлы и разбросанных на большом пространстве до самого моря, с

прилепившимися к ним татарскими домиками и хижинами. Вот выдается в море и склоняется над его волнами высокий конический утес, на котором еще видны следы старинной крепости, обломки стен и лестницы. Вот тихая гурзуфская бухта, закрытая отвесной скалой Аю-Дага, у подошвы которой тихо плещутся волны и баюкают, как в колыбели, приютившиеся в бухте рыбацкие лодочки с садками сребристой кефали. Вот семья скатившихся в море, еще во время вулканического извержения, каменных игол-пирамид, возвышающихся над беспредельной водной равниной до 170 футов. Вот само беззаботное и игривое как дитя, серо-синее как дым, безбрежное Черное море, спокойно катящее свои исполинские валы, под ярким горячим лучом полуденного солнца, и мерным, ровным прибоем расстилающее их по берегу, и вот вдали на этих волнах качаются два-три морских судна… Это — турецкие фелуки, охотящиеся в наших водах на дельфинов, а при случае забирающие и татар.

Я видел, что фелуки эти появлялись, большей частью, на одних и тех же местах. Порой на них как будто появлялись условные знаки: днем реял какой-то странный флаг, ночью выкидывался фонарь с разноцветными огнями. В ответ на эти сигналы на плоских крышах, двух-трех домов, как говорили, служивших притонами для беглецов, раскидывались простыни, на высотах гор зажигались небольшие костры, в прибрежных ущельях скал раздавались выстрелы или протяжный дикий крик. Раза два мне приходилось встретить идущих с гор чабанов, зашитых в свои бараньи куртки, с ножами у пояса и кожаными футлярчиками с молитвами из корана на перевязи через плечо, в буйволовых сандалиях и остроконечных надвинутых на брови бараньих шапках, раза два мне приходилось встретить собравшуюся в дорогу сельскую молодежь, в сопровождении родственников, женщин и детей. С теми и другими шел известный ходжа. Я спрашивал, кто это? Мне говорили, что это люди, уходящие на заработки. Между тем, как впоследствии оказывалось, это были беглецы, молодежь, уходившая в Турцию, чтобы не служить в русских войсках.

По официальным сведениям, в течение 1874 года (с 1-го января по 1-е ноября) бежало татар: из Ялтинского уезда — мужчин 193, женщин и детей 32, из Симферопольского — мужчин 78, из Феодосийского — мужчин 80, Перекопского — мужчин 9 и Евпаторийского — мужчин 61, женщина 1, всего 474 человека. Беглецы были преимущественно призывного возраста (21 года).

С началом призыва, первого призыва в 1874 году, мне пришлось быть в ялтинском и симферопольском воинских присутствиях при вынутии жребия на прием в службу татар. Они

являлись в присутствия без понуждении, зорко, с напряженным вниманием следили за всем, что происходило в присутствиях. Подлежавшие призыву вынимали жребий или сами лично, или через стариков и волостное начальство, безо всякого стеснения и боязни, за исключением горных чабанов, которые со страхом и недоверием подходили к столу присутствия, понурив голову и смотря на всех исподлобья. При раздевании татар для освидетельствования и приема, некоторые из них стеснялись раздеваться вследствие прирожденного чувства стыдливости, но выказанное ими при этом замешательство, кроме одного случая, в сопротивление властям не переходило. Но, за всем тем, общий результат первого приема новобранцев из татар в 1874 году нельзя назвать благоприятным. Принято на службу во всех присутствиях Таврической губернии 203 молодых татарина, не явившихся же к освидетельствованию, по вынутым младшим нумерам, было 130 человек, т. е. более 68 процентов общего числа поступивших на службу. Неявившиеся к призыву заменены другими не были.

В 1875 году, уход татар продолжался, хотя и не в таких, как прежде, значительных размерах. Это вызвало новую командировку. На этот раз в Крым был отправлен директор департамента полиции исполнительной, тайный советник Косаговский, которому было поручено, независимо от мер, необходимых для усиления надзора за крымскими берегами, найти средства успокоить татарское население. Г. Косаговский, по возвращении в Петербург, мог предложить только меры, которые следовало бы принять много и много лет назад, а именно: а) постараться привлечь на свою сторону мусульманское духовенство, т. е. не трогать до времени вопрос о вакуфных имениях; б) порешить как можно скорее вопрос об отобранных у татар землях; в) постановить, что татары, живущие на помещичьих землях, могут быть удаляемы не иначе, как при существовании письменных условий; г) издать сборник на татарском языке, который ознакомил бы татар с их правами и обязанностями и д) устроить пути сообщения в горной части Крыма и по берегу моря от Судака до Алушты.

Предложенные г. Косаговским меры оказались буквальным повторением того, о чём ходатайствовал князь С. М. Воронцов.

Предложение г. Косаговского передано было на обсуждение особо учрежденной для того комиссии, которая полагала, прежде чем будут приняты какие либо другие меры, на первый раз: 1) даровать помилование бежавшим в Турцию татарам, за исключением тех, которые бежали, уклоняясь от воинской повинности, или совершили, помимо побега, другое какое-нибудь

уголовное преступление; 2) отменить сбор на содержание крымско-татарского эскадрона; 3) воспретить иностранным судам производить рыбный и звериный промыслы в черте наших территориальных вод и не дозволять им приставать к крымским берегам для жиротопления и рыболовного промысла и 4) учреждение крейсеров и усиление береговой таможенной стражи.

С приездом государя императора Александра Николаевича в Крым в 1876 году, именно 30-го августа, крымским татарам объявлена монаршая милость о прощении тех бежавших в Турцию татар, которые возвратились на родину ко дню объявления этой милости. Приведение же в исполнение прочих мер, как требующих более продолжительных соображений, отложено.

Затем наступила восточная война. Татары, сознавая долг присяги, прекратили эмиграцию, и теперь число побегов совершенно ничтожно. Но накопленные с годами жалобы и домогательства до сих пор всё еще остаются не разрешенными.

Три встречи

I. Встреча А. С. Пушкина с А. А. Бестужевым на Кавказе



Пушкин, как известно, совершил в 1829 году путешествие в Арзерум, где находились тогда войска кавказского корпуса под предводительством графа Паскевича. Проехав Тифлис и углубившись, следуя направлению военной дороги, в горы, он встретил там совершенно нечаянно Александра Александровича Бестужева (Марлинского) и описал эту встречу в своем дневнике, изданном в свет под заглавием «Путешествие в Арзерум».

Дневник этот появился в первой книжке «Современника» за 1836 год, с большими изменениями, так, например, страничка о встрече Пушкина с Бестужевым и некоторые другие места были выпущены из дневника, по указанию императора Николая Павловича, прочитывавшего, как известно, все сочинения поэта прежде появления их в свет. С изменениями дневник вошел и в «Собрание сочинений А. С. Пушкина».

Затем, с течением времени, некоторые исключенные места восстановлены[32], но страничка о встрече Пушкина с Бестужевым до настоящего времени еще не включена; даже в последнем издании, вышедшем под редакцией П. А. Ефремова, её нет.

Так как всё, что ни вышло из-под пера бессмертного поэта, имеет для публики большое значение, то мы и восстанавливаем эту так долго лежавшую под спудом страничку, подлинность которой несомненна. Копия с неё снята в 1835 году поэтом Александром Дмитриевичем Комовским (впоследствии сенатор и статс-секретарь), когда подлинная рукопись Пушкина, по возвращении её от императора Николая, с его помарками, находилась в канцелярии шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа. От Комовского она и дошла до нас.

Вот как описал Пушкин свою встречу с А. А. Бестужевым.

«Я кочевал с утеса на утес, ободряя то шпорами в бока, то

гладя по шее моего борзого горца. Привыкший ко всем ужасам кавказских картин, конь мой, прядая ушами и осторожно переступая с ноги на ногу, морщил свои огненные ноздри. Я завидел вдали всадника в чудной одежде, он летел и, казалось издали, падал со скалы на скалу. Мы поравнялись — то был Бестужев! Целованья, обниманья, безответные вопросы и ответы не на вопросы были следствием этой неожиданной и приятной для нас обоих встречи. Мы еще — и в сотый раз обнялись, и пошли дельные друг другу вопросы. Бестужев рассказывал мне о своем житье-бытье. Я его слушал, читая половину его жизни в этих слезах, которые нежданно оросили его огненные очи. Я понял, каково его существование, я понял, что жизнь ему не дороже полушки. Он говорил мне, что давно уже ищет возможности окончить со славой и честью свое опятненное плавание по океану жизни. — «Я жажду ветров, — говорил он — я жажду бурь, где бы мог явить себя спасителем существ, счастливых более, чем я… О, если б эта рука когда-нибудь могла покрыться кровью врагов отечества и смыть печать заблудшегося сердца, я с радостью, с благословением тому, кто мне послал бы этот случай, принес на жертву самого себя, а что мне жизнь теперь»!. Он не кончил еще рассказа, я не успел еще стряхнуть слезу ребячества, несносно щекотавшую мне глаз, — как всадник мой исчез. Гляжу, оглядываюсь — нет его! В пять прыжков конь вынес меня на острие скалы; внизу, в ужасной глубине, шумит река — и в волнах плещется Бестужев! Я обмер от страха. Он рухнул стремглав в чернеющую бездну, я испугался, а он, шалун Бестужев, он махает шапкой и кричит — «не бойся, Пушкин, я не умер… я жив еще, к несчастью моему… но вот, мой друг, как дорого ценю её жизнь!».

Кто не узнает в этой сцене пера Пушкина характера Бестужева!..

II. Встреча И. С. Тургенева с Д. И. Писаревым

Знаменитый романист и даровитый представитель так называемой «либеральной критики», несмотря на общность многих интересов, их сближавших, лично не симпатизировали друг другу и виделись только однажды. Самое свидание их, от которого Иван Сергеевич Тургенев ожидал так много хорошего, не только не сблизило их, но, к величайшему огорчению обоих, окончательно разъединило и рассорило на всю жизнь. Вот как это случилось, по рассказу очевидца встречи, Петра Павловича Суворова, пользовавшегося расположением обоих антагонистов.

В зиму 1865 года, Тургенев достиг зенита своей известности и славы: роман «Отцы и дети» вышел в свет и произвел в публике сенсацию. Всё заговорило о нём. Не было ни одного журнала, который не посвятил бы его разбору нескольких печатных листов. Лучшая рецензия, по широте взгляда и глубине анализа, принадлежала перу Д. И. Писарева, напечатавшего ее в журнале «Русское Слово» (после «Дело»). Автор романа не мог не согласиться с теми выводами, к которым пришел, разбирая роман, талантливый критик, и в разговоре с одним из видных наших литераторов отнесся к этим выводам сочувственно, и даже выразил желание познакомиться с Дмитрием Ивановичем лично. Между тем, тогдашний редактор «Русского Слова», Григорий Евлампиевич Благосветлов, давно хотел завербовать Ивана Сергеевича в число своих сотрудников, и теперь, услышав о сделанном им отзыве о рецензии Писарева и желании познакомиться с ним, поручил Петру Павловичу Суворову написать к Тургеневу письмо: не пожелает ли он поместить в «Русском Слове» приготовляемый им в то время к печати новый роман («Дым»), причем, конечно, на похвалы и обещания не скупились. Но знаменитый романист не пошел на заброшенную ему удочку: в самых вежливых и деликатных выражениях, он отвечал, что не успел еще хорошенько ознакомиться с журналом, редактируемым Благосветловым, но со временем, когда хорошенько узнает издание, не прочь поместить в нём одно или несколько своих произведении. На этом остановились первые попытки к сближению, но редакция «Русского Слова» сочла письмо Ивана Сергеевича за нечто для него обязательное.

Прошла зима. В феврале 1866 года, Тургенев приехал в Петербург и остановился у Боткина на Караванной. В городе распространился слух, что он привез с собою новый роман, что он

прочел уже несколько отрывков из него в интимном кружке друзей и что все слышавшие его чтение восторгаются романом. Редакция «Русского Слова» встрепенулась, и П. П. Суворов получил от неё поручение посетить Тургенева, страдавшего тогда подагрой. Наутро он сидел уже в кабинете больного романиста, принятый им весьма предупредительно и радушно. Завязался разговор об идеалах общественного развития, и Иван Сергеевич высказал о Писареве самое лестное мнение.

— В то время, — говорил он, между прочим — когда вся критика обрушилась на меня и бичевала нещадно моих злополучных «Отцов и детей», Дмитрий Иванович один отнесся к ним совершенно беспристрастно. Как критик, он вполне добросовестно обрисовал характеры выведенных в романе лиц и чрезвычайно остроумно и метко определил их значение с точки зрения современного общественного развития. Скажу более: он сумел оттенить и выдвинуть на первый план такие черты в них, которые я, когда писал роман, сознавал как бы отвлечено и смутно, и только, прочитав его рецензию, они стали для меня определенны и ясны… Несмотря на то, что он еще очень молод и не чужд увлечений, я его уважаю и буду очень рад, если мне представится случай познакомиться с ним лично.

— Это не так трудно, — отозвался Суворов — если позволите, я привезу его к вам, и вы с ним наверно сойдетесь: ваш строгий рецензент — чрезвычайно симпатичная личность и, что всего важнее, убежденный честный человек…

— Я в этом не сомневаюсь, — улыбнулся Иван Сергеевич, и, подумав немного, прибавил — итак, решено, вы привезете его ко мне!..

— С большим удовольствием! — отвечал Петр Павлович, вставая со стула, чтобы откланяться — только скажите, когда вы можете принять нас?

— О, это всё равно, когда хотите! — сказал Тургенев, пожимая Суворову руку, — чем скорее, тем лучше!..

Вечером того же дня, не смотря на отнекиванья и явное нежелание ехать, как говорил Дмитрий Иванович, на поклон к отцу «Отцов и детей», Суворов повез его к Тургеневу. Войдя в кабинет, они нашли Ивана Сергеевича сидящим в кресле у письменного стола; больная нога его была вытянута и лежала на другом кресле. На столе горела лампа под темным абажуром, так что в кабинете царил полумрак. В руке у него находилась рукопись, по всей вероятности, привезенного им романа: он читал ее, вокруг сидело несколько человек друзей — наш известный военный историк, генерал Богданович, и два-три литератора.

При входе Писарева и Суворова в кабинет, Иван Сергеевич

прекратил чтение, положил рукопись на стол и очень любезно поздоровался с пришедшими. После обычных приветствий и рукопожатий, гости взяли стулья, сели и начался разговор. Вращавшийся всю жизнь в лучшем обществе, изучивши до тонкости светские приемы, Тургенев, с свойственным ему тактом, в самых изысканных выражениях заявил Дмитрию Ивановичу, что он давно искал случая обменяться с ним мыслями, что признает в нём большой критический талант и глубоко его уважает, уважает за то, что он беспристрастно и с таким художественным пониманием относится ко всем выдающимся явлениям художественного творчества.

Произошла маленькая пауза. Писарев сидел и молчал.

Потом, вдруг, с свойственной ему живостью, повернувшись на стуле вполоборота, он спросил Тургенева:

— Правда ли, Иван Сергеевич, я слышал, мне вот говорил Петр Павлович (и он указал на Суворова), что вы привезли новый роман? — и если правда, то нельзя ли мне ознакомиться с ним, прежде чем он будет напечатан?.. Кстати, где вы думаете его печатать?.. Вы, кажется, обещали одно из ваших произведений дать «Русскому Слову?».

— Да, — замялся как будто в ответе Тургенев, — со временем я исполню мое обещание… но этот роман я еще из-за границы отослал в Москву, Михаилу Никифоровичу Каткову, и теперь вот жду от него ответа.

— Как! — вскричал Писарев и как ужаленный вскочил со стула, — вы!.. вы — наш лучший писатель, доступный современному движению молодого поколения и им за то чтимый!.. вы — человек независимый, имеющий громадное состояние, работающий не для заработка, вы отдаете свой роман Каткову!.. Для чего?.. с какой целью? Что общего между вами и этим!.. (тут следовало несколько жестких эпитетов по адресу Михаила Никифоровича). Или вам деньги нужны?.. За деньги вы готовы идти на сделку с совестью?.. Кто же вы после того?.. Что я должен о вас думать!.. И как вы могли, как вы решились, после этого, приглашать меня к себе?.. Нет, я не только не рад случаю, который свел меня с вами, но кляну ту минуту, когда я первый раз подумал об этом!.. Кто же вы такой? кто? говорите?.. Петр Павлович, — обратился он в сильном раздражении к Суворову — где мы находимся?.. Куда вы меня привезли?..

Иван Сергеевич, сидевший всё это время в кресле прямо, подавшись несколько вперед, сконфуженный горячими упреками Писарева, не мог ответить ему ни слова, лицо его было бледно, по мере того, как ажитация Дмитрия Ивановича увеличивалась и речь его становилась злей и беспощадней, он бледнел всё больше

и больше и вдруг, как бы изнемогая под тяжестью взведенных на него обвинений, откинулся всем телом на спинку кресла; спинка не выдержала, откололась и отлетела прочь, и Иван Сергеевич рухнул с больной ногой, чрез голову, на пол.

Произошла суматоха. Одни бросились подымать Ивана Сергеевича, другие обратились к Писареву с упреками, поставляя ему на вид всю неуместность его горячности, и просили его удалиться. Дмитрий Иванович ничего не ответил, повернулся, взял фуражку и уехал домой.

Спустя несколько времени, на страницах «Русского Вестника» появился новый роман Тургенева «Дым». Писарев написал рецензию, в которой не только раскритиковал новое произведение знаменитого художника-романиста, но и самого его низвел на степень человека, который не знает, что творит. Рецензия эта была отдана Г. Е. Благосветлову, одобрена, набрана и прочитана в корректуре. Она представляла собою статью более пяти печатных листов и, поэтому, в одном номере журнала появиться не могла. Ее разделили на две половины, и первая приготовлялась уже к выпуску. Вдруг, утром рано, за несколько дней до выхода книжки, влетает в редакцию расстроенный и бледный Писарев. Поздоровавшись с редактором и сотрудниками, он обратился к Благосветлому с просьбой возвратить ему рукопись его статьи и все корректуры.

— На что она вам? — спрашивает его изумленный редактор.

— Я не желаю ее печатать.

— Да вы с ума сошли!.. Что с вами?

— Вот посмотрите, что он написал мне! — и Писарев подал Благосветлову письмо Тургенева.

В письме этом Иван Сергеевич писал Дмитрию Ивановичу, что он очень сожалеет о том, что, по болезни, ему не удалось, при личном свидании с ним в феврале, объясниться и тем избежать оставшихся неразъясненными недоразумений. Воздав таланту критика всевозможные курения, он обращался к нему с просьбой не печатать написанной им рецензии на его новый роман, прежде чем он не сообщит этой рецензии ему для прочтения. Причем обещался дать все нужные разъяснения.

— Ну, что я буду делать, когда он так пишет! — восклицал, горячась, Дмитрий Иванович! — я не могу напечатать моей рецензии… я не такой… и он схватил письмо Тургенева, изорвал его в мелкие кусочки и бросил на пол. Потом свернул в трубку рукопись рецензии и корректуры её, распрощался с сотрудниками и ушел.

Но, взяв рецензию из редакции, Писарев не послал ее Тургеневу, как последний просил его. Он послал ему только

письмо, в котором писал, что он всего ждал от него, но только уж никак не просьбы о непечатании критики на его роман. Убеждения свои и взгляды, — писал он, — вы могли изменить, и я, порицая ваши идеалы, мог бы уважать вас как человека. Но теперь, после вашей просьбы, я вас не уважаю и уважать не могу. Вы пережили себя, вы одряхлели, вы не понимаете стремлений молодого поколения. Вы идете, сами не зная куда. Вы похожи на человека, который сам добровольно садится в муравейник, и поэтому… (следовал вывод, весьма нелестный для Ивана Сергеевича).

Этим, казалось бы, и должны были окончиться пререкания Тургенева с пылким критиком, так как разрыв между ними состоялся полный и всякие личные отношения прекратились. И действительно, почти три года пререкании не было. Но вот, в 1869 году, умирает Д. И. Писарев — и Тургенев поспешил откликнуться. При жизни Дмитрия Ивановича он не обмолвился о нём ни одним печатным словом, но едва глаза талантливого его антагониста смежились, Иван Сергеевич пожелал свести счеты с ним и воздал ему, с свойственным ему талантом, сторицею. В воспоминаниях своих о В. Г. Белинском, напечатанных вскоре после смерти Писарева, в одной из книжек «Вестника Европы», он посвятил одну-две странички и своему беспощадному рецензенту, вспомнил о своем свидании с ним в 1866 году и заклеймил его позорной кличкой главы петербургских нигилистов; по его словам, выходило, что Писарев — человек беспокойный, бездушный, и только…

Кто же из них прав?

III. Встреча А. Ф. Писемского с «самоуправцами»

Несколько лет назад, проезжая через Москву, я остановился в ней на несколько дней и поспешил повидаться с некоторыми из наиболее близких знакомых. Сделав несколько визитов, я заехал и к Алексею Феофилактовичу Писемскому. Встреча давно не видавшихся людей обыкновенна: восклицанья, целованья и расспросы. Поздоровавшись как принято, перебросившись замечаниями о переменах, найденных друг в друге, поговоривши о делах, интересовавших нас обоих, справившись о знакомых и друзьях, мы перешли, по обыкновению, к новостям.

— Что нового в Москве? — спрашиваю я Писемского.

— Ничего!.. всё по-старому!.. так же пьем, так же едим и так же спим, — отвечал Алексей Феофилактович.

— Но ведь что-нибудь делает же Москва?

— Делает — как не делать!.. — отвечал с добродушной улыбкой Писемский! — несколько времени тому назад исколотили твоего покорнейшего слугу.

— Как так! за что?

— Ни за что, ни про что, а так здорово живешь.

— Нельзя же человека бить за «здорово живешь».

— В Москве можно!.. в Москве всё можно!..

— Да как же так? — объясни, пожалуйста.

— Очень просто. Возвращаюсь я однажды домой вечерком, в сумерки не совсем поздно, но было уже темно, взошел на двор и иду сторонкой к крыльцу. Вдруг, откуда ни возьмись, как будто выросли из-под земли, наскакивают несколько здоровенных мужиков, в рубахах, фартуках и картузах, вроде биржевых рабочих, бросаются на меня, накидывают полы моей хламиды мне на голову, так что я кричать уже никак не мог, валят меня на землю и накладывают мне под бока, по шее и по зубам. Бьют и приговаривают — «Не пиши, пакостник, про хороших людей мерзостей!.. не клепли!.. не порочь!.. житья от тебя никому не стало, перелаял ты всех здесь, пес цепной!.. Что, чувствуешь ли, как это хорошо!.. Чувствуешь?.. а? не будешь больше? говори!.. да говори же, Николай Иванов! не то еще прибавим, да так, что нескоро и забудешь!»… — «Да я не Николай Иванов, — взмолился я под кулаками — я — Алексей Феофилактов, что вы делаете со мной, душегубы!» — «И впрямь, это не тот!» — отозвался один из них, вглядываясь мне в лицо — «это сам хозяин дома! простите, сударь, мы вас приняли за Пастухова[33]. Нам хозяева велели

потрепать Николая Иваныча, ошибка, сударь, вышла, уж вы простите, Бога ради!». — И мужики бросились бежать. Конечно, я их не преследовал, а поторопился убраться домой да растереться перцовкой, чтобы синяков не было… Таким-то родом вот в чужом пиру похмелье и принимаешь… Что, хороши наши московские порядки?

Я пожалел от души «честнейшего и славнейшего Феофилактыча», как звали Писемского в шутку москвичи, и разразился страшной филиппикой по поводу «самоуправства» и «жестокости наших нравов»… Смотрю — Писемский откинулся в кресле и заливается громким смехом.

— Чему ты рад? — спрашиваю я его в недоумении.

— А ты и поверил моей встрече с «самоуправцами»… Это я тебе рассказал легенду о самоуправцах нашей прессы… Набрасываются они из-за угла и бьют встречного и поперечного, не разбирая даже тот ли это., кого им нужно.

— Ну, это дело другого рода, к этому бока наши привычны, — засмеялся и я в свою очередь.

«Встреча с самоуправцами» — последний рассказ, который я слышал от А. Ф. Писемского.

М. Н. Глинка у графа Виельгорского



Граф Михаил Юрьевич Виельгорский, как известно, был художник-любитель, музыкант и виртуоз. Он играл роль мецената и своим влиянием в обществе и связями при дворе мог сделать многое. Поэтому нет ничего удивительного, если художники, артисты и музыканты теснились вокруг него и искали его покровительства. М. И. Глинка не избег общей участи. Окончив первую свою оперу «Иван Сусанин» (переименованную потом в «Жизнь за царя»), 28-го февраля 1836 года, он явился к Михаилу Юрьевичу и просил его ходатайства о постановке пьесы на сцене Большего театра. Граф обещал ему всяческое содействие и просил его заехать, к нему чрез несколько времени.

Живой, нервный Глинка не особенно остался доволен приемом графа. Но слава его, как композитора, еще не стояла высоко, и поэтому нужно было дорожить расположением вельможи. 10-го марта, в залах графа Виельгорского состоялась первая репетиция оперы. Оркестр был хотя и неполный, но его составляли театральные музыканты. Хоры исполняли придворные певчие, трио и дуэты пропели артисты. Дирижировал оркестром сам Глинка. Музыканты недостаточно разучили партитуру, а потому первое исполнение увертюры вышло неудачно. Пришлось сыграть второй раз. Хоры вышли лучше. Артисты исполнили прекрасно. Глинка суетился, бегал, бил такт и морщился. Его разгоревшееся лицо и блестевшие глаза выдавали внутреннее волнение. Но когда пьеса была окончена и зал огласился дружными рукоплесканиями, он просиял: всеобщие поздравления, одобрения и рукопожатия победили неуверенность и недовольство, композитор развеселился и благодарил от души всех посетителей.

— Это chef d'oeuvres! — говорил граф Михаил Юрьевич. — После «Фенеллы» и «Роберта» страшно сочинять оперы. Кто

посмеет поставить на суд публики свое сочинение, когда она избалована «Немою из Портичи» и «Дьяволом». Опера же Глинки замечательна своею оригинальностью. От начала до конца она носит на себе характер исключительно русско-польский. А это не безделица! Притом финал и последний романс написаны гениально. Я уверен, что это сочинение будет иметь несравненно более успеха в чужих краях, нежели у нас. Мы еще далеки от того, чтобы восхищаться своей оригинальностью. Мы согласимся скорее признать это стариною, нежели мастерским произведением великого таланта.

С этого времени Глинка стал чаще посещать графа Виельгорского. Сидя однажды в его кабинете, в ожидании возвращения домой графа, он вступил в разговор с работавшим у графа каким-то живописцем и высказал следующее: «Я всегда завидую живописцу. Я вижу, как постепенно наслаждается он своим произведением, и как прочно это наслаждение. При одинаковом расположении души, оно всегда одинаково, между тем как наслаждение от музыки даруется не всегда, и для того, чтобы вкусить его, должно иметь много терпения, пока не услышишь всего целого. Часто отдельные части ничего не носят на себе необыкновенного, а всё целое представляет удивительный дар, отличное произведение. В живописи же, напротив, душа каждым штрихом восхищается, и этот штрих вечен, неизменен, а в музыке всё зависит от исполнения».

В другой раз он говорил: «Я не верил бы в будущее блаженство, если б не видел на земле этих трех высших искусств: музыки, живописи и ваяния; они суть представители грядущего счастья. Человек, приходя от них в восторг, позабывает о земле, душа его, блаженствует, и он считает себя в ту минуту совершенно счастливым, потому что состояние его духа не требует ничего высшего, ничего сильнейшего. И эта точка, на которой мы останавливаемся в своих желаниях и стремлениях к лучшему, — есть точка истинного счастья. Будущее блаженство, должно быть, такое же состояние нашей души, только более продолженное. Мы приходим здесь в восторг на одно мгновение — там же оно будет без границ и меры».

В конце года, опера Глинки, благодаря хлопотам и предстательству графа Виельгорского, была поставлена на сцену. Нужно ли говорить, что она произвела фурор. Михаил Юрьевич отозвался о ней следующими словами: «Глинка совершенно изучил и постиг дух нашей гармонии. В его мотивах вы найдете всё русское и ни одной русской песни, которую бы вам когда-нибудь случалось слышать. Вы будете много узнавать, вам покажется, что все пассажи его оперы суть места вам знакомые, а

переберите в памяти вашей все русские песни, вы ни одной не найдете, которая бы пелась на голос арий Глинки. О том, как хороши и удачны хоры польские, — и говорить нечего. Мазурочный каданс этих хоров есть самая счастливая мысль, которую не мастер своего дела мог бы довесть до тривиальности. Что же касается трио и последнего дуэта, это то, — повторю, — chef d'oeuvres Глинки».

Впоследствии, Глинка, в приятельском кружке, называл графа М. Ю. Виельгорского «своим Иоанном Крестителем».

Мои литературные знакомства. Год 1865

I

Первые литературные работы. — Переписка с Н. А. Некрасовым и Д. Д. Минаевым. — Приезд в Петербург. — Поездка в Лесной. — Встреча с А. П. Швабе и Ф. С. Харламовым. — Д. Д. Минаев.



Литературная моя деятельность началась в 1863 году. Служа еще в нижнем звании в одном из пехотных полков, я поместил в «Военном Сборнике» статью об обеспечении нижних чинов в отставке и в солдатских журнальчиках — несколько стихотворений из солдатского быта. Деятельность эта продолжалась и в 1864 году, по производстве меня в офицеры. Дмитрии Дмитриевич Минаев[34] заметил одно из моих стихотворений и в «Русском Слове», где он вел фельетон под псевдонимом «Темного человека», поставил его в пример поэту М. П. Розенгейму, писавшему, как известно, тягучие и вязкие стихи. Я написал ему благодарственное письмо, а Николаю Алексеевичу Некрасову посвятил «Солдатскую думку», посланную ему при следующем послании:

Тебе посвящаю, певец,
Тяжелую думу солдата,
Быть может, хоть ты, наконец,
Признать пожелаешь в нём брата.

Ты отдал всю жизнь мужику;
Солдатское горе похуже:
Нельзя ли помочь бедняку
В его невещественной «нуже»?..

Что нужно ему — ты поймешь,
Что сделаешь — будет всё ладно,

Одно уже то, что прочтешь
О горе его ты — отрадно…

Николай Алексеевич отвечал, что он совсем не знает солдатского быта, но ознакомится и что-нибудь напишет. И, действительно, в непродолжительном времени появилась его «Орина, мать солдатская». Минаев же прислал мне оттиск статьи своей с отзывом о стихах моих и надписью на нём:

«Поэт-солдат, снимай скорее ранец,
В цейхгауз сдай патроны и ружье, —
И в главный штаб поэтов, новобранец,
Спеши к нам в Питер, на житье».

В мае 1865 года, по усмирении польского восстания, я взял отпуск и в июне явился в Петербург. Покончив с служебными поручениями и деловыми визитами, я толкнулся к Н. А. Некрасову, но его в городе не оказалось, он жил лето в деревне. Минаев же переехал на дачу, но куда — никто не знал. В адресном столе он значился отмеченным за город. В редакции «Русского Слова» сказали, что адреса он еще не присылал, а в редакции «Искры» ответили, что он живет в Лесном, но где именно — не знают. Приходилось ждать до первого редакционного дня, когда сотрудники собирались. Но желание поскорее познакомиться с поэтом превозмогло и в первый же праздничный день, облекшись в парадную форму и накинув на плечи пальто, утром я отправился в Лесной, с предвзятой мыслью — обойти весь Лесной, но найти. Пришлось ехать в пресловутом «Щапинском ковчеге», ходившем тогда от Гостиного двора, день стоял жаркий, народу, по случаю праздничного дня, набилось более положенного, так что четверка худых заморенных кляч с трудом дотащила нас в Лесной к полудню. Измученный и весь в поту я обошел пол-Лесного, исходил весь Английский проспект, Старопарголовскую дорогу, Объездную и с десяток других улиц и переулков, заходил в каждую дачу, расспрашивал дворников, городовых, разносчиков, — и никто не мог указать мне, где живет поэт Минаев. Прошло часа два, я уже отчаивался в успехе моих поисков, как вдруг случайно спрося в одной мясной лавке, хозяин её не только что сообщил мне адрес его дачи, но и послал мальчика проводить меня к нему ближайшей дорогой. «Эврика»! воскликнул я и отправился с провожатым. Мы прошли два-три переулка, и на дворе во флигеле одной из угловых дач я обрел жилище поэта. Не без тревоги и волненья я поднялся на крылечко

дачки и осведомился у вышедшей прислуги: «дома ли барин»?

— Дома-то дома, да еще спит, — отвечала бойкая горничная, оглядывая меня с головы до ног.

— А скоро ли встанет?

— Не знаю.

Для человека, привыкшего вставать в четыре часа утра, казалось странным, что люди могут спать до двух и более часов дня. Я оглянулся, посмотрел вокруг и, увидев на дворе у палисадника, скамейку, сказал горничной: «хорошо, я подожду, когда барин встанет!» сошел с крылечка, сбросил пальто, снял кепи и расположился на скамейке.

Не прошло пяти минут, из дачки вышел и подошел ко мне довольно высокий, худощавый и бледный молодой человек, в потертой пиджачной паре, надетой на рубаху (как оказалось потом Воронов, автор «Московских нор и трущоб», живший тогда, как и некоторые другие впоследствии, у Минаева «из милости на кухне»). Не поклонившись, и смотря куда-то в сторону, он спросил меня, как будто мимоходом: «зачем мне нужен Дмитрий Дмитриевич»?

Я посмотрел на него, и, отвернувшись в сторону, отвечал: «это дело мое».

— В таком случае вам придется долго ждать, он не скоро встанет.

— Ну, что делать, подожду.

Юноша повернулся и исчез.

Я вынул недочитанный дорогою номер «Голоса» и принялся читать. Окна, выходившие на двор, были открыты. Там и здесь мелькали мужские и женские головы, с крылец сбегала и пробегала прислуга, на дворе в песке играли дети, слышались их возгласы, крики и смех, с улицы входили и выкрикивали свой товар разносчики. Вот пронес воду дворник, вот пробежала горничная с ворохом накрахмаленных юбок, приехал на лошади мясник, пришел шарманщик и затянул бесконечную «Травиату», за углом завыла собака. Я сидел, закрывшись листом газеты, и посматривал внимательно вокруг. Не прошло пяти минут, на крылечко Минаевской дачки вышла молодая, с сильно напудренным лицом, щеголеватая дама, в белом распашном капоте и белокурыми, распущенными по плечам волосами.

— Кого вы ждете? — обратилась она ко мне с вопросом.

Я подошел к крыльцу, вежливо поклонился, назвал свою фамилию и сказал, что я приезжий из провинции, нахожусь в Петербурге временно и желал бы видеть Дмитрия Дмитриевича.

— На что вам нужно его видеть? — задала она мне второй вопрос.

— По одному литературному делу, — отвечал я уклончиво.

— Но его нельзя видеть, — заговорила она горячо и торопливо, — он еще спит… Он всю ночь работал до утра и встанет нескоро… Я — его жена и говорю это вам, чтобы вы не тратили напрасно времени на ожидание.

— В таком случае, сударыня, мне не остается ничего более как уйти, — сказал я ей, откланиваясь, и попросил ее передать Дмитрию Дмитриевичу мое почтение и визитную карточку, с тем, что не найдет ли он возможным уведомить меня: когда я могу его видеть?

Потерпев неудачу, я вышел за ворота в самом дурном расположении духа и не знал что делать. Солнце пекло невыносимо. Меня мучила жажда и чувствовался аппетит, так как я с утра ничего не ел. К счастью, в Лесном парке, под сенью вековых дерев, оказался ресторан Тиханова (впоследствии сгоревший), и я направился туда.

В парке гуляло много дачников. Вокруг ресторана, на галерее и за столиками, сидело несколько семейств. Вокруг бегали и резвились дети. Я прошел на галерею ресторана и присел к одному из столиков, за которым сидел и пил пиво весьма почтенный господин. Я осведомился: не обеспокою ли его? На что он ответил, что считает за большое удовольствие, так как он приехал из города в Лесной к знакомым и, не застав их дома, не знает что делать. Я рассмеялся и заявил, что нахожусь в таком же положении. Мы представились друг другу: господин этот оказался академиком Швабе, известным придворным портретистом лошадей, собак и других животных. Время близилось к трем часам и я велел подать себе обед. Швабе рассказал, что он живет в городе, но каждый праздник, а иногда и в будни ездит в окрестности и проводит время в тесном кружке знакомых. В особенности, по своей простоте, его привлекает Кушелевка на Невке, где его знакомый Кене содержит «Тиволи», и устраивает там крестьянские скачки, борьбу и бег в мешках, на призы. Граф Кушелев, которому принадлежит Тиволи и вообще вся окрестность, носящая название Кушелевки, поощряет эту мысль и назначил в одно из следующих воскресений большую скачку, на которую записалось уже до 20 ездоков, а на бег в мешках — 12 мальчиков и девочек. На это зрелище, узнав, что я приезжий, Швабе, как любитель подобных увеселений, и пригласил меня. Я поблагодарил его и обещал приехать. В это время к столику подошел и, поздоровавшись с Швабе, подсел с противоположной стороны весьма симпатичный молодой человек, которого мой собеседник назвал художником Харламовым. Слово за слово мы разговорились. Я рассказал ему о моей неудачной

попытке увидеться с Минаевым и пожаловался на ненормальную жизнь поэта, просыпающего самую лучшую часть дня — утро.

— Не может быть, чтобы он спал до третьего часа, — рассмеялся Харламов, — это штуки его жены, которая терпеть не может, когда к нему приходят гости. Да вот он — легок на помине! — И Харламов показал глазами на вышедшего из-за угла поэта.

Я быстро повернул голову по сделанному указанию. На лесенку нашей галереи поднимался с палкою и простынею на руке высокий, стройный и красивый молодой человек, с длинными, вьющимися чуть не по плечам волосами, небольшой русой бородой и улыбающимся, симпатичным, румяным, мясистым лицом. Он был в легкой летней коломянковой паре, широкополой соломенной шляпе и золотых, сильно подтянутых к глазам, очках. Походка его была непринужденна и легка, взгляд пристален и серьезен. Он вглядывался в лица сидевших вокруг ресторана и на галерее дачников и с некоторыми раскланялся. Проходя мимо нашего стола, он остановился, пожал руку Харламову и посмотрел на меня в упор. Я привстал и назвал свою фамилию.

— Так это вы у меня дежурили нынче на дворе, — рассмеялся Минаев, пожимая мне руку, — жена перепугалась и говорит, что приходил какой-то полицейский!.. Насилу я ее разуверил.

Харламов пододвинул ему стул и он присел. Я рассказал ему, как я его разыскивал в Петербурге и потом в Лесном, и как найдя его, хотел, не смотря на весь комизм моего положения, добиться свидания с ним.

— Ничего, — отозвался он, — сейчас видна военная настойчивость, это мне нравится, я сам военный, воспитывался в школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, а вышел статским.

Между тем Харламов распорядился по части благородных напитков — принесли вино. К Швабе подошли какие-то «немецкие человеки» и увели его с собой. Мы остались втроем и стали беседовать самым непринужденным манером. На радости свидания, по обыкновению, выпили, а спустя полчаса «поэт-солдат» и «подпрапорщик-поэт», по-военному чокнулись, поцеловались и выпили «на ты». Вспоминая утреннее мое дежурство, Дмитрий Дмитриевич, всё еще находившийся под влиянием сделанной женою неловкости, сказал мне:

Ну, не сердись, поэт-солдат,
Я извиняюсь за жену,
Но в этом я не виноват,—

Я нахожуся сам в плену….
Меж нами — преклони свой слух!—
Моя жена — мой злой евнух…

— Ну, вот и экспромт! браво! браво! — задвигался шумно Харламов, — по этому случаю я предлагаю выпить.

Выпили. Разговор оживился. К Минаеву подошли еще два-три знакомых и присели к столу. Заговорили о музыке гренадерского полка, игравшей в Лесном, об оркестре Рейнбольдта, о тирольцах Райнера и акробатах Томсоне и Шумане, восхищавших Лесную публику. Кто-то рассказал анекдот о тогдашнем петербургском генерал-губернаторе князе Суворове. Наконец, когда разговорный материал стал иссякать, Харламов обратился к Минаеву с просьбою сказать экспромтик на злобу дня. Минаев посмотрел на него, улыбнулся, пыхнул раза два папиросой и сказал:

Приятный, говорят, вам дан судьбой,
Харламов, пост:
Должны вы будете нам выстроить второй
Харламов мост.

— А вот не угадали, — засмеялся художник, — напротив, я думаю о соборе.

Минаев откинул голову и, ядовито улыбнувшись, отвечал:

Пусть так! Я не вступаю с вами в спор,
Вопрос так прост:
Ведь строить выгодней большой собор,
Чем малый мост.

Харламов насупился. Минаев встал, потрепал его по плечу, и наставительно заметил:

— Ну, как не стыдно сердиться! Ведь это к вам не относится: я сказал вообще о строителях. — И обратясь ко мне, спросил: — ну, а ты, поэт-солдат, что думаешь строить?

— Ничего, — отвечал я, не подумав, — солдаты ничего не строят.

— Неправда! — проговорил, смотря мне в глаза, Минаев, — и солдаты кое-что строят. — И, пыхнув раза два папиросой, добавил:

Солдаты строят фронт и цепи,

Каре, колонны, кучки,
Мундиры, ранцы, шапки, кепи,
Портянки и онучки!

Все захохотали.

— Откуда вы это знаете, Дмитрий Дмитриевич? — вопросил его один из присевших к нашему столу знакомых его, — вы в солдатах не служили.

— Да, я хотя и не солдат, — отвечал Минаев, усаживаясь поглубже в кресло, стоявшее в конце стола, — но я штык-юнкер русского слова (намекая этим на свою принадлежность и к литературе, и к Благосветловскому журналу «Русское Слово»), и потому обязан знать все солдатские обиходы.

Но не успел он кончить этой фразы, как из-за угла ресторана показалась его супруга, пришедшая в сопровождении Воронова.

— А я за тобой пришла, Митя, — проговорила она, подойдя к галерее, — пойдем домой, пора обедать!

— Ступай, я приду, — ответил небрежно, но нерешительно поэт.

— Нет, нет, — перебила его настойчиво супруга, — пойдем!.. а то ты засидишься и кушанье перестоится.

Минаев вскочил как ужаленный скорпионом, развел руками и, кивнув на жену головою, быстро проговорил: «рекомендую: любящая супруга!.. без мужа не может обедать»…

Компания смолкла и смотрела с каким-то напряженным любопытством то на поэта, то на его «любящую супругу», которая стояла молча, опустив голову, и чертила узоры на песке зонтиком. Минаев выпил залпом стакан вина, отступил шаг назад, усиленно пыхнул несколько раз папиросой и живо проговорил:

От любви подобной да избавит Бог!
День и ночь супруга глаз с меня не сводит,
Шага не пускает сделать за порог,
Даже… всюду, всюду, вслед за мною ходит.

Компания сосредоточенно молчала. Но Минаев взглянув на жену, продолжавшую выводить на песке узоры, как будто сконфузился, и быстро повернувшись, стал собираться домой. Надев шляпу и взяв простыню и палку, он сказал; пожимая нам руки, «а впрочем, прощайте, господа, обедать действительно нужно». Затем он быстро сбежал с лесенки и сделал несколько шагов, но вдруг, как бы одумавшись, вернулся на галерею и,

подойдя ко мне, сказал: «По праздникам я всегда дома, прошу без церемоний, обедать иль гулять, жена будет рада». Я не успел поблагодарить его, как из-за балюстрады галереи раздался снова голос жены Минаева: «пойдем же, Митя»! и поэт торопливо сошел с лесенки и в сопровождении своей супруги и её атташе, исчез за углом ресторана.

II

Визит к Минаеву. — Знакомство с Н. С. Курочкиным. — Беседа. — Экзамен. — Обед и чтение. — Вечерний чай и возвращение домой.

Спустя недели две, в какой то праздничный день, я повторил визит в «лесные Палестины».

— Дома? — спрашиваю, поднявшись на знакомое крылечко, у служанки.

— Дома-с, пожалуйте, — был ответ. И меня провели в кабинет Дмитрия Дмитриевича.

Это была большая с двумя выходившими на двор окнами комната, заставленная всевозможной мебелью и заваленная бумагами, книгами и газетами. В простенке между окнами стоял письменный стол и боком к нему придвинутое кресло, на котором восседал сам хозяин, в русской выпущенной поверх брюк и подпоясанной пояском рубашке и туфлях. Он только что возвратился из купальни, пил чай и пробегал новые газеты. У противоположной стены стоял диван, на котором, облокотясь на подушку, полулежал, накрывшись простынею, человек с большею лысиною, мясистым красным лицом, маленькими, живыми, зорко смотревшими глазками и черной с проседью курчавой бородой, а прямо стоял переддиванный с двумя креслами стол, уставленный чайным прибором и закусками. Там и сям по стульям лежало платье, на полу валялись сапоги, туфли, калоши, разные домашние принадлежности, детские игрушки, прочитанные газеты, и бумаги, бумаги без конца.

— А, поэт-солдат! — приветствовал меня, поднявшись с кресла и сделав шаг вперед, поэт сатирик, — ну, вот и отлично, что приехал! паинька-мальчик! а я уже вспоминал о тебе и думал сам заехать за тобою, — говорил он мне, сердечно пожимая руку, — садись пожалуйста! не хочешь ли чаю?

Я поблагодарил его, сказав, что в такой жаркий день и без чаю жарко.

— А я так весь день пью чай, в особенности когда работаю, — сказал Дмитрий Дмитриевич, усаживаясь в кресло.

— Не врите, Минаев, — раздался голос с дивана, — полдня вы спите, а полдня болтаетесь.

— А, я и забыл вас познакомить, — воскликнул весело Минаев и схватив меня за руку, подвел к дивану. — Эта туша — мой кум, Николай Степаныч Курочкин, поэт и чернокнижник!

Я поклонился и мы пожали друг другу руки.

— Позвольте! я еще не кончил представления, — засмеялся Минаев, — это книгожор и людомор, питается одними книгами, кроме, конечно, всяких гастрономических пищевых деликатесов, до которых он также большой охотник, и морит людей, но не лекарствами морит, а ядом своих стихов морит людей со смеху.

Курочкин молчал и только улыбался.

— Впрочем, я должен сказать откровенно, — продолжал Минаев, — человек хороший, я его люблю, даже более, чем люблю, уважаю. Он для меня — авторитет во всех мелочах жизни, не исключая даже самых важных, именно домашних. — И он стал на одно колено, сдернул с Курочкина простыню, (Курочкин лежал совершенно голый, даже без белья) и, перекрестясь, с возгласом: «отче, Николае, моли Бога о нас»! поцеловал его в живот.

— Ну, а это, — встав и накрыв опять Курочкина простынею, он проговорил ему, — Мартьянов, поэт-солдат, ты его уже знаешь!

— Опять скажу: не врите, Минаев, — перебил его с добродушной улыбкой Николай Степанович, — я вовсе не знаю поэта Мартьянова, первый раз в жизни вижу его. Г. Мартьянов, — обратился он ко мне, — позвольте и мне, как Дмитрию, обращаться с вами короче, и называть вас поэт-солдат.

— Сделайте одолжение!

— Ну, так вот что, поэт-солдат, прежде всего мне было бы приятно узнать вашу биографию: не потрудитесь ли вы ознакомить меня с нею?

— С большим удовольствием.

Минаев уселся за газеты, а я, прохаживаясь по кабинету из одного угла в другой, стал рассказывать эпопею своей жизни. Курочкин ворочался, кашлял, но молчал. Минаев сделал два-три восклицания, перебившие рассказ.

— Молчите, Минаев, — провозгласил наставительно Николай Степанович, — не вам рассказывают, мне! Иначе, мы должны будем уйти в ваш гинекей.

— Отче, Николае, моли Бога о нас! — запел Мпнаев.

— Молчите, Минаев, повторяю вам! — окрикнул Курочкин, и Минаев умолк. — Продолжайте, поэт Мартьянов, — обратился он ко мне. И я снова стал ходить по комнате и рассказывать.

Прослушав рассказ до поступления моего в военную службу, Николай Степанович остановил меня.

— Хорошо-с! — сказал он. — Но знакомы ли вы с русскою литературой? Знаете ли вы Пушкина?

Не сказав ни слова в ответ, я остановился перед ним и прочел наизусть несколько строф из «Евгения Онегина».

— Хорошо. А Лермонтова знаете?

Я прочитал «Бородино» и «Новоселье».

— О Некрасове имеете понятие?

Я прочитал «Огородника» и «Зеленый шум», и рассказал, что я ему посвятил «Думку солдатскую».

— Bene! — отозвался Николай Степанович. — А что вы знаете из других поэтов.

Я стал читать «Ватерлоо» Бенедиктова.

— Хорошо-с, — перервал меня Курочкин, — дальше, но читайте только по одной строфе из каждого поэта.

Я прочитал строфу «Клермонтского собора» Майкова, «Отойди от меня, сатана» Мея, «Двух гренадер» в переводе В. С. Курочкина и «Как яблочко румян» его же.

— Optime! — произнес одобрительно Николай Степанович. — Да это у нас, в Петербурге, немногие поэты знают.

— Я хотя знаю, — вмешался Минаев, — но прочитать — не прочитаю.

— Но вы, Минаев, известно, — сострил добродушно «Отче Николае», пишете много, а читаете мало и, обратясь ко мне, — сказал: ну-с, поэт Мартьянов, теперь прочитайте нам что-нибудь из своих произведений.

— Извините, Николай Степанович, — отвечал я, разводя руками, — своего-то я ничего не читаю.

— Это отчего?

— Право, не знаю отчего, только когда начинаю читать — путаюсь.

— Это не резон, надо постараться выучить две-три вещи наизусть, вас здесь будут просить читать, тем более, что вы читаете стихи не дурно.

— Ну, что пристал, кум, — вмешался опять Минаев, — я тоже не могу своего читать, забываю.

— Вы, Минаев, себя с ним не ровняйте, вы — известный лентяй, — отчеканил, добродушно улыбаясь, Курочкин. — А он может выучить.

В эту минуту отворила дверь кабинета супруга Дмитрия Дмитриевича и хотела войти.

— Не ходи! — замахал руками Минаев, — кум лежит в костюме прародителя и, как змий, искушает поэта-солдата.

— Идите обедать! — рассмеялась она и притворила дверь.

Минаев подал Курочкину белье, туфли, и, при пении стихир, облек его в старый клетчатый пальмерстон. Перешли в столовую, Минаев официально представил меня своей супруге Екатерине Александровне, и засим стали садиться за стол.

Хозяйка поместилась в верхнем конце стола, по правую её руку сел кум, по левую адъютант Воронов. Меня Минаев посадил рядом с собою на другом конце стола.

Перед нами стоял графинчик водки, перед кумом несколько бутылок разного вина, посредине стола красовались вестфальская ветчина, сливочное масло, сыр рокфор, анчоусы, икра и селедка. Хозяйка налила марсалы куму, мы же с Минаевым выпили водки.

— Ворон, хочешь водки? — окрикнул адъютанта Минаев.

— Ах, Митя, разве ты не знаешь, что ему нельзя, — взглянула строго Екатерина Александровна на мужа, — я лучше ему налью вина.

— Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит, — продекламировал Дмитрий Дмитриевич, прожевывая кусок селедки, и потянулся к графину, чтобы налить себе и мне еще по рюмке водки.

— Митя, — укоризненно обратилась Екатерина Александровна к мужу, — ведь тебе тоже нельзя пить больше, ты знаешь, доктор не позволяет, не правда ли, кум, ведь ему вредно? Пусть наш новый друг, пьет, сколько угодно, а ты, Дмитрий, пожалей себя.

— Я и то себя жалею, матушка, — отвечал Минаев, взявшись за рюмку, — а потому и хочу выпить. И мы выпили с ним по третьей.

Курочкин, между тем, выпил вина, смаковал и хвалил закуски.

— Где это вы берете такую чудную икру, — обратился он к хозяйке.

— Это я беру, — перебил его Минаев, — а не она, спроси меня, если действительно хочешь знать где продается икра? Да перешли-ка сюда ветчину и рокфор, мы с поэтом-солдатом еще по одной выпьем.

— Тебе нельзя, Митя, много пить, я уже сказала, — загорячилась Екатерина Александровна и, обратясь к Курочкину, авторитетно добавила, — повторите это ему, кум, как доктор.

— Поэт Минаев, — сделав серьезную мину, сказал кум, — вы не должны пить, если вам запрещает ваша супруга: иначе я буду вынужден обрушить на вас все громы и проклятия Ватикана.

— Кто говорит, что я не слушаю, что говорит мне жена, — возвысил голос поэт-сатирик, — я всегда слушаю… Она говорит, что мне вредно много пить, и я много пить не стану, а эту рюмку выпью. Поэт-солдат, ты тоже выпьешь. — И мы чокнулись и выпили.

— Уберите водку со стола, — обратилась Екатерина Александровна к прислуге. Водки и закуски были сняты и на столе появилась ботвинья с лососиной и суп с кореньями и пирожками. Хозяйка сделала опрос: кому чего? Курочкин взял суп, прочие все вотировали за ботвинью, и так как аппетиты у

всех были хорошие, то тарелки опустели моментально. Сделали повторение и вторые тарелки опустели.

— Не съесть ли нам, супу, поэт-солдат, — предложил Дмитрий Дмитриевич. — Ты только попробуй. Какие пирожки печет у меня жена — язык проглотишь. Но это, я должен сказать тебе по секрету, она приготовляет, когда у нас обедает вот этот гурман, чревоугодник, и он указал глазами на Курочкина, а в прочие дни она готовит очень ординарный обед.

— Не правда, не правда, — обиделась Екатерина Александровна, — у нас всегда обед хороший, только он ничего не понимает в кушаньях, ужасно тупой гастроном!

Нам подали суп с пирожками и я попробовал: пирожки действительно во рту таяли, и суп прентаньер был очень вкусен. Я высказал это — и Екатерина Александровна была очень довольна.

Подали чиненую репу и спаржу с сабайоном. Вкусы опять разделились, но мы с Минаевым опять ели то и другое. Минаев поперхнулся и потребовал вина. Подали мадеру и портвейн. Выпили. Подали молодую дичь с салатом. Мнения разделились на счет салата. Курочкин прочитал чуть не целую лекцию о салате: когда, к чему и какой салат надо подавать. Салат-кресс, латук и цикорий, подали повод к некоторым возразившим со стороны хозяйки.

Дмитрий Дмитриевич разрешил их спор следующим экспромтом:

Эх, кум, оставь свои, пожалуйста, салаты,
Попроще пищу поищи,
Ведь мы с тобой литературные солдаты,
И нужны нам лишь борщ да щи!

— Не согласен! — возразил Николай Степанович. — И простую пищу можно совершенствовать правильным сочетанием входящих в нее злаков и добавлением в нее некоторых пряностей, дающих злакам лучший вкус.

— Ну, замолола мельница! — махнул рукой Минаев, — теперь уже не остановишь.

— Вот, поэт Минаев, — засуетился Курочкин, — вы всегда так решаете все стоящие вне вашей компетенции вопросы… Шарахнул обухом по лбу — и конец!.. А-слыхали ли вы анекдот, как повар приготовил перчатки под соусом?.. Хотите я вам сделаю нечто подобное.

— Никто не отвергает, кум, — улыбнулся Дмитрий Дмитриевич, — твоих кулинарных талантов. Но ты мне скажи

откровенно: был ли ты доволен хоть одним обедом в течение всей твоей жизни? А ты едал всякие тонкие претонкие деликатесы.

— Ну, как сказать, — затруднился ответить Николай Степанович.

— А мы, вот, — продолжал поражать его поэт-сатирик, — едим что придется — и довольны! Вот в чём разница, кум, по существу в жизни гурманов и негурманов. А что теперь, я думаю, можно и закурить? — обратился он к жене.

— Пожалуйста, господа, не стесняйтесь, — разрешила любезно хозяйка, — курите. Я сама курю.

Воронов сходил в кабинет, принес сигары и папиросы и зажег спичку, заструился легкий синий дымок: Курочкин закурил сигару, прочие папиросы. Один я сидел без курева.

— А ты, что же, поэт-солдат, не куришь? — обратился ко мне Минаев, — или тютюну нет?..

— Я совсем не курю, — отвечал я.

— Совсем не куришь? что же ты старовер что ли?

— Да, в этом отношении старовер, — отвечал я, — по принципу, хотя многие староверы теперь уже курят.

Подали вафли с вареньем и землянику «Викторию» со сливками. Минаев с Курочкиным взяли вафли и налили себе по стакану красного вина. Прочие ели ягоды. Хозяйка предложила наливки, но наливки никто не пожелал.

— Поэт Мартьянов, — обратился ко мне Курочкин, — обед кончается, прочтите нам что-нибудь из ваших стихотворении.

— Николай Степанович, я уже сказал вам, — отвечал я конфузливо, — что ничего не помню.

— Не может быть, — настаивал он, — вы так много знаете наизусть других поэтов.

— Я привез с собою тетрадь стихотворении, чтобы напечатать книжку, — сделал я последнюю попытку уклониться от чтения, — если позволите, я привезу ее, и прочитаю вам не одно, — десять стихотворений.

— Всё это прекрасно, мы об этом потолкуем после, а теперь прочитайте нам что-нибудь, — приставал Курочкин неотступно.

— Что-нибудь!.. Хорошо, извольте… Я вам прочту, но только самую малюсенькую вещичку.

— Ну, что ж, прочитайте малюсенькую, и за то спасибо скажем, — улыбнулся самодовольно Курочкин.

— Встань, поэт-солдат, — тронул меня за руку Минаев, — и прочти с толком, с чувством, с расстановкой…

Я встал и прочел: *«Жизнь солдатская».*

Плац-парады, да ученья

Служба, караул,
Маршировка, захожденья,
Строгий артикул,
Лагерь, каша, стирка, сказка,
Вытяжка и фронт,
Чтенье азбук, песня, пляска,
Обуви ремонт,
От носка и до походки —
Выправка с утра,
Розги, палки, чарка водки —
И ура, ура!..

— Браво, браво! поэт-солдат, — захлопал Дмитрий Дмитриевич, — тут есть мысль и форма, подражательная, но форма.

— «И ура, ура!», — смеялся добродушно Курочкин, — это — очень недурно… Благодарю вас, поэт Мартьянов, теперь вот мы поговорим пожалуй и о вашей тетради.

— Господа, кто хочет чаю, кто кофе, — перебила хозяйка, — и где вы будете пить: здесь, или в кабинете?

— Конечно, в кабинете, — сказал, вставая, хозяин, — да лучше бы подогреть и подать туда самоварчик. Ворон, распорядись-ко!

— Митя, с этих пор самовар — к чему это! Ведь ты ляжешь отдохнуть, — протестовала хозяйка.

— Ничего, я его прикрою тогда, а теперь пока посидим. Ты, кум, ночуешь у нас.

— Нет, я поеду домой, благо жара спала.

И мы, поблагодарив хозяйку, перекочевали в кабинет. Екатерина Александровна отправилась в детскую.

Воронов схлопотал самовар. За чаем Курочкин завел речь о моей тетради и, с общего согласия, порешили устроить чтение. Я заявил, что скоро будет день моего рождения и что мне было бы приятно провести его вместе с ними, где-нибудь пообедать, а после обеда заняться тетрадью.

— Хорошо, — сказал Минаев, — в первый редакционный день «Искры», я познакомлю тебя с Василием Степановичем Курочкиным, и тогда мы решим, где и когда устроить обед и чтение.

«Кум» нашел это вполне основательным и прибавил, что может быть поэт Мартьянов захочет пригласить к обеду и еще кого-нибудь из сотрудников «Искры».

— Почему и не так? — отозвался я весело, — но это будет

зависеть, конечно, от ваших указаний, господа.

— Ну, там увидим, — решил Минаев, и мы, т. е. я и Курочкин, напившись чаю, стали собираться по домам. Сказали хозяйке, пришла Екатерина Александровна, мы попрощались с ней и отправились. Минаев, как ни просила его жена остаться дома, увязался проводить кума, который жил тогда где-то в деревне за Лесным, и уехал с ним.

Садясь в нанятую у чухонца каравашку, Дмитрий Дмитриевич предлагал и мне поехать вместе с ними, говоря:

Поэт-солдат, поедем вместе к куму,
И там, вдали от городского шуму,
Под сельским кровом ночку проведем:
У кума есть вино, коньяк и ром!

Но я поблагодарил его от души и вернулся в город.

III

Хлопоты в цензуре, — Д. Д. Минаев и редакция «Искры». — В. С. Курочкин. — М. М. Стопановский. — В. И. Буренин. — Студенты. — Н. С. Курочкин. — П. И. Пашино. — П. И. Вейнберг. — Важный господин. — Аудиенция кончена.

Прошло недели две с лишком, Минаев не показывался, я уже думал, что он забыл обо мне, о моей тетради и предположенном чтении, и, конечно, не мог не волноваться. Между тем один мой приятель Порфирий Ассигкритович Климов, служивший при статс-секретаре Буткове, предложил мне издать книжку моих стихотворении на свой счет. Я согласился на это охотно, так как мне нельзя было долго засиживаться в Петербурге, отдал тетрадь переписать и представил ее в цензуру. Это было как раз в последние месяцы существования прежней предварительной Николаевской цензуры, сосредоточенной в министерстве народного просвещения и имевшей, кроме того, чуть не от каждого ведомства особенных специальных цензоров. Моя тетрадь поступила на просмотр цензора общей цензуры г. Веселаго и военного цензора генерала Штюрмера, и, конечно, подверглась двойственному бичеванию: то, что пропускал один цензор, вымарывал другой, и наоборот. Таким образом вся рукопись оказалась испещренной красными крестами и только две-три пьесы остались нетронутыми. Понятно, меня это очень огорчило и, вот, когда я сидел над тетрадью и думал: печатать ли это бедное искалеченное детище, или же отложить до будущего года, когда войдет в силу только что утвержденный тогда новый цензурный устав, в передней раздался звонок — и предо мной предстал Дмитрий Дмитриевич.

— Ну, вот и я, — воскликнул он, здороваясь весело и добродушно, — ты, чай, поэт-солдат, меня бранил уже, что я до сих пор не был у тебя.

— Бранить — не бранил, Дмитрий Дмитриевич, но подивиться — подивился.

— Будь философом, друг, на всё смотри в оба и ничему не удивляйся. Иначе всю жизнь придется истратить на одно удивление.

Увидав мою тетрадь, испещренную красными крестами он спросил меня:

— А это что такое?

Я рассказал ему историю похождения тетради и пожаловался на цензуру. Он усмехнулся и с пафосом продекламировал:

На нашу мудрую цензуру
Напрасно сердишься ты сдуру:
Между товарищей, как воин,
Ты отличаешься стихами,
И награждения достоин
За то цензурными крестами.

Бросив на стул бывшее у него на руке пальто, шляпу и палку, Минаев сел за столь, и стал перелистывать тетрадь. Откинув несколько страниц, он покачал головою и продекламировал нараспев.

В неправославьи цензоров
Не упрекнешь, конечно, ты.
Над массой бусурманских строф
У них поставлены кресты.

— Вы, как поэт, должны были бы посочувствовать искалеченной музе, «кастрированному вдохновению», — ответил я ему, обидевшись его веселостью, — а вы смеетесь.

Он бросил тетрадь, прошелся раза два взад и вперед по комнате, подошел ко мне, ударил по плечу и с некоторою приостановкою, отчеканил:

Под этим небом, вечно серым,
С мигренью вечной в голове,
Меж холуем и камергером
Жить могут только на Неве:
Банкир, чиновник, пролетарий.
Дурак, паяц, но не поэт,—
В тени казарм и канцелярий
Для вдохновенья места нет…

— А злиться на всё и вся — глупо, брат, — добавил он наставительно, — лучше смейся; смех по крайней мере парализует чувство досады.

— Всё это хорошо в теории, — заметил я, продолжая досадовать, — не всякий может смеяться.

— Да и к чему ты задумал теперь печатать, — резонировал поэт-сатирик, — подожди до нового года, выйдут новые правила, и тогда напечатаешь без предварительной цензуры.

— Хорошо вам, свободным людям, говорить: подожди! —

возразил я ему обидчиво, — я первый раз освободился на четыре месяца, пройдут они и я должен вернуться в полк, и когда опять буду в отпуску — Бог знает. Поэтому поневоле приходится печатать, а если отложить, то придется может быть отложить не до будущего года, а на несколько лет.

— Ну, делай, как знаешь, — ответил на это Минаев, закуривая папиросу, — а теперь, если хочешь познакомиться с Васильем Курочкиным, поедем, нынче мы его можем видеть в редакции.

— Поедем! — воскликнул я, обрадовавшись, и стал одеваться. Сборы были, конечно, недолги, так что минут через десять мы появились в редакции «Искры», помещавшейся тогда на Невском, близ Владимирской улицы. В первой, довольно большой, но не богато меблированной комнате, выходившей окнами на Невской, нашли Василия Степановича Курочкина, горячо беседовавшего с каким-то высоким, жёлтым и худым, господином, с небольшой бородкой и бурсацкими манерами, одетым в недорогую пиджачную пару и выростковые нечищенные сапоги.

— Поэт-солдат! редактор «Искры»! — представил нас друг другу Дмитрий Дмитриевич и отошел в сторону с господином, беседовавшим до этого с Курочкиным.

— Я слышал о вас, мне говорил брат Николай, — приветствовал меня Василий Степанович, радушно пожимая руку, — я очень рад познакомиться с вами. Долго ли вы пробудете здесь!

— Я еду в Москву, но до отъезда, думаю недели две-три, а может быть и месяц пробыть здесь.

— Ну, и отлично. Сегодня у меня редакционный день и я занят приемом. Если можете подождать, подождите конца приема, тогда мы с вами кой о чём потолкуем.

— Я приехал с Дмитрием Дмитриевичем, и если он не уйдет, то и я останусь. В противном случае мы зайдем после.

— Так переговорите с ним, а я пока займусь делами, — и Василий Степанович вышел в другую комнату с жёлтым господином.

Я передал Минаеву разговор с Курочкиным и спросил его: скоро он окончит дела свои?

— А вот увидим, — отвечал он уклончиво, — мне нужно побеседовать с редактором. Подожди, всё равно тебе спешить некуда!

— Кто этот господин, который беседовал с тобой?

— Это… это… это… братец… — как будто затрудняясь ответить, растягивал слова Минаев:

Стомановский Михаил,
Пишет на «затычку»
И «беззубый крокодил»
Здесь имеет кличку.

Вошел молодой человек среднего роста, с небольшой рыжеватой бородкой и зоркими проницательными глазами, в очках, одетый весьма щеголевато.

— А! любезный Монументов, — встретил его в приемной Василий Степанович, и пожимая руку с особенной любезностью, спросил его, — много вы соорудили монументов?

— Не угодно ли взглянуть, — отвечал молодой человек, улыбаясь, и подал несколько листков бумаги.

Мы с Минаевым стояли у окна, я спросил его: кто это? Дмитрий Дмитриевич усиленно пыхнула, раза три папиросой, поправил очки и, наклонясь ко мне, ответил тихо:

Песельник наш и плясун Монументов,
Виктор Петрович, известный,
В шапке фригийской канкан для студентов
Пляшет у нас он прелестно.

Курочкин, между тем, пробежав листки, посмотрел внимательно на автора и сказал: — хорошо, но мало! А еще ничего нет у вас, Монументов?

— Нет, — отвечал как-то застенчиво молодой человек.

— Лениться стали?.. или жара мешает?.. вы бы брали пример с Минаева: он, кажется, и во время землетрясения может стихи скандировать.

Минаев подошел к ним и подтянул меня. Поздоровавшись с молодым человеком, он назвал его Буреиным, и познакомил его со мною. Виктор Петрович внимательно посмотрел на меня, и подарив несколькими общепринятыми вежливыми фразами, оговорился недосугом и стал прощаться.

Два-три слова, два-три рукопожатия — и он улетучился.

Курочкин опять занялся беседой со Стопановским. Из приемной между тем появилось несколько студентов и стриженных девиц с книжками и в очках, они окружили редактора и стали тормошить его различными вопросами, на которые Василий Степанович отвечал любезно, но с лаконизмом дельфийского оракула.

Явился Николай Степанович Курочкин. Подойдя ко мне он сказал вполголоса: — О вашем приглашении я поговорю с братом,

и как мы решим — я вам сообщу, — и затем вмешался в кучку молодежи.

Минаев подвел ко мне Стопановского и познакомил его со мною. При этом многозначительно подмигнув, он сказали, что Михаил Михайлович состоит хроникером и публицистом «Искры», а так как в этих отделах высказывается professions de foi редакции, то по поводу различных случаев провинциальной жизни у него с редактором всегда возникают дебаты. Вот и теперь они не могут прийти к соглашению по одному, весьма серьезному вопросу. Слово за слово, мы разговорились, Стопановский оказался человеком очень серьезным и дельным, так что разговор наш кончился обменом визитных карточек и обещанием повидаться.

Между тем в редакцию пришло еще несколько посетителей, две девицы и три медика. Дебаты еще более оживились. Ораторствовал Николай Степанович на тему о воспитании детей. Минаев подходил, округлял речь «кума» крылатыми афоризмами и тенденциозными бомо, (тогда писатели заискивали в молодежи) и отходил прочь.

Явился какой-то солидный господин и проследовал с редактором во внутренние апартаменты. Молодежь отлынула. В приемной показался черный, с большой лысиной, серьезный и строгий на вид господин средних лет, в сюртуке и перчатках. Увидя Николая Степановича, он подошел к нему и заговорил с ним громко.

— Кто это? — спросил я Минаева. Он взял меня под руку, отвел к окну и сказал:

Это — «Гейне из Тамбова»,
Вейнберг Пьер,
Без ключа всех муз из Шклова —
Камергер.

Я рассмеялся. Дмитрий Дмитриевич потянул меня и представил Вейнбергу. Он покровительственно удостоил меня пожатия руки, осведомился о моей службе, положении и знакомствах в Петербурге. Затем занялся своим делом, повидался с редактором и скоро ушел.

Минут пять спустя, вошли два господина, прилично одетые и обратились к Николаю Степановичу с жалобой, что в «Искре» их пропечатали. Начались объяснения. Вышел редактор и порешил спор двумя словами: обижаетесь — жалуйтесь!

Затем вбежал или, лучше сказать, спешно подковылял к нам не то в чуйке, не то в длинном пальто, хромой, чернобородый в

золотых очках и с толстой палкою в руке, весьма подвижный и юркий мужчина средних лет. Он подлетел прямо к Минаеву и начал трясти его за руку. Дмитрий Дмитриевич посмотрел на него свысока и, обратясь ко мне, сказал:

Рекомендую! Петр Иваныч Пашино!
Пришел из Персии недавно с посошком,
И травит в «Голосе» — там так заведено,—
В статейках здравый смысл персидским порошком.

— Да полно вам, Дмитрий Дмитриевич, — залебезил вокруг него мужчина, — вы всё прохаживаетесь на мой счет.

Минаев, между тем, улыбнулся своей змеиной улыбкой и громко на всю редакцию провозгласил.

Вся пресса стала так безвкусна,
Что в ней есть место Пашино:
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

Все засмеялись. Стопановский подошел к нам, взял Пашино под руку и отвел в сторону. Ко мне подошел Николай Степанович и заявил, что, брат, т. е. Василий Степанович, извиняется, что не может нынче побеседовать со мною, так как у него сидит один важный чиновник, с которым он должен сейчас уехать по делу. Впрочем, я уже сказал вам, добавил от себя «кум», что уведомлю вас, как мы решим, значит поезжайте домой и ждите. Я поблагодарил его и стал со всеми прощаться. Минаеву нужно было взять у Курочкина денег, и он остался в редакции, сказав, что зайдет ко мне, если останется в городе. Я вышел из редакции с Стопановским, который спускаясь с лестницы, отозвался о Минаеве так: «да, он очень умен и талантлив, но как папенькин сынок, незнающий цены полученному им богатству, тратит оное непроизводительно и глупо».

Вечером, однако ж, Минаев у меня не был. Получив от Курочкина деньги, он, по обыкновению, завихрился, завеялся в городе и только на третий день возвратился домой, где своей благоверной супругой и был наказан домашним арестом.

IV

Обед у Донона. — Н. С. Курочкин. — М. М. Стопановский. — Н. И. Кроль. — А. П. Швабе. — П. А. Климов. — П. И. Пашино. — Д. Д. Минаев. — В. С. Курочкин. — Беседа, речи и экспромты.

Задуманный мною обед, после которого должно было произойти чтение моей тетради стихов, под разными предлогами затягивалось, и только благодаря настойчивости и усилиям Николая Степановича Курочкина, он состоялся в конце июля у Донона. Стол был накрыт, по числу сделанных приглашений, на 12 персон, но обедали только 9-ть, трое из числа приглашенных к обеду литераторов не пожаловали. Денег я не жалел, тем более, что хозяином-распорядителем по моей просьбе согласился быть «отче Николай», который, желая поддержать со славою звание гастронома, прекрасно составил меню обеда и провел его замечательно искусно.

«Чертог сиял», как говорилось в одной старинной новелле, когда стали собираться гости. Первым приехал распорядитель Николай Степанович Курочкин и занялся сооружением главнейшей и наиболее важнейшей части обеда, а именно «фундаментальной», по его выражению, закуски, а затем обратил внимание на декоративную обстановку обеденного стола. За ним скромно подошел Михаил Михайлович Стопановский, пока мы здоровались и обменивались обычными приветствиями, подкатил Дмитрий Дмитриевич Минаев и шумно прошёл в столовую. Он осмотрел приготовленную закуску и поцеловал кума «в лысину». «Твое истинное призвание, кум, — засмеялся он, — быть метрдотелем, а не литератором. Я бы тебе советовал открыть ресторан, где ты можешь добиться большей славы, чем в нашей сакраментальной прессе».

— Оставьте, пожалуйста, поэт Минаев, меня в покое, — оборвал его Курочкин, — вы видите, что я занят важными соображениями, как бы накормить вас получше… — и переведя свой взгляд на меня, спросил: — скажите мне, поэт Мартьянов, что такое слава? вот кум сейчас упомянул о славе.

— Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца, — отвечал я авторитетно.

— Да-с, это сказал А. С. Пушкин, — пытал меня Николай Степанович, — но по вашему что такое слава?

— Вы что же хотите, Николай Степанович, — отозвался я с некоторой тревогой, — чтобы я говорил такие же экспромты, как Дмитрий Дмитриевич, но я должен вас предупредить, что вы

жестоко ошибаетесь, я вообще экспромтов не говорю.

— Ну, подумайте и скажите что-нибудь, — не отставал от меня «кум». Минаев, дымивший в это время усиленно папиросой, подошёл ко мне и, хлопнув меня по плечу, сказал: — Ну, что ж ты задумался, не робей!

Скажи, поэт-солдат,
Что слава… ну, хоть — клад.
Полковницкий оклад,
Иль интендантский склад,
И что поэт-солдат
Подобной славе — рад.

— Ну, вот, — обратился я к Курочкину, — Дмитрий Дмитриевич был так любезен, что ответил вам за меня.

— Нет, не отвиливайте, поэт Мартьянов, — настаивал Курочкин, — не угодно ли вам сказать нам свое что-нибудь.

— Да говори же, — пристал и Минаев, — ну, говори за мной…

— Отстаньте, Дмитрий Дмитриевич, — я обратился к нему с досадой и, подумав немного, сказал:

Что слава? Это — фимиам.
Благоуханный, нежный, сладкий,
Людьми преподносимый вам,
Поэт-сатирик гадкий.

— Браво! — захлопал в ладони Курочкин, — что, кум, нарезался?…

— Молодец, поэт-солдат, — раскатился громким смехом Минаев, — благодарю, не ожидал!.. да ты не без зубов, волк армейский!

В это время вошли один за другим поэт Николай Иванович Кроль и академик Александр Петрович Швабе. Не успели мы обменяться рукопожатиями, подковылял Петр Иванович Пашино. За ним приехал мой старый друг-приятель, статский советник Порфирий Ассигкритович Климов, будущий издатель моих стихов, и, наконец, часам к 6-ти пожаловал и Василий Степанович Курочкин.

— Вы знаете, Петр Косьмич, — обратился он ко мне с вопросом, — брат мой, надеюсь, говорил вам, на каких условиях я согласился быть на вашем обеде. Во избежание недоразумений, повторяю: вы и все участвующие должны провести со мною вечер

у Излера. Кутеж, конечно, на мой счет. Редактор «Искры» желает достойным образом отплатить вам за ваше радушное гостеприимство.

— Я подчиняюсь вашему условию, — отвечал я с поклоном, — но присутствующие пусть ответят за себя.

Два-три голоса поддержали мой ответ, и почтенное собрание перешло в столовую.

— Что же, не все еще собрались? — спросил Василий Степанович своего брата, и, посмотрев на часы, прибавил: — а ведь пора, есть хочется, не приступить ли нам, господа, к делу; ведь, семеро одного не ждут, а больше одного мы пожалуй и не дождемся.

— Умные речи приятно и слушать, — провозгласил авторитетно Минаев, — мы можем пока выпить водки, а там увидим.

— Я ничего не имею против, — улыбнулся распорядитель обеда, и гости столпились у стола с закусками.

Несколько минут продолжалось абсолютное молчание. Только наливали, чокались рюмками, выпивали, набирали себе на тарелочки кому что нравилось из закусок и прожевывали.

Поэт Кроль, наливая себе вторую рюмку рябиновки, воскликнул:

Люблю в июльскую жару
Я при рябиновке икру,
А осенью при водке
С меня довольно и селедки.

Минаев не выдержал, и быстро повернувшись к говорившему, перебил его:

Мы больше знаем, Кроль, ты пьешь зимою водку,
Закусываешь кислым огурцом,
Весной же без закуски водку плещешь в глотку,
И обтираешь губы языком…

Кроль опрокинул залпом налитую рюмку рябиновки, погладил бороду, как-то ухарски порснул и, вонзившись в противника воспаленными очами, бойко проговорил:

Я мог бы вам ответить хорошо, Минаев,
Но это неприятно было б для хозяев,
А потому, понять извольте, умолкаю.

Попробовать Алляш предпочитаю.

Дмитрий Дмитриевич вспыхнул, уголки рта его задергались и он готов был обрушиться всей силой своего сарказма на потянувшегося к Алляшу поэта, но «отче Николае» бодрствовал: он подошел к нему и сказал: «оставь, кум, ты можешь состязаться с Кролем после, а теперь сделай-ка вот честь белой померанцевой, прелесть, а не водка».

И Минаев потянулся к белой померанцевой. По предложению П. А. Климова, все выпили померанцевой вкруговую и, не закусывая, повторили кому чем нравилось. Потянулись к свежей икре, истребили, потребовали еще тарелку икры, и по этому поводу выпили еще по рюмке джину.

— Недурно! — возгласил Н. И. Кроль. — Такой закуски не пробовал и сам Некрасов в своем английском клубе. Там иногда тоже подают со всячинкой.

— Не забудьте, поэт Кроль, — отозвался на это «отче Николае», — что мы находимся у Донона, и что сегодняшним обедом распоряжается наш покорнейший слуга.

— А ты бы, брат, велел давать обедать, — перебил его Василий Степанович. — Уж если начали есть — так будем есть!

— Садитесь, господа, за стол, сейчас подают кушанье! — захлопотал вокруг стола Николай Степанович. — Поэт Мартьянов, вы, как амфитрион, займите место во главе стола, а я сяду у противоположного конца; господа гости, садитесь там, где кому угодно.

Рядом со мною, с правой стороны, сел В. С. Курочкин, с левой П. А. Климов. Минаев поместился рядом с кумом с правой стороны, а с левой сел А. П. Швабе, прочие гости заняли три стула против середины стола справа, так что рядом с В. С. Курочкиным поместился Н. И. Кроль, и рядом с Минаевым — М. М. Стопановский, между сими же последними, против самой, центральной вазы с цветами, сел П. И. Пашино. Стоявшие же против их на левой стороне стола три куверта остались незанятыми. Рукопись моя была положена Н. С. Курочкиным возле центральной вазы с цветами. Компания садилась шумно. Стопановский предложил снять сюртуки — и предложение было принято, все повскакали с мест и поспешили сбросить с себя верхнее платье. Я да П. И. Пашино остались только в сюртуках. Последний взял мою рукопись и стал переворачивать листы. Увидев цензурные помарки, он вскочил со стула и бросился к В. С. Курочкину.

— Смотрите, Василий Степанович, — завопил он, — что

матушка цензура-то наделала с рукописью Петра Косьмича. Что ни страница, то крест или несколько помарок!

— Явление обыкновенное, мы это видим каждый день, — отозвался редактор «Искры» равнодушно.

— Да ведь это — кровь писателя, пролитая во имя какого-то непонятного жертвоприношения Молоху, — заметил я усаживавшемуся на место редактору. — Неужли это не возбуждает в вас сочувствия.

— Сочувствие тут не поможет, — отвечал внушительно Василий Степанович, — цензора делают свое дело, за которое они получают жалованье, награды и пенсии… Они исполняют то, что им велят, иначе цензор может потерять место, т. е. лишиться куска хлеба.

Минаев придвинулся ближе к столу и, возведя очи к потолку, громко возгласил:

О, всемогущий Иегова!
Ты дал нам множество даров,
Уничтожая их сурово:
Дал людям мысль при даре слова
И вместе с этим — цензоров…

Н. И. Кроль не пожелал отстать от своего антагониста и, погладя бороду и порснув по привычке, продекламировал:

Еще неопытна, юна
У нас литература,
А потому ей и нужна,
Как нянюшка, цензура.

— Вам, Николай Иванович, вероятно мало приходится иметь дело с этой нянюшкой, — отозвался Стопановский, — что вы берете ее под свое покровительство, а нам вот она где сидит. — И он показал рукой на свой затылок.

Минаев, между тем, приняв от лакея тарелку супу, взял ножик и, стукнув им два три раза по тарелке, как бы приглашая послушать, между двумя ложками супу, сказал:

Там над статьями совершают
Вдвойне цинический обряд:
Их, как евреев, обрезают
И, как католиков, крестят.

— Поэт Минаев, — окрикнул на него «отче Николае», — вы здесь не председатель, и потому не имеете права стучать ножом о тарелку, перебивать разговор и говорить что вам вздумается. Это право принадлежит мне, как спикеру, т. е. распорядителю нынешнего обеда. Примите это к сведению. Да и к чему все эти рассуждения о цензуре, неужели у нас нет другого, более живого предмета для разговора.

— У кого что болит, тот о том и говорит, — ни к кому не обращая речи, вздохнул Стопановский.

— А ты бы, кум, лучше сделал, — засмеялся Минаев, — если бы, вместо нотации, угостил нас вином.

Николай Степанович мигнул старшему официанту, и лакеи наполнили наши рюмки вином.

Замечание Николая Степановича не прошло бесследно: начались кружковые разговоры. Первый начал А. И. Швабе. Он стал рассказывать своему соседу П. И. Пашино, как отлично устраивает его приятель в Тиволи крестьянские скачки и бег в мешках. В последнее воскресенье, он заявил с увлечением, первый приз, часы, на скачках взял крестьянский мальчик Степанов, 15 лет, а на бегах в мешках — девочка 13 лет.

— Я был на скачках, — вмешался в разговор Н. И. Кроль, — с графом Кушелевым, у которого я с Благосветловым и некоторыми сотрудниками «Русского Слова» тогда обедал. Граф подарил мальчику Степанову сто рублей.

Н. С. Курочкин с Стопановским вели беседу о вышедших пятых книжках «Современника» и «Русского Слова», где были помещены в первой: «Трудное время» Слепцова и 5 песен «Дон-Жуана» в переводе Минаева, а во второй: «Разрушение эстетики» Писарева. Изредка вставлял свое слово Мпнаев, но разговор литературный как-то не клеился, так что переход от него к ацтекам Массимо и Бартоло, этим маленьким принцам оливкового цвета с черными вьющимися волосами и белыми, как слоновая кость, зубами, открытым в храме города Иксимая в Средней Америке и привезенных к нам, как редкость, мне показался вполне естественным.

П. И. Пашино пытался было втянуть В. С. Курочкина и П. А. Климова в политику, он заговаривал и о приезде Абдель-Кадера в Париж, и о победах Хуареса в Мексике, и о министерстве О'Доннеля в Испании, и о воззвании Пальмерстона к избирателям, но получая от них в ответ только краткие реплики, вроде: «да, да» или «о, конечно, конечно», должен был сойти на почву Шато-де-Флера, где отличались в канкане, польке Шотиш, Фриске и Лисбонке, наши доморощенные Шикары — Иванов и Фокин с Лаурой Блаватской и королевой Помаре. Разговор на эту

тему скоро обобщился, и Н. И. Кроль явился неистощимым рассказчиком самых пикантных новостей. Все смеялись, и только В. С. Курочкин вел вполголоса серьезный разговор с П. А. Климовым об ожидавшемся тогда новом положении о свободной печати.

— Верите ли, — горячо ратовал редактор «Искры», — мы ждем не дождемся тех дней, когда мы будем иметь возможность говорить что мы думаем открыто и прямо.

— Не увлекайтесь, Василий Степанович, — охлаждал его П. А. Климов, — ведь цензура не упраздняется, она будет существовать как и теперь. Абсолютной свободы слова вы не получите, и если не будете чувствовать предварительной цензуры, то узнаете карательную, а это стоит одно другого.

— Ну, что вы говорите, — вставил свое замечание Н. И. Кроль, — вся Европа отринула предварительную цензуру и печать вполне свободна при карательной.

— Не смею спорить, — возразил П. А. Климов, — вам, может быть, лучше известно. Но я думаю, что всё будет зависеть от людей, которым дела печати будут вверены.

— Ну, вот видишь, Николай Иванович, — заметил, в свою очередь, Василии Степанович, — ты вечно носишься с Европою и, вместо того, чтобы выслушать, что будет говорить компетентное лицо, — ведь Порфирий Ассигкритович причислен к канцелярии Совета и знает больше, чем мы с тобой, — ты вступаешь в бесполезные дебаты. — И он начал расспрашивать П. А. Климова об условиях, при которых должна быть введена реформа по делам печати.

Поданное тюрбо обратило всеобщее внимание. Одни восторгались самой рыбой, другие соусом. Один М. М. Стопановский находил, что наша русская рыба несравненно вкуснее и удивлялся нашему глупому пристрастию ко всему иностранному. Ему оппонировал «отче Николае», сославшись в данном случае на авторитет Н. А. Некрасова, которого вкус и гастрономические познания высоко ценил Михаил Михайлович. Тюрбо сменил страсбургский паштет, приготовленный по какому-то особому способу. Паштет сменили артишоки.

— Э, эх, артишоки! как-то съежившись, — заметил недовольно Н. И. Кроль, — ужасно я их не люблю, в них есть нечего. Когда я обедаю у графа Кушелева (сестра его была за графом), мне вместо артишоков всегда подают спаржу с сабайоном.

— Хотите спаржи, Николай Иванович, — спросил его обязательно Николай Степанович Курочкин, — есть спаржа. Послушайте, — обратился он к лакею, — подайте спаржи.

Минаев не выдержал и едко заметил:

Кроль не любит артишоки:
Нечего вишь кушать!
Это только экивоки,
Нужно ли их слушать?

Кроль насупился, погладил раза два-три свою бороду и нервно отозвался:

Не острите, Дмитрий Дмитричь!
Я, ведь, тож могу вас выстричь.

— Ну, где тебе меня выстричь! — вспылил поэт-сатирик и, повернувшись в сторону Кроля, хотел было пустить в дело всю свою тяжелую артиллерию, но был остановлен спикером обеда.

— Поэт Минаев, — сказал он ему серьезным тоном, — блюдо элоквенции назначено у нас последним, не нарушайте, пожалуйста, программы.

— Ну, так дайте хоть вина, — горячился Дмитрий Дмитриевич, — мне нужно залить жажду возмездия.

Лакеи подали вино и наполнили стаканы.

Между тем П. И. Пашино рассказывал А. П. Швабе и М. М. Стопановскому, что артишоки первый раз появились на столе персидского шаха и оттуда уже проникли в Европу.

— Виноват, что я перебью вас, любезный ориенталист, — вмешался в его рассказ Н. С. Курочкин. — Это было как раз наоборот, — и он прочитал почти целую лекцию об открытии артишоков и их появлении в Европе.

— После артишоков не худо бы покурить! — возбудил вопрос М. М. Стопановский.

— Это зависит от собрания, — улыбнулся спикер и, постучав ножом о тарелку, громко спросил: — господа, ставлю на ваше разрешение вопрос: можно ли начать курить? удар ножом по тарелке означает согласие.

Послышался удар, два, три и до пяти.

— Вопрос разрешен за, — проговорил Николай Степанович и приказал подать сигары и папиросы.

На столе появились пулярдки с трюфелями и жареные перепела. Различные салаты сопровождали их.

— Да вы нас и в самом деле угощаете по-царски, Петр Косьмич, — обратился ко мне покрасневший от избытка чувств Василий Степанович, — смотрите, это вам даром не пройдет!

Я отвечал, что устройством такого прекрасного обеда мы обязаны никому иному, как только Николаю Степановичу, которому, конечно, и принадлежит вся честь и хвала за это. Что же касается меня, то я тут не причем.

— Мы понимаем это всё, Петр Косьмич, — обратился еще любезнее ко мне Василий Степанович, — но я вам повторяю, что это вам даром не пройдет!

Мне ничего не оставалось более, как только поклониться.

— В нём есть одно несомненное достоинство, — сказал, указав на меня глазами, П. А. Климов, — он скромен, как девушка, но это хорошо в провинции, там оно ценится, а у нас, в Петербурге ничего не стоит, и многими считается одним из крупных недостатков. Мужчина должен быть орел!

— Орлы ширются в поднебесья, — возразил я Климову, — а мы влачим жизнь на земле, значит всякому свой удел. Да и не всем же быть орлами. Иначе жизнь была бы слишком однообразной и сами же орлы признали бы ее небесной карой…

— Недурно сказано, молодец Петр Косьмич, — одобрительно кивнул головой Василий Степанович, — шампанского! Брат, вели давать шампанское, — кивнул он головой Николаю Степановичу.

И шампанское запенилось.

— Господа, — сказал я, встав со стула и поднимая свой бокал, — позвольте провозгласить первый тост за здравие вождя русского народа, освободителя двадцати миллионов крестьян, уничтожившего телесное наказание, дающего новый суд и свободу нашей матери печати! Ура!

— Ура! ура! ура! — повторили троекратно все эти вольномыслящие люди и крайние либералы писатели, и повторили сочувственно и громогласно. Вино выпили одушевленно и шумно.

Второй тост провозгласил П. А. Климов: за царицу, наследника и всю августейшую царскую семью.

Тоже громогласное ура! покрыло и этот тост. Бокалы моментально опустели.

— Дураки! Подали наперстки! — воззрился, покачнувшись, Н. И. Кроль. — Мы у графа Кушелева пьем здравицы стаканами.

— Подать стаканы! — скомандовал Николай Степанович и искрометная влага закипела в стаканах. В. С. Курочкин встал, чокнулся со мною и сказал:

Позвольте, Петр Косьмич,
Сказать, хотя не спич,
Но пару слов в честь вашу:
За вашу доброту,

Радушье, простоту,
Я выпью эту чашу!

И, возгласив, «Виват!» он опрокинул стакан на лоб.

Подошел Минаев. Поцеловав меня, он поднес стакан к губам и говоря:

Будь здоров, поэт-солдат,
Будь здоров, поэт Мартьянов,
За тебя я выпить рад
Не один, а сто стаканов!

Каждый стих запивал несколькими глотками шампанского. Поднялся и подступил ко мне, пошатываясь, Н. И. Кроль. Долго он смотрел на меня, гладя бороду и порская по обыкновению. Он поднимал стакан и опускал, видимо собираясь с мыслями. И только, когда Минаев крикнул ему с другого конца стола: «смелее, Кроль!» он чокнулся со мною и, опершись на спинку стула, проговорил:

Поэты — братья все, и вы
Гордиться можете не кровью, (и он указал стаканом на лежавшую на столе мою рукопись)
Но здесь, на берегах Невы,
Приобретенною любовью.
Вы видите, мы ценим вас,
И, забывая про цензуру
Мы рады с вами пить не квас,
Вино, и не стакан — рог-туру!

Ура! — и он разом опорожнил свой стакан.

Поднялся и Николай Степанович. Он неторопливо подошел ко мне, откашлялся и, добродушно улыбаясь, сказал:

Поэт Мартьянов, свой стакан
Я подниму без тоста,
Сошлися мы из разных стран,
И выпить можем просто.
Вы — человек хороший, с тем
Я должен согласиться,
Но не хочу кричать, зачем?
Без крику можно обойтиться.

А выпить вместе я готов,
И, чокнуся пожалуй,
И тихо молвлю: будь здоров,
Поэт с тетрадью алой!

И он взял у меня мой стакан, прихлебнул и подал мне свой прихлебнуть и поцеловал меня. Подошли П. И. Пашино, М. М. Стопановский и А. П. Швабе, все они разом чокнулись со мною, сказали, что присоединяются к выраженному Николаем Степановичем пожеланию мне здоровья и процветания «с тетрадью алой»!

Последним подошел П. А. Климов. Он цветистым деловым языком произнес целый спич. Сказал, что я один из первых служак Николаевского режима, откликнувшийся в песнях на новое веяние времени и обративший внимание на печальную долю солдата. Сказал, что это составляет большую заслугу по отношению миллионов людей, служивших и служащих под ружьем. Сказал, что именно это обстоятельство, а отнюдь не самые песни, которые, к слову сказать, довольно слабы, послужило к такому блистательному приему, которым почтили меня представители лучших органов печати. Сказал, что если я посвящу свой талант на дальнейшее служение провозглашенной идее, то благосклонность сказанных представителей будет увеличиваться с каждым годом. Каждый должен делать свое дело, пояснил он, и если он будет делать его добросовестно, то может быть уверен, что общество рано или поздно оценит его труд и воздаст за него сторицею. «Во всяком случае, я уверен, закончил он, что сегодняшний праздник посвящения поэта-солдата в литераторы составит эпоху в его жизни, и что он до глубокой старости будет вспоминать с живейшей признательностью имена предсидящих здесь лиц, встретивших его у дверей храма святой правды и добра и обещающих ему при дальнейшем прохождении пути служения музам, свое высокое покровительство».

Когда он, окончив речь, чокнулся со мной и поцеловался, собрание громкими аплодисментами выразило свое сочувствие сказанному и все, как один человек, поднялись с своих мест, пожимали ему руку и благодарили за выраженные им мысли.

— Запомните, поэт Мартьянов, — обратился во мне Николай Степанович, — слова, сказанные Порфирием Ассигкритовичем. Это гласила сама истина, и если вам будет когда-нибудь трудно, невыносимо тяжело или обидно в жизни — ищите в них утешения и поддержки. Это мой завет вам.

Я встал, и ответил, на сделанные мне овации, следующими

куплетами:

Я счастлив, господа, нигде и никогда
Я не был счастлив так, как на брегах Невы:
Солдата приняли в свой круг вы без стыда,
Вы — витязи печати, прессы львы!

Вы приняли его, как истинные братья…
Вняв зову — голосу рокочущей молвы,
Открыли вы ему сочувственно объятья,
Вы — витязи печати, прессы львы!

С ним разделив хлеб-соль простую не спесиво.
Узоры дружества вы дали для канвы
Работ истории, и дали не чванливо,—
Вы — витязи печати, прессы львы!

В нём пробудили вы мечты и упованья,
Дремавшие со дня ухода из Москвы,
Любви и братских уз вы дали обещанья,
Вы — витязи печати, прессы львы!

Но чем ответит он на это вам?… словами?
Пустыми фразами? склоненьем головы?
О, нет!.. как человек, ответит он слезами
Вам — витязи печати, прессы львы!..

И я, действительно, прослезился, две-три слезы скатились по щекам и упали на белый жилет; послышались тихие: «браво, браво»! я поклонился и продолжал:

И вот он плачет… да!.. Вы зрите эти слезы…
Росинки — то на стеблях счастья травы —
Волшебные ему вы возвратили грезы,
Вы — витязи печати, прессы львы!

Крики «браво»! усилились, застучали полей о тарелки, затопотали ноги под столом… Я вновь поклонился и продолжал:

И мне не стыдно плакать здесь… пусть я — солдат,
Но кровь во мне кипит и чувства не мертвы,
От счастья плачу я, ведь я теперь — ваш брат,
Ваш — витязи печати, прессы львы!

И вот, как брат, как вольный с вольным, равный с равным,
Приемлю смелость я — отвергнете ли вы? —
За вас поднять стакан с напитком этим славным,
О, витязи печати, прессы львы!

Да ниспошлют вам боги все утехи жизни,
Амура-шалуна все стрелы с тетивы;
И да взнесете вы высоко стяг отчизны,
Вы — витязи печати, прессы львы!

И я поднял высоко над головой свой стакан с вином, и крикнул: «Ура! За вас пью, витязи печати, прессы львы!»

Раздались неистовые рукоплескания, крики «браво»! стук и лязг ножей и топот ног. И я обошел сидевших вокруг стола, с каждым чокнулся и поцеловался, провозгласил еще раз «ура! за вас пью, витязи!»… выпил свой стакан разом и, бросив его в камин, разбил вдребезги.

— На воздух! — закричал Василий Степанович. — Обед кончился, а пить кофе будем там. — И он указал рукой на соседний зал. Задвигались стулья, все встали и шумной толпой перекочевали в другую комнату. Подали кофе и десерт. Начали смаковать ликеры и коньяк.

В. С. Курочкин посмотрел на часы и сказал: «скоро девять! пора, господа, и к Излеру».

— А чтение «тетради алой» разве не состоится? — воскликнул П. И. Пашино. — Ведь, оно было назначено после обеда.

— Кто же виноват, что за обедом просидели так долго! — возразил редактор «Искры», — если мы начнем чтение, то не поедем к Излеру, а я уже распорядился, чтобы Иван Иванович приготовил что нужно.

— Но позвольте, Василий Степанович, — лепетал коснеющим языком Н. И. Кроль. — Мы хотим познакомиться с произведениями музы поэта Мартьянова.

— Мы познакомились уже с произведениями музы поэта Мартьянова за обедом, — настаивал упрямо Курочкин, — он прочитал нам прекрасное стихотворение, а кому этого недостаточно, конечно, может остаться здесь. Но я еду, кто со мною?

Николай Степанович сказал, что он поедет. «И я поеду»! отозвался Минаев. «И я поеду»! присовокупил и я, помня данное

обещание. П. А. Климов извинился, что не может ехать потому, что он должен быть вечером в каком-то заседании. А прочие предпочли остаться у Донона.

— Мы вот с П. И. Пашино и А. П. Швабе лучше разыграем пульку преферанса, — отбояривался от поездки М. М. Стопановский.

— А я… — будировал, пошатываясь, Н. И. Кроль:

Буду я читать
«Алую тетрадь»,
Буду пить вино,
Благо есть оно…

— В таком случае, господа, — обратился к ним Николай Степанович, — вы можете пировать за счет нашего амфитриона. Чаи, кофе, вино, ликеры, коньяк к вашим услугам, кушайте на доброе здоровье, а мы поедем на острова.

И затем, попрощавшись, мы вчетвером: два брата Курочкины, Минаев и я, оставили ресторан Донона.

V

Вечер у Излера. — Поездка. — Экспромты. — Встреча и беседы. — В театре. — В саду. — В кабинете. — Наталья Романовна и кутеж кувырком, кувырком полетел!

Мы вышли на Невский и на бирже в Конюшенной Василий Степанович нанял четвероместную карету. Он уже занес было ногу, чтобы сесть в нее, но вдруг, как будто что-то припомнил, остановился, подошел к содержателю экипажей и приказал ему дать другую такую же карету, с тем, чтобы она ехала вслед за нами, не отставая ни на шаг. Когда же мы уселись в первую карету и поехали, Николай Степанович спросил брата:

— Скажи, пожалуйста, зачем тебе понадобилась вторая карета?

— Как зачем? — с неудовольствием отозвался Василий Степанович, закрывший глаза и начинавший дремать, — а вдруг сломается ось или колесо, на чём же мы поедем!

— Ты всё дурачишься, — отозвался брезгливо Николай Степанович, — ведь это — напрасная трата денег, сломается ось или колесо — есть извозчики.

— А если я хочу ехать в карете — кому какое дело? — вспылил редактор «Искры», — да я уже и не юноша, чтобы мне делать наставления, я хочу — я и плачу, и вмешательств в мои распоряжения никаких не допускаю.

И он закрыл глаза и погрузился в дрему. Минаев между тем знакомил меня с топографией Петербурга. Проезжая мимо Инженерного замка, он рассказал мне его историю, а поровнявшись с Летним садом, указал место, где любил отдыхать А. С. Пушкин и сообщил анекдот, как один английский лорд, в прошлом столетии, приезжал в Петербург для того только, чтобы взглянуть на решетку сада, которая считалась тогда чуть ли не восьмым чудом света. На Троицком мосту он припомнил, как чернь, в холерную эпидемию 1831 года, сбросила с моста в Неву и утопила в ней с каретой и лошадьми доктора Мудрова. Проезжая мимо крепости, он разразился экспромтом:

Здесь погребаются великие цари,
Здесь золотые делают монеты,
На шпиц Телушкин лазил — эка высь, смотри!
И под Неву спускаются поэты.

— Как под Неву? — спросил я в изумлении Минаева.

— Да так!.. есть, говорят, сказание, что под Невой устроены казематы.

— Не лучше ль, кум, — вмешался в разговор Николай Степанович, сказать так:

Здесь ходит и стоит, и возлежит —
Кто не сидит,
И не стоит, не ходит, не лежит —
Тот, кто сидит.

Двигаясь по Каменноостровскому шоссе, Минаев указал мне рукой на Александровский лицей и промолвил:

Вот зданье славное, оно приготовляло
Нам Пушкина и князя Горчакова,
И Тяпкин-Ляпкиных род целый воспитало
От Блудова до Салтыкова.

Проехав Карповку, и, поровнявшись с дачей Громова, он весело продолжал:

А здесь живет известный ваш миллионер,
Лесник Илья Федулыч Громов,
Раскольничий устроил скит, как старовер
И чтит лишь женщин — без дипломов.

Когда с Каменноостровского моста открылась панорама роскошных дач, тонувших в зелени по берегам Невки, Николай Степанович улыбнулся и, обратясь к Дмитрию Дмитриевичу, сказал:

— Ну, что же, поэт Минаев, вы приумолкли? Кажется теперь вы могли бы подарить нас эффектным экспромтом.

Минаев закурил папиросу и, бросив взгляд на открывшийся пред нами чудный пейзаж, повернулся ко мне и с усмешкой продекламировал:

Да, здесь привольно и свободно,
Воздушно, водно, зелено,
Здесь знатно, — только не народно,
Здесь бедным жить не велено.

На Строгоновском мосту Василия Степановича разбудили.

— Приехали! — сказал ему Минаев, дергая за руку.

— Куда? Зачем приехали? — протирал глаза редактор «Искры».

— К Излеру.

— А! К Излеру!.. Хорошо!.. Помню… Мартьянов тут?

— Да, вот он сидит.

— Ну, и отлично. Все вместе, значит, и войдем!

У подъезда вокзала Минеральных вод карета остановилась, обе дверцы её разом растворились и мы молодцевато вылезли. В вестибюле толпилась публика, дамы, прислуга, жандармы, полиция. Василий Степанович приказал позвать самого Излера. Явился Иван Иванович и с самыми подобострастными поклонами приветствовал редактора «Искры», раскланялся с нами, сказал несколько любезностей и повел нас в сад.

— Иван Иванович, вы получили мои распоряжения? — вопросил его Василий Степанович на ходу.

— Как же-с! получил и всё исполнил. Ложа в театре оставлена и кабинет приготовлен, — извивался, как змей, содержатель Минеральных вод.

— Большой кабинет приготовили?

— Как же-с! как приказали, большой.

— И всё, что нужно, приготовили?

— Всё, всё, пожалуйте!

— Нет, прежде всего мы пойдем в театр, или, как вы называете, в концертный зал, и посмотрим немножко. Что у вас идет сегодня?

— «Фауст» с m-me Amélie в роли Маргариты, m-me Деккер-Шенк в роли Марты, m-me Дюбуше в роли Зибеля и m-r Дюбуше — в роли Фауста.

И Иван Иванович проводил нас до ложи. Мы вошли и уселись шумно. На сцене Фауст предлагал Маргарите руку — проводить прелестную девицу, а Маргарита отвечала, что она не девица-мастерица, и что сама знает хорошо дорогу в Шато-де Флер. В ложах и партере наше появление было замечено. Львицы французской колонии наводили на нас лорнеты и перешептывались. В партере кто-то сострил: «Смотрите, «Искра» появилась! не затем ли, чтобы воспламенить Фауста?» Мы недолго сидели в театре; едва дуэт кончился, Минаев заявил, что тут душно и пить хочется, Василий Степанович сказал, что ожидать конца акта не стоит. Поэтому все поднялись и вышли. У театра встретил нас Иван Иванович и проводил до кабинета. Это была просторная в несколько окон комната, довольно высокая и светлая, но, несмотря на открытые окна, в ней ощущалась

тяжелая винная атмосфера. Обстановка её ничем не отличалась от ресторанной обстановки кабинетов, с их мебелью, зеркалами, мифологическими картинами, тяжелыми портьерами и там и сям натыканными бра и жирандолями. Но было нечто в ней, чего в обыкновенной кабинетной обстановке не везде можно встретить: это — пиршественный стол, эффектно убранный вазами, канделябрами и цветами. Отличительною особенностью его было то, что, вместо стульев, вокруг его стояли приготовленные для возлежания четыре мягких с подушками софы и два оттомана. На нескольких маленьких столиках у стены красовалось несколько корзин с зеленью и пахучими цветами, на подзеркальниках лежали венки из роз, лавровые и дубовые (гражданские) венки, а у стены, между роялино и арфой, помещавшейся в самом углу, висели римские пурпурные тоги, греческие хитоны, черные испанские мантелетки и другие костюмы.

— Хорошо! — сказал, окинув быстрым взором кабинет, Василий Степанович, — только нас четверо, а лож приготовлено шесть, а впрочем оставьте, кто где хочет, там и возляжет.

— Не прикажете ли осветить? — осведомился почтительно Иван Иванович.

— О, нет, теперь не нужно. Мы пока посумерничаем, а там после увидим. Прикажите нам подать Бордо, рейнвейну Иоганнисберг и венгерского, но лучшего, какое у вас есть. Шампанского мы пили так много, что у меня какая-то изгарь во рту образовалась. Велите подать также сельтерской, но не теплой.

— И коньяку, — добавил Минаев, усиленно куривший всё это время папиросы.

— Но только, я вас должен предупредить Иван Иванович, — потрепал его по плечу редактор «Искры», — это угощаю я, и ни с кого другого, что бы они там ни требовали, ни за что ни копейки не получать! Счет прислать мне завтра в контору, понимаете?..

— Помилуйте, дорогой Василий Степанович, разве я смею противоречить вашим приказаниям, — изгибался содержатель Минеральных вод, — считаю за честь сделать всё, как вы пожелаете.

— Ну с, это всё хорошо. А насчет французской колонии как? Я хочу нынче дебютировать в канканчике, — победоносно улыбался Василий Степанович.

— Кончат пьесу — и это будет, я вам порекомендую лучших танцорок из хора.

— Валите же! — махнул рукой представитель «Искры», и Иван Иванович исчез.

Николай Степанович между тем, под влиянием, вероятно, столкновения с братом из-за кареты, всё время упорно молчал,

смотря вместе со мною в окно на проходившую мимо публику, выкурил папиросу и, усевшись за рояль, стал наигрывать какую-то меланхолическую пастораль.

Василий Степанович подошел ко мне, обхватил за талию и дружески сказал:

— Вы слышали, Петр Косьмич, у нас будут дамы, но вас это стеснять не должно: вы можете себе выбрать какая вам понравится из публики, конечно, не из буржуазных, и укажите мне, а я постараюсь о том, чтобы она была здесь.

— Благодарю вас, Василий Степанович, но до сих пор я еще не вижу такой дамы.

— Никто вас не торопит, — рассмеялся Василий Степанович, — смотрите внимательнее и, может быть, какая-нибудь и приглянется. Не забудьте только нашего условия, что все расходы здесь я принимаю на себя, все, понимаете! Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, была бы только дама по сердцу.

Подали вино, коньяк и сельтерскую.

— Полно тебе, брат, домового-то хоронить, — воскликнул Василий Степанович, обращаясь к Николаю Степановичу, — приехали повеселиться — надо веселиться. Лучше бы ты сделал, если б занялся хозяйством.

— А ты что же не скажешь, — отозвался Николай Степанович, — я думал, что ты сам будешь за хозяйку.

— Ну, где нам, простакам, воеводствовать! — фанфаронил редактор «Искры», — иди и распорядись, а то у нас что-то не клеится.

Действительно, как только подошел Николай Степанович к столу, компания оживилась. Первым делом освежились сельтерской, потом выпили коньяку, затем приступили к Бордо и всё это прикрыли опять-таки коньяком. Минаев предложил пройтись, подышать свежим воздухом, и мы втроем, Дмитрий Дмитриевич, Василий Степанович и я, вышли, а Николай Степанович остался хозяйствовать. Он приказал принести две головы сахару, несколько бутылок рому, разных специй и металлический таз с прибором для приготовления «гусарской жженки», снял сюртук и занялся делом.

Пройдя несколько шагов по саду, мои сопутники встретили много знакомых и начался обмен мыслей. Главным предметом разговора было только что состоявшееся разрешение курить табак на улицах, площадях и других местах в столицах и провинции. Мера эта не обошлась, конечно, без злоупотреблений со стороны некоторых шутников и подала повод к их арестованию. Послышались голоса о необходимости протеста, но Василий Степанович умел обратить всё это в шутку, попросив

протестантов доставить свои жалобы в «Искру», и мы отправились далее. У поворота к пруду, нам встретилась высокая, красивая и стройная молодая женщина с золотистыми волосами, в большой модной шляпе, охотничьем костюме и небольшим хлыстиком в руке. Она шла с гвардейским кирасиром, несшим на руке её кружевную накидку и похлопывала хлыстиком.

— Василий Степанович, — обратился я к Курочкину с вопросом: — не знаете ли вы, кто эта дама?

— Это известная представительница французской колонии. Она состоит под покровительством Мезенцева и заезжает сюда с пуанта, чтобы убить как-нибудь вечер повеселее.

— А нельзя ее пригласить к нам?

— Это надо спросить Ивана Ивановича. Пойдемте в кабинет. Брат Николай, по всей вероятности, уже ждет нас с своей «гусарской жженкой». Оттуда пошлем и за Излером.

Но Иван Иванович уже сторожил нас. Едва он завидел, что мы возвращаемся, стремительно подбежал и сообщил Василию Степановичу вполголоса, что он распорядился, чтобы после спектакля, в кабинет к нам явились для пляски четыре танцорки со сцены в костюмах.

— А для вас костюмы, по желанию, — прибавил он таинственно, — приготовлены в кабинете.

— Спасибо, вам, любезнейший, Иван Иванович, за это, — улыбнулся самодовольно серьезный редактор «Искры», — но это еще не всё!.. Сейчас прошла с кирасиром «фамм де Мезенцев», нельзя ли ее пригласить к нам. Скажите, четыре поэта считают за особенное удовольствие познакомиться с нею.

— Василий Степанович, — воскликнул изумленный содержатель Минеральных вод, — вы задаете мне такую задачу, что я, право, не знаю, что и ответить вам. — И он комически развел руками.

— Будьте смелее, Иван Иванович! — поддержал предложение Курочкина Минаев:

Четыре поэта — четыре царя
В наш век собираются редко:
Война их сбирает, иль мира заря,
Кутеж, да в Бадене рулетка.

— Слышите, Иван Иванович! — захохотал Курочкин, — передайте это француженке.

— Конечно, это для нее должно быть очень лестно, — отвечал, изгибаясь и пожимаясь, предупредительный администратор «Минерашек», — но этим одним мы едва ли

достигнем цели. Здесь одно может помочь нам, Василий Степанович, это — злато, презренное злато, будь оно проклято, — фиглярничал Излер.

— Ну, что же! Я ассигную вам, Иван Иванович, на это 500 франков. Орудуйте, любезнейший, — хохотал в веселом настроении Курочкин, — зовите ее на одну только кадриль с нами.

Иван Иванович согнулся в три погибели, попятился и исчез.

— А придет — не уйдет! Не так ли, Петр Косьмич? — подмигнул Василий Степанович вслед уходившему Излеру.

— Конечно, попадет птичка в клетку — не вылетит…

Разговаривая и шутя, мы вернулись в кабинет. Николай Степанович сделал все надлежащие к пиру приготовления. Две лишние софы он велел вынести и простору вокруг стола стало более. Оставшиеся оттоманы и софы, а также и пол вокруг стола, были застланы зеленью и цветами — атмосфера получилась свежее и ароматичнее. Окна закрыли и тяжелые портьеры спустили — образовался таинственный полумрак. Посреди стола, на металлическом, подножии, в серебряном тазу пылала «Гусарская жженка». Аромат варимого напитка щекотал обоняние. Синее пламя фантастически взвиваясь над тазом, ласкало зрение, и манило и дразнило возбужденные прогулкой аппетиты неуклонно. Сам Николай Степанович, облачившись в хитон и пурпурную тогу, с венком из роз на плешивой голове, восседал на одной из соф и куря кальян, присматривал за варкой, помешивал ее и удобрял прибавкой разных специи, с каким-то таинственным шёпотом..

— А вот и мы! — воскликнул Василий Степанович, входя весело в кабинет, — кажется, не заставили себя ждать.

«Варись, варись, зелье, на беду людей,
Будь чужим отравой, своих не губи»!

запел Минаев из «Аскольдовой могилы», бросился на один из близ стоявших оттоманов и растянулся на нём.

Николай Степанович нахмурился и начал было: «господа, по церемониалу…» но вбежавший впопыхах Иван Иванович прервал в самом начале его филиппику.

— Василии Степанович, — воскликнул он в ужасе, — беда! Супруга ваша, Наталья Романовна, приехала и ищет вас…

Если бы внезапно грянул гром и оглушил кого-нибудь из нас, мы были бы менее поражены, чем подобным известием[35].

— Разбойница!.. Зарезала!.. — только и мог выговорить растерявшийся Василий Степанович, и схватился обеими руками

за голову.

— Наталка! — воскликнул Николай Степанович в ужасе. — И зачем только эта баба притащилась?

— Вот ты и поди ж! — опустил беспомощно руки редактор «Искры» и заметался по комнате. — Где она? — обратился он к Ивану Ивановичу.

— Ей сказали, что вы в театре и она пошла туда.

— Задержите ее, пожалуйста, там, а мы уедем куда-нибудь в другое место, — проговорил он скороговоркой Излеру, провожая его из кабинета и, обратясь к нам, скомандовал: — ну, едемте, что ли?

— Куда же поедем? — вопросил нерешительно Николай Степанович.

— Хоть к чёрту, только вон отсюда… — суетился Василий Степанович, отыскивая свои вещи.

«Притащилася» «Наталка»!
«Вот ты и поди ж»!
Лезет на скандал, нахалка, —
Как моя Катишь…

балагурил Минаев, переваливаясь с боку на бок на оттомане.

Дверь в кабинет распахнулась и показавшийся в ней Иван Иванович спешно проговорил:

— Василий Степанович, Наталья Романовна сюда идет! в театре ей сказали, что вы здесь.

— Бога ради, отведите ее куда-нибудь в другое место, пока мы уедем, в другой кабинет, что ли, ну, заприте, наконец, — суетился сконфуженный редактор; — едемте же, скорее! — понукал он нас.

— Да куда ехать? — отозвался неохотно Николай Степанович, — здесь всё готово.

— Убрать всё! — крикнул лакеям Василий Степанович, схватил шляпу и ринулся к двери. — Кто со мною? Выходите.

Я оделся и вышел за ним, в вестибюле догнал нас Николай Степанович и Минаев. Пока мы стояли и дожидались карет, за которыми был послан артельщик, из сада выбежал Излер, а за ним вылетела, вся раскрасневшаяся, как пион, Наталья Романовна.

— Ты уезжаешь? — подбежала она к Василию Степановичу, — а я тебя ищу.

— Зачем?

— Дома неладно.

— Что такое?

— Мальчику худо.

— Не могла ты разве кого-нибудь послать: приехала сама, — конфузился и путался в словах, Василий Степанович. — Что с ним?

— Я не знаю. Поедем домой. Увидишь.

И она повисла у него на руке. Василий Степанович, видя, что спасения нет, сел с нею в карету и приказал ехать домой. Прощаясь с нами, он только пожал плечами и сделал выразительный знак, а брату шутливо напомнил:

— Ну, вот, Николай, вторая-то карета и пригодилась. А то тебе пришлось бы трястись на извозчике.

Вечер был сорван. Минаев, по отъезде четы Курочкиных, предложил возвратиться к «жженке», и настаивал на принятии своего предложения, скандируя такой экспромт:

Испугалися Наталки, —
И бросаем жженку!..
Я скорее бы взял в палки
Эту ведьму — женку…

— Но ты пойми, — протестовал Николай Степанович — что наше самолюбие, наше личное достоинство не могут допустить этого. Ты слышал, что брат Василий велел всё убрать, т. е. другими словами, отдал всё лакеям. Не можем же мы потребовать от лакеев отданных им напитков. Но если ты хочешь непременно жженки, то надо сварить свою и заплатить за нее: ведь мы — пойми ты это! — не можем пить на счет брата, когда он кредита нам у Излера не открыл.

— Ну, тогда поедем домой, — махнул рукой Дмитрий Дмитриевич, и мы, после некоторых дебатов, разъехались. Минаев и Курочкин в запасной карете отправились в Лесные Палестины, а я вернулся на пароходе домой.

Но поэт-сатирик, садясь в карету и пожимая мне на прощанье руку, продолжал волноваться:

Как мы глупы! как мы жалки!..
Испугалися Наталки!..
И в угоду вздорной жонке
Отказалися от жженки…

VI

Визиты М. М. Стопановского и Н. И. Кроля. — Редакция «Военного Сборника». — Н. М. Григорьев. — Генерал П. К. Меньков. — Свидание с В. А. Соколовским и А. А. Якимовичем. — Посещение В. С. Курочкина. — Отъезд в Москву.

Дня через два меня посетили М. М. Стопановский и Н. И. Кроль. Первым пришел Михаил Михайлович. После обычных приветствий, он сообщил мне, что Василий Степанович очень огорчен исходом задуманного им вечера, но иначе поступить он не мог, так как ему угрожало неприятное столкновение, которое могло окончиться публичным скандалом, чего он, и как человек, и как общественный деятель, вообще старается избегать.

Я, конечно, отвечал, что не имею никаких претензий, и если сожалею, то об одном, — что почтенный редактор «Искры» истратил так много денег и не получил никакого удовольствия.

— Что касается расходов, — отвечал Михаил Михайлович, — то это пустяки, это ему ничего не значит.

— А что такое случилось с его мальчиком?

— Да тоже ничего. Наталья Романовна, зная его любовь к ребенку, нарочно сказала ему о нездоровьи мальчика, чтобы увезти его домой. Иначе, ведь, он и не поехал бы. Отношения его к этой женщине весьма странны, то он к ней ластится, то он готов бежать от неё на край света. — И Михаил Михаилович рассказал мне несколько выдающихся случаев из интимной жизни Курочкина. — Кстати, Петр Космич, — обратился ко мне Стопановский с улыбкою, — я имею в вам поручение. Василий Степанович желал бы, чтобы инцидент с его вечером остался между нами. С Излером он покончил уже.

— Уверьте, пожалуйста, Василия Степановича, — отвечал я на это, — что он может положиться на меня вполне: я буду нем, как рыба.

За сим разговор коснулся вечернего кутежа у Донона. Стопановский сказал, что они после обеда сидели недолго, прошлись по ликерам и сыграли только одну пульку преферанса.

— Кто выиграл?

— Швабе выиграл 9 р. 40 к., а я и Пашино проиграли.

— А Кроль что делал?

— Кроль пил и чудил. Это — циник, но циник умный и забавный. С ним провести вечер можно не скучая, в особенности,

когда он не хандрит. Часов в 11 мы уехали, а он остался: встретил знакомых и с ними захороводился в ресторане. Да вот он и сам жалует собственной своей персоной.

Действительно, Николай Иванович, во фраке и полурасстегнутом жилете, со сбившимся на сторону галстуком и книгой под мышкою, румяный и веселый, предстал передо мною и, улыбаясь и поглаживая бороду, заговорил с пафосом опереточного героя:

— Ну, вот и мы отыскали вас, Петр Косьмич, честь имею представиться: поэт Кроль! Прошу любить и жаловать! — И он, схватив меня за руку, начал сильно трясти ее. Обратясь к Стопановскому, он комически раскланялся и задал ему вопрос: — а, Михаил Михаилович, и вы здесь? Как поживаете? Как ваши куры и курочки обретаются?

— Что им делается! почтеннейший Николай Иванович, — раскатился громким смехом Стопановский, — несутся по обыкновению. А вот петушки — дело другое…

— Не люблю я ваших петухов, — оборвал горячо Кроль и, порснув в бороду, начал скандировать нараспев:

Что у вас за петухи?
Ха, ха, ха! да хи, хи, хи!
Вейнберг Петр? или Минаев —
Шалопай из шалопаев?
Иль Буренин вертопрах?
Ах, какой, скажите, страх!..

— Ну, всё-таки, Николай Иванович, — продолжал Стопановский, — вы, кажется, послабее будете, наши заклюют наверное.

— Не боюсь я ваших петухов! — отчеканил Кроль надменно, и знаете ли что?

Я от рождения не трус,
И ничего я не боюсь:
Ни бури, ни напасти,
Ни Буренина пасти…

— Да вы заметьте! — и он захохотал: — рифма то какая! от первого слога до последнего! ну, где же вашим петухам так кукарекать?

Мы засмеялись. Стопановский встал и стал откланиваться. Пожимая нам руки, он спросил Кроля:

— Ну, что же, Николай Иванович, петушкам то нашим поклониться от вас?

— Курочкам поклонитесь, а петухам передайте, что я сказал.

Проводив Стопановского, Кроль дал волю языку:

— Тоже деятель!.. серьезным хочет быть!.. — порскал Николай Иванович, размахивая руками, — и где же?.. в «Искре»!.. — И он раскатился громким смехом. — А посмотришь со стороны: что это такое? Сосуд скудельный, и сосуд пустой, звенящий под ударом щелчка, надутый пузырь, набитый сухим горохом, если его поднимут и тряхнут — загремит! а бросят в угол — ни гугу! Вот они, деятели то эти какие! Не так ли, Петр Косьмич?

— Я так мало знаю Михаила Михайловича, — отвечал я, — что, право, затрудняюсь отвечать вам что-нибудь, да впрочем это и не особенно интересно.

— Вы правы, совершенно не интересно, — поторопился согласиться со мною Кроль, и зашагал по комнате.

— Что это у вас за книга, Николай Иванович, — спросил я своего собеседника, чтобы переменить разговор.

— Это последняя книжка «Современника», только что вышла, вот я и забрал ее, что бы прочитать.

— Есть что нибудь в ней особо выдающееся?

— Как же не быть! Вот хоть бы «Волненье в мутной воде» Антоновича, или «Жизнь Шупова», роман Михайлова.

— Скажите, пожалуйста, Николай Иванович, как вы находите роман Михайлова?

— Жесток и терпок… Вообще мне стиль и манера новых писателей не особенно нравится. Читаю, и не увлекаюсь. Это что то вроде кавказского кахетинского вина. Попробуешь — жестко и терпко, десны сводит, язык вяжет, а вопьешься — ничего себе, тянешь и похваливаешь, потому что в голову ударяет так же, как и херес и портвейн. Но предложи вам кахетинского и портвейну, вы потянетесь к портвейну, и вы будете правы, потому что лоза и культура не те. Тоже самое и в беллетристике нашей: читаешь и Михайлова, когда ничего другого нет, а поднесут что нибудь поприятнее — бросишь это и потянешься к более приятному. Законы удовлетворения жажды везде и во всём — одни и те же.

Мне показалось забавным сделанное Кролем сравнение беллетристики с вином и я рассмеялся.

— Ну, вот, видите, Петр Косьмич, — потирал от удовольствия руки Николай Иванович, — вы согласны со мною. Тогда я вам скажу больше. Разговор о литературе возбуждает охоту к чтению, разговор о вине возбуждает желание выпить. Как вы думаете: не отправиться ли нам к Палкину позавтракать?

— Прекрасная мысль, Николай Иванович, но я, к сожалению, не могу воспользоваться вашим любезным приглашением: я должен сейчас отправиться в редакцию «Военного Сборника», где я еще не был.

— Представиться генералу Менькову, этому китайскому бонзе! Я его знаю, я с ним встречался у графа Кушелева. Что ж, идите куда призывает вас долг, а я пойду завтракать. Впрочем, знаете что? — продолжал Кроль, подумав, — бросьте вы этого Менькова и пойдемте завтракать. А позавтракаем, поедем к графу Кушелеву, я вас познакомлю с ним: хотите?

— Покорнейше вас благодарю за любезное приглашение, — улыбнулся я в ответ на это, — но мне кажется, что одного моего согласия тут недостаточно: нужно предварительно спросить графа: желает ли он со мною познакомиться?

— Это всё вздор! Если я привезу, он будет очень рад. Ведь, у него собирается вся наша выдающаяся литературная молодежь. Чудесное, я вам скажу, зрелище! Аристократ и писатели! Да где вы увидите что либо подобное? И он стал в позу и продекламировал:

«Они сошлись: волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень!..»

— Ну, решайтесь, что ли, и поедем! — заключил он, кладя мне на плечо руку.

— Теперь никак не могу, Николай Иванович, — отвечал я твердо, — на днях я уезжаю недели на две, на три, в Москву и мне у генерала Менькова нужно быть до отъезда. По возвращении же из Москвы, я с большим удовольствием сделаю визит графу Кушелеву, если вы, конечно, испросите на то его разрешение.

— Экой вы какой несговорчивый! Ну, да что с вами делать, поезжайте куда хотите, а я пойду к Палкину. Прощайте.

И он, приведя перед зеркалом в порядок свой костюм, взял шляпу, величественно раскланялся со мною и удалился.

Проводив Кроля, я поехал в редакцию «Военного Сборника». Там меня встретил секретарь редакции Николай Михайлович Григорьев. Узнав от меня, что я нахожусь в Петербурге проездом и желаю представиться главному редактору, он тотчас же доложил ему и я был введен в кабинет генерала Меньшова.

Петр Кононович сидел в кресле у окна и читал газету. При моем появлении, он привстал, подал руку и весьма любезно пригласил меня сесть. Генерал-лейтенант Меньков был весьма полный, довольно живой и словоохотливый человек. Он расспросил меня о моей службе, положении и средствах,

отозвался одобрительно о моих статьях и спросил меня: намерен ли я продолжать литературную деятельность?

— Мы не от себя зависим, ваше превосходительство, — отвечал я ему искренно, — личное мое желание, конечно, продолжать эту деятельность, но начальство у нас, в армии, не особенно покровительствует пишущим офицерам. Мне уже дано было под рукою знать, что было бы лучше, если бы я занялся исключительно службой.

— В таком случае переходите на службу в Петербург. Хотите, я переговорю о вас с графом Гейденом: он может быть согласится прикомандировать вас к Главному штабу.

— О, если бы это было возможно, я был бы очень благодарен вашему превосходительству.

— Я переговорю при первом же свидании с графом, и сообщу вам о результате, а вы оставьте в редакции свой адрес.

— Здешний мой адрес я оставлю, но я на днях уезжаю для свидания с родными, в Москву, где я думаю пробыть недели две-три, по возвращении же в Петербург, я буду иметь честь быть у вашего превосходительства.

— Хорошо. Побывайте у меня по приезде из Москвы. Если во время вашего отсутствия я успею сделать что-нибудь в вашу пользу, то вам тогда незачем будет и возвращаться в полк. А пока прощайте.

И он отпустил меня, весьма радушно пожав руку.

Разговор этот натолкнул меня на мысль хлопотать о прикомандировании к Главному штабу. В то время в штабе этом состоял на службе весьма расположенный ко мне человек, майор Валериан Осипович Соколовский, который прежде служил в штабе 1 пехотной дивизии старшим адъютантом и хорошо знал меня. Я отправился к нему, передал ему разговор с Петром Кононовичем и просил его принять участие в деле прикомандирования меня к штабу. Он выслушал мою просьбу сочувственно и тут же представил меня исправлявшему тогда должность начальника отделения, полковнику (ныне генерал и член военного совета) Александру Алексеевичу Якимовичу, который, расспросив меня о причине, почему я желаю получить место в Петербурге, принял во мне участие и обещал оказать с своей стороны надлежащее содействие.

Заручившись подобным согласием, я уехал домой с некоторыми уже надеждами и стал собираться к поездке в Москву.

Наутро я сделал прощальный визит Василию Степановичу Курочкину. Он принял меня любезно, но крайне сдержанно. Его видимо беспокоила неудача несостоявшегося вечера, и он

стеснялся неисполнением данного тогда обещания. Узнав, что я уезжаю в Москву, он несколько оживился, пригласил меня к своему домашнему завтраку и познакомил меня с Натальей Романовной. За рюмкой вина он воздал ей должную хвалу за её хозяйственную распорядительность и заботы о семье, а главное, за неустанную попечительность о его домашнем покое и здоровье мальчика. Затем разговор перешел на «алую тетрадь».

— Что же вы печатать ее думаете? — спросил меня Василий Степанович.

— Сам лично я не решился бы на это, — отвечал я, — но Порфирий Ассигкритович Климов взялся издать ее на свой счет, и я передал ее в его непосредственное распоряжение, так что он отдал ее уже в печать и книжка ко дню моего возврата из Москвы должна быть готова.

Когда речь зашла о солидности и устойчивости «Искры», Василий Степанович отозвался самоуверенно: «Искра» — камень-адамант, и врата адовы не одолеют ее».

— Не думайте, — распространялся он на эту тему, — что я работаю только с постоянными сотрудниками: Минаевым, Буреиным, Вейнбергом, Стопановскмм и другими. Каждый новый день дает мне новых сотрудников, предлагающих мне услуги из всех уголков нашего необъятного отечества. Нет той почты, чтобы я не получил 20–30 писем от разных корреспондентов с материалами для «Искры». Правда, всё это — сырье, его нужно перерабатывать. Но, ведь, мы только начинаем еще наше поступательное движение. Чрез несколько лет, в особенности, если нам дадут полную свободу печати, мы оперимся. У «Искры» будут сотни сотрудников, не кропунов, а людей ума, знаний и таланта, людей, преданных делу и способных одушевить нашу теперешнюю мертвую подцензурную сатиру. Журнал поднимется на довлеющую ему высоту и я надеюсь, что он — этот бедный мой журнал, со временем будет лежать на столе у каждого образованного человека и к голосу его будут прислушиваться не одни только простые смертные, но и люди с весом и положением в государстве. Вот тогда-то мы с вами, Петр Косьмич, развернемся во всю и сделаем не одно дело доброе…

— Дай Бог! дай Бог! — лепетал я, увлекаемый такими широкими задачами почтенного Василия Степановича[36].

— А знаете ли, почему я так расположен к вам, Петр Косьмич? — спрашивал меня гостеприимный хозяин. — Очень просто. Я сам начал писать, будучи юным офицером и по личному опыту знаю, как тяжело нашему брату, субалтерн-офицеру, пробивать себе дорогу. Поэтому, я поставил себе задачей

помогать коллегами, по жребию судьбы чем могу — словом, делом иль советом. В этом отношении вы можете всегда рассчитывать на меня.

Поблагодарив его от души, я рассказал ему, что мне удалось заручиться некоторыми шансами на причисление к Главному штабу, и что я, если не в нынешнем, то в будущем году, переселюсь на жительство в Петербург.

— Ну, вот и отлично, — одобрил Василий Степанович, — значит, мы будем с вами жить в соседстве, не забывайте же «Искры», помните, что у вас тут есть друзья.

Выйдя от Курочкина, я поехал проститься с Минаевым в Лесной, но не застал его дома. Екатерина Александровна приняла меня в сильном нервном раздражении.

— Дмитрий Дмитриевич, — жаловалась она мне на мужа с неудовольствием, — с тех пор, как познакомился с вами, стал чаще отлучаться из дому: ездит на какие-то обеды, ходит по каким-то делам; пожалуйста, не увлекайте его.

— Я завтра уезжаю в Москву, — успокаивал я волновавшуюся супругу Дмитрия Дмитриевича, — и тогда, ваш супруг, по всей вероятности, будет более расположен к своим пенатам.

— Вы, вот, смеетесь, а мне горе с ним, — продолжала хандрить Екатерина Александровна, — если бы вы только знали, что я выношу от него, вы пожалели бы меня. Чего, чего я только не делаю, чтобы успокоить его бурную натуру, но ничто не помогает. Это не человек, а какой-то Везувий. Сегодня он как будто остыл и молчит, а наутро кратер снова открывается и мечет лаву, камни и пламень. Что мне делать? научите.

— Отойдите в сторону и полюбуйтесь извержением вашего вулкана издали.

— Ну, вот, вы опять смеетесь!

— Регулировать извержения вулканов еще способов не найдено, а потому, Екатерина Александровна, мне кажется, всего благоразумнее было бы предоставить вашему Везувию полную свободу следовать законам его огненной натуры.

— Ну, так я и знала, вы тоже, как и все, за него!

К Николаю Степановичу я не ездил, но написал и послал письмо с приглашением приехать проводить меня. Однако, он не приехал, так что провожали меня только М. М. Стопановский и П. А. Климов. В Николаевском вокзале мы распили, по обычаю, «отвальную», пожали друг другу крепко руки, и я сел в вагон.

— Не забывайте в Москве «Искры», — откланивался Михаил Михайлович.

— Может ли Москва интересоваться искрой, — заметил шутя Порфирий Ассигкритович, когда у ней из головы не выходит

пожар двенадцатого года.

— Как же не интересоваться искрой, — рассмеялся Стопановский, провожая по платформе тронувшийся поезд, — когда и самый пожар двенадцатого года был ничто иное, как последствие искры.

VII

Возвращение в Петербург. — Хлопоты о прикомандировании и неудача. — Выход в свет книжки моих стихотворений. — Обед и литературное чтение. — Знакомство с Н. А. Некрасовым. — Встреча с Н. В. Успенским. — В Павловском вокзале. — А. А. Краевский и С. С. Дудышкин. — Прощальные визиты. — Отъезд в полк.

В конце августа я возвратился в Петербург, и первое время по возвращении употребил на хлопоты о прикомандировании к Главному штабу, ходил несколько раз к генералу Менькову и был в Главном штабе, но дело затягивалось и не спорилось. Граф Гейден отнесся к просьбе Петра Кононовича обо мне весьма любезно, но пока делались запросы и справки, писались докладные записки и доклады, время бежало, срок отпуска моего истекал и мне предстояло подчиниться гнету обстоятельств и возвратиться обратно в полк. Но не буду забегать вперед, скажу только, что прикомандирование мое состоялось в начале апреля 1866 года, когда я, вызванный письмом генерала Менькова, вторично приехал в Петербург.

Посвящая, таким образом, всё время на устройство своих служебных дел, я, конечно, не имел возможности часто видеться с моими литературными друзьями. Но книжка «Стихотворений поэта-солдата» П. А. Климовым была уже издана и я преподнес по экземпляру её: В. С. и Н. С. Курочкиным, Д. Д. Минаеву и М. М. Стопановскому. Поэт-сатирик как-то утром зашёл ко мне, поздравил меня «с успешным штурмом Парнаса», и потребовал «спрыски».

— Ты там как хочешь, — наседал он на меня авторитетно, — а спрыснуть надо; иначе не будет успеха.

— Что же, позавтракать что ли соберемся? — сдавался я на такие неотразимые доводы.

— Можно и позавтракать.

— Или лучше уже пообедать?

— Пообедать, конечно, лучше.

— Тогда уж лучше пообедаем, только не так шикарно, как в первый раз.

— Зачем шикарно? Пообедаем запросто.

И вот спустя несколько дней, по совету Николая Степановича, мы еще раз сошлись на обед у Донона в числе пяти человек.

Из числа лиц, бывших на первом обеде, явились только четверо: Н. С. Курочкин, Д. Д. Минаев, П. И. Пашино и я.

В. С. Курочкин и И. А. Климов извинились за невозможностью быть, по случаю каких-то спешных дел, а прочих «кум» не звал. Обед состоялся «со всеми онерами», но прошел скромно, без речей и тостов, кроме одного — за успех издания. После обеда были в Михайловском театре, но видели мало и скоро уехали. Из экспромтов Д. Д. Минаева я записал следующий:

Прекрасно накормил Донон!..
Кум, я тобой доволен!
Желудок мой так нагружен,
Что я в себе не волен…
Язык стал хром, и ноги слабы,
В очах серо и мглисто….
Смотрю вокруг — людей нет — крабы…
Зрю в Пашино — аиста…
Поэт-солдат, где ты?.. Ерша
Я вижу лишь с тромбоном,
И, вместо кума, — антраша
Танцует гусь с Дононом!..

За обедом Николай Степанович сообщил мне, что Н. А. Некрасов в городе, и что он на днях будет участвовать в литературном чтении в зале Бенардаки, на Невском.

— Хотите, поэт Мартьянов, я вас познакомлю с ним! — прибавил он лукаво, зная уже давно мое искреннее желание познакомиться с ним.

— Еще бы не хотеть!..

— Так приезжайте на вечер, — слащаво улыбнулся искуситель, — я буду там и там могу познакомить вас.

Я запасся билетом на это чтение, и в назначенный день забрался в зал пораньше: меня действительно интересовало знакомство с «печальником народа», сел на свое кресло и стал ждать его появления. Публика собиралась и рассаживалась шумно, зажгли на приготовленном для чтения столике свечи, но я за массой народа просмотрел приход Некрасова. Я увидел его, когда он вышел на эстраду и подошел к столику. В наружности его не было ничего поэтического, по облику, манерам и неуклюжести своей он напоминал скорее простого скромного учителя или конторщика, но не поэта. В нём не было даже Кролевского шика и апломба.

Публика встретила его аплодисментами, он раскланялся и сел за стол. Вынув из кармана несколько исписанных листков, он положил их на стол, расправил рукой и стал читать. Читал он «Песни о свободном слове: Рассыльный, Наборщик, Поэт,

Литератор, Публика, Пропала книга» и другие. Сюжет песен был вполне современен, он затрагивал вопрос о только что зарождавшейся тогда свободной прессе. Публика прослушала их с большим интересом и, по окончании чтения, вознаградила поэта восторженными аплодисментами. Но аплодисменты эти, нужно думать, относились или лично к поэту, пользовавшемуся громадной популярностью среди молодежи, или к сюжету песен, так как самое чтение было далеко неудовлетворительно и многие из числа публики, в особенности лица, никогда не слыхавшие чтения поэта, явно выражали свое разочарование. Некрасов читал нервно, порывисто и неровно; голос его, глухой и сиплый, несмотря на форсирование, уподоблялся какому-то далекому подземному выкрику, бил по нервам и заставлял невольно вздрагивать и морщиться. Но мысль, хотя бы переданная таким непривлекательным органом, не могла не иметь влияния на массу, и поэта вызвали и проводили с аплодисментами. Когда Николай Алексеевич, окончив чтение, проходил по зале к выходу, в сопровождении целого хвоста разных лиц, Курочкин остановил его и, указав на меня, иронично представил:

— Поэт-солдат желает иметь честь… примите уверение и прочее, и прочее.

Некрасов окинул меня быстрым взглядом и ласково промолвил:

— А!.. очень рад!.. Что же вы не зайдете ко мне? Заходите, пожалуйста, без церемонии. По утрам я всегда дома.

— Ваши гости, всегда ваши гости! — не дав мне сказать слова, сфиглярничал Курочкин.

Николай Алексеевич улыбнулся, покачал головой, пожал нам руки и проследовал далее. Толпа ринулась за ним и при выходе устроила ему манифестацию.

— Видишь! — сказал мне внушительно Николай Степанович, — служи народу, служи честно, — и тебя народ также будет чествовать.

Наутро я сделал визит Н. А. Некрасову. Он был уже одет и собирался куда-то ехать с Николаем Васильевичем Успенским, известным беллетристом-народником, сидевшим в то время у него, с каким-то другим долгогривым и угрюмым интеллигентом, который во всё время моего визита упорно молчал и только грыз свои траурные ногти. Я извинился, что пришел не вовремя.

— Ничего, ничего, — перебил меня Николай Алексеевич, — присядьте, я еще имею несколько минут свободных. Вы, кажется, книжку своих стихотворений издали?

Я молча поклонился и преподнес ему экземпляр книжки. Он присел к столу, перелистовал несколько страниц, прочел две-три

пьески, повернул ко мне голову и быстро проговорил:

— Быт солдата мне совершенно неизвестен, но, как мне кажется, в нём есть весьма интересные стороны и над ними, по моему, следовало бы поработать более серьезно.

Перевернув еще несколько страниц, он прочитал вполголоса «Солдатку» и, повернувшись ко мне всем корпусом тела, сказал:

— Это хорошо. Но знаете ли что!.. вам следовало бы попытаться начать писать прозою рассказы из солдатского быта. Вот Успенский имя себе сделал рассказами из народного быта. Но у нас до сих пор нет хороших рассказов из солдатской жизни. Займитесь этим, и первые опыты принесите ко мне: если будет удачно, я напечатаю.

Я отвечал, что на службе в провинции так мало свободного времени и начальство вообще против офицеров-писателей, но что я хлопочу перейти на службу в Петербург, и если это мне удастся, то я, конечно, не премину воспользоваться его любезною обязательностью.

— Солдатский быт имеет уже своих рапсодов, — вмешался в наш разговор Успенский, — в лице покойного Скобелева и благополучно здравствующего Погосского, дальше их идти нельзя.

— Не говорите этого, Николай Васильевич, — возразил ему «печальник народа», — старое старится, молодое растет, поэтому, всякая новая попытка восполнить известную отрасль литературы должна быть встречаема с сочувствием. Однако, нам пора, поедемте!

Я встал и подошел проститься.

— Долго вы еще пробудете здесь, — спросил меня Некрасов, вставая с кресла.

— Я и сам еще не знаю. Срок моего отпуска недели через две окончится, и тогда мне, если я здесь не устроюсь, придется возвратиться в полк.

— Желаю вам устроиться! Во всяком случае, мы еще с вами увидимся — вы, ведь, зайдете ко мне?

— Всенепременно…

— Так приходите же. А пока до свиданья.

На закрытии Павловского вокзала, я встретился с Н. И. Кролем. В самых горячих выражениях он заявил претензию на то, что я не прислал ему книжки моих стихотворений и не пригласил на «спрыски» её.

— Таким непонятным поступком, — неистово ораторствовал он, порская, по обыкновению, в бороду, — вы сами лишили себя права на прием у графа Кушелева: теперь я вас не повезу к нему ни за какие коврижки.

Я объяснил ему, что приглашения рассылал Николай Степанович, которому была предоставлена мной полная свобода действий, но он не хотел верить, надулся и долго молчал. Пройдя несколько шагов вместе со мною по вокзалу, он заметил стоявших близ эстрады А. А. Краевского и С. С. Дудышкина, подошел и познакомил меня с ними. Я поблагодарил Андрея Александровича за появившуюся в «Голосе» очень сочувственную рецензию книжки моих стихотворений, и попросил позволения прислать ему экземпляр.

— Пожалуйста, — отвечал он, — а будет время, заходите ко мне и сами.

— И нам пришлите, и мы читать умеем, — отозвался редактор «Отечественных Записок», — вам нужно послать вашу книжку во все редакции.

Я отвечал, что этим делом заведует издатель, и что он, вероятно, исполнит всё, что нужно. Начавшаяся музыка прекратила разговор и мы с Н. И. Кролем отошли в сторону; минуту спустя, он увидал еще какого-то знакомого, бросился к нему и исчез.

Дня через два, вечером, я встретился с Н. В. Успенским в ресторане Палкина; он сидел в какой-то компании, но, увидев меня, оставил ее и присел к моему столу. Он был весел и жизнерадостен. Выпив со мною стакан вина, он пустился в сердечные излияния, относился к своим литературным коллегам свысока и пренебрежительно: Н. А. Некрасова обозвал эксплуататором бедных тружеников, Краевского — жидом-ростовщиком, Благосветлова — анафемой, товарищей честил уменьшительными именами: Сашка Левитов, Васька Слепцов, Николашка Помяловский. Всё это, по его словам, была мелочь, мошка, мразь. О своих рассказах он был высокого мнения, и также высоко ценил беллетристические работы Глеба Ивановича Успенского. «Это — прирожденный талант, — говорил он, — и пойдет далеко. Мы с ним братья, конечно, двоюродные. Два Лазаря. Только он — Лазарь богатый, а я — Лазарь бедный. Он горожанин, сын богатого палатского секретаря, а я — сельчанин, сын левита. Он в молодости катался как сыр в масле, а я глодал сухую корку хлеба. Он вышел из школы со всякими дипломами, а я — недоучка. Но, благодаря Бога, талантом я не обижен и иду с Глебом Ивановичем нога в ногу. Что будет дальние — не знаю, а теперь пока всем этим моим антагонистам я стану костью в горле. Никому ни в чём не уступлю… Ни на эстолько!» и он показал конец мизинца.

— И так, во всём? — спросил я его, чтобы поддержать разговор.

— Во всём, без исключения.

— Даже в жертвах Бахусу?

— Еще бы! Да знаете ли вы, что сказал обо мне Митька Минаев? Он сказал:

«Ну, что мы пьем!.. хоть много пьем и часто, —
Графин, другой, — и баста!
Нас перепьет всех автор «Поросенка»:
Он в день пьет — полбочонка!»

Когда положительно выяснилось, что прикомандирование мое в настоящее время состояться не может, я, скрепя сердце, стал собираться к отъезду. Сделал прощальные визиты П. К. Менькову, Н. А. Некрасову и А. А. Краевскому, был у Н. С. и В. С. Курочкиных и Д. Д. Минаева и посетил А. П. Швабе. Везде я был принят очень радушно; все сожалели, что я не мог пристроиться в Петербурге и пожелали мне счастливого пути. У Минаева я обедал. Когда я рассказал ему о встрече с Н. В. Успенским и его отзывах о «братьях писателях», Дмитрий Дмитриевич отозвался так:

Нам истинных глупцов не отыскать никак,
Хоть ими пруд пруди, нисколько не робея,
Но дело в том: никто себе не враг,
И уж всегда отыщется дурак,
Считающий себя кого-нибудь умнее.

На вокзал меня проводил П. А. Климов. Но перед самым отходом поезда, на платформе совершенно неожиданно появился Н. С. Курочкин, передал мне присланный Василием Степановичем томик «Песен Беранже» с надписью: «Поэту-солдату на память первого его дебюта в литературном мире» и пожелал счастливого пути. Когда же я сел в вагон, после второго звонка, он, пожимая мне руку, подал листок и сказал: «а это от меня». Я развернул и прочитал:

Совет друга.

Не возносись в счастье, поэт,
В несчастии не падай духом,
Познай себя, и общество, и свет,
За мухой слова не гонись с обухом,
Что ум, достоинство, авторитет,

Льсти барыням, поддакивай старухам,
Особам и дельцам неси привет,
Жми руки ловеласам и евнухам,
Умей молчать, ответить, дать совет,
Владей очами, языком и слухом,—
И проживешь легко ты до ста лет,
Украсясь лысиной и толстым брюхом.

Нужно ли говорить: в каком настроении я оставил Петербург!

Полковые офицерские библиотеки



В армии много говорят о необходимости усиления средств и улучшения состава полковых офицерских библиотек. В обществе носится слух, что правительство с своей стороны имеет в виду помочь полковым библиотекам и устроить научные отделы библиотек, так как средств, даваемых офицерами недостаточно, а движение науки настоятельно требуют пополнения библиотек современными научными пособиями. Что полковые офицерские библиотеки, в некоторых частях войск, далеко неудовлетворительны по всем вообще отделам, в этом мы имели случай убедиться не раз. Мы видели библиотеки, где шкафы ломятся под тысячами экземпляров различных сочинений. Чего в них нет! Тут романы и повести Булгарина, Лажечникова, Воскресенского, Загоскина, Зотова, тут и «Тысяча одна ночь», арабские сказки, и «Странствования Телемака», «переложенные» на русский язык Захаровым в 1786 году, и «Филозоф английской» или «Житие Елевеланда, побочного сына Кромвелева», напечатанное в 1764 году; трудов писателей современных или мало, или совсем нет. Мы видели и такие библиотеки, где ничего нет, кроме старых журналов да десятков трех или четырех книг всех родов, начиная с «Духа законов» Монтескье и «Политической экономии» Молинари до «Поваренной книги» Авдеевой. Мы видели, наконец, библиотеки, где каталоги составлены с знанием дела; но книги… книги без переплетов, разбросаны, перепачканы, растеряны; в каталогах то и дело встречаются отметки: «такие-то части утеряны». В иных библиотеках нет даже никаких руководств для составления библиотек и управления ими. При таком положении дела, учреждение библиотек должно подвергнуться коренной реформе.

Реформа эта тем скорее может совершиться, чем менее общество будет рассчитывать на субсидии. Нужно только

небольшое усилие, небольшие пожертвования, да добрая воля идти по пути, однажды предначертанному, и библиотеки обновятся, составятся без субсидий.

Для благосостояния библиотек, кроме денежных средств, необходима определительная система составления библиотек и управления ими; а этого-то у нас во многих частях армии и нет.

Начальник одной пехотной дивизии, заботясь о составлении в подведомственных ему частях офицерских библиотек, в последовавшем по сему предмету распоряжении говорит:

> «При настоящей общей потребности умственного развития, и военное сословие выказало готовность принять меры к доставлению себе средств для развития и поддержания образования. Гг. офицеры, следуя только своему побуждению и потребностям, согласились в отдельных частях образовать библиотеки. Эта мысль так благотворна, такую может принести пользу, что остается только желать одного: дабы она нашла себе соответствующих исполнителей, которые со всем усердием к пользе общества принялись бы за это дело.
>
> Но при основании библиотек учредители впали, по неопытности, в ошибки. Самая главная из них, от которой могла бы потеряться цель основания библиотек, та, что на состав их, как видно из библиотечных каталогов, не везде обращено должное внимание. Офицеры, выбранные библиотекарями, не задали себе труда составить хотя какой-нибудь план для выписки книг, а потому приобретали первые попавшиеся под руку в книгопродавческих каталогах. От этого, вместо необходимых и полезных сочинений, долженствующих составлять библиотеки, в них встречаются: «Первоначальный способ изучения итальянских языков», «Тысяча анекдотов» и другие».

Это вступление довольно метко характеризует состояние наших полковых библиотек. Далее опытный администратор говорит:

> «Дабы общие офицерские библиотеки своим составом могли удовлетворять цели, необходимо устроить их на положительных к развитию и поддержанию образования вообще и военного по преимуществу направленных основаниях.
>
> Первою потребностью офицера в смысле умственных занятий, есть, конечно, познания, необходимые ему в

этом быту, т. е. познания военные. Поэтому на первом плаве при составлении библиотек в первом и главном их отделе должны быть сочинения военные. Выписка этого рода сочинений должна начаться с лучших учебников военных наук: тактики, фортификации, полевой и долговременной, артиллерии, стратегии и проч.

Затем следует приобретение сочинений известных военно-исторических авторов: Милютина, Бутурлина, Богдановича и других; потом биографии знаменитых военных лиц, как русских, так и иностранных; наконец, военных журналов. Вообще нельзя сказать, чтобы в настоящее время военная литература, даже собственно русская, была бедна хорошими произведениями, и самое звание офицера уже требует от него ближайшего с ними знакомства.

Ко второму отделу следует отнести книги, знакомство с которыми необходимо каждому образованному человеку, по предметам, которые найдут, можно сказать, вседневное применение в частной жизни офицеров, каковы: история, физика, химия, история русской литературы и проч. В этот отдел включаются: путешествия, биографии знаменитых людей, исторические записки лучших писателей и проч.

Наконец, третий отдел, для легкого чтения, должен заключать в себе: собрание произведений лучших русских писателей, лучшие литературные журналы, повести и романы русских и иностранных писателей и проч.

Здесь указано только основание плана, которому должен следовать библиотекарь, не стесняясь им и не следуя ему в буквальном смысле, но стараясь, по возможности и по средствам, распространять его. Не нужно, при выписке, следовать порядку нумеров в отделах, т. е. пополнять сначала первый, потом второй и т. д.; но необходимо постановить правилом, чтобы при всякой выписке книг к каждому отделу, прибывала какая-нибудь часть. Конечно, чтобы приохотить к чтению, следуем начать с приобретения книг для легкого чтения, потом уже пополнять и другие отделы.

Выпискою книг полезно вначале распорядиться таким образом, чтобы половина составленной офицерами суммы шла на выписку книг третьего отдела, а для прочих отделов по одной четвертой части суммы.

Можно утвердительно сказать, что при таких

условиях основанная библиотека удовлетворит всякому требованию и принесет несомненную пользу».

Относительно же составления библиотечной суммы, хранения и ведения о ней отчетности, а также избрания библиотекаря и поверки действий его генерал рекомендует правила, которые мы передадим в сжатом виде:

1) Сумма составляется, по добровольному согласию офицеров, вычетом из жалованья с каждого без исключения поровну, и если вклад будет по одному рублю в треть с каждого, то сумма сбора будет простираться до 200 рублей в год.

2) Сумма находится на хранении и в распоряжении полкового библиотекаря, который обязан вести три книги: 1) о приходе и расходе библиотечной суммы, 2) о выдаче офицерам книг и 3) каталог состоящим в библиотеке книгам.

3) Библиотека помещается или при полковой канцелярии, или при квартире библиотекаря, но в особом помещении, чтобы офицеры могли, если пожелают, заниматься и в библиотеке, имея под рукою атласы и прочие пособия.

4) Библиотекарь избирается всем обществом офицеров полка, и непременно из субалтерн-офицеров, и утверждается приказом по полку. При этом постановлено условие, чтобы библиотекарь предварительным образованием был приготовлен к занятию этой должности.

5) Библиотекарь освобождается от занятия других постоянных должностей и употребляется только для исполнения кратковременных служебных обязанностей. По получении вычтенных с офицеров денег, он составляет каталог книгам, подлежащим выписке, и представляет на утверждение командиру части. Он наблюдает, чтобы книги поступали в пользование офицеров не иначе, как в переплете. В случае же порчи или утраты книг, доносит для взыскания с офицера денег по стоимости книг.

6) Для обревизования действий библиотекаря и для поверки суммы, ежегодно, при тесных сборах полков, пред каждым новым выбором, назначается комиссия из одного штаб и шести обер-офицеров, которые, по сделании ревизии, о результате её составляют отчет и представляют командиру части. Отчет этот объявляется в приказе для всеобщего сведения.

Если бы во всех частях армии были хотя подобные руководства, то некоторые офицерские библиотеки не стояли бы теперь на такой низкой степени.

Библиотекарь — душа библиотеки. Он должен избираться непременно обществом офицеров; но в некоторых частях

библиотекари назначаются командирами, при чём интерес библиотек оставляется иногда на втором плане. Так, еще недавно, мы видели в одном полку управляющим библиотекою толкового священника; в другом заведовал библиотекою лекарский помощник. Бывают случаи еще поразительнее: в одной части войск, при офицерской библиотеке мы вовсе не нашли библиотекаря. Библиотека, уложенная по-походному в ящиках, стоит в полковой канцелярии, и если кому нужны книги, то обращаются к полковому писарю с просьбой отыскать их.

То же самое можно сказать и о способе пополнения библиотек. Расходы делаются не с целью пополнять отделы новейшими научными, историческими или беллетристическими сочинениями, соображаясь с каталогом и средствами библиотек, а так себе — или по существующей издавна рутине выписывать то, что выписывалось прошлый год, заменяя для разнообразия один журнал другим, или действуя по вдохновению… «Кажется, это выписать будет хорошо?» спрашивает библиотекарь у полкового льва. «Без сомнения — отвечает лев — я слышал в Петербурге: автор — талантливый господин». И вот на следующий год выписывается выбранное наугад сочинение, и все, за малыми исключениями, довольны: библиотекарь — что посоветовался со львом; лев — что к нему обращаются за советами; офицеры — что будут читать «талантливого автора».

Открываем библиотечную книгу одного полка и видим: в приходе за январскую и майскую трети с небольшим 100 р., текущая сентябрьская треть даст с чем-нибудь 50 р.; всего в приходе будет около 150 р. Посмотрим же, на какой предмет употреблена эта сумма.

По приходу значится:

а) На выписку газет, журналов и других изданий — 127 руб. 56 коп.

б) За перевозку библиотеки при передвижении полка из N в NN — 4 руб. 50 коп.

в) На укупорку — 1 руб. 20 коп.

г) За перевозку библиотеки при передвижении полка из NN в NNN — 22 руб. 20 коп.

Итого в расходе — 155 руб. 46 коп.

Следовательно, годовая подписная сумма почти вся в расходе; остаток самый малый.

Теперь полюбопытствуем, что приобрела библиотека за 127 р. 56 к.

По книге значатся выписанными:
5 журналов — 68 руб. 50 коп.
2 газеты — 31 руб. 00 коп.
Разные издания:
«Месяцеслов» — 1 руб 15 коп.
«Оружейный Сборник» — 6 руб. 50 коп.
«Памятная книжка» — 2 руб. 65 коп.
Приказы: Высочайшие, военного министра и циркуляры инспекторского департамента — 16 руб. 00 коп.
На пересылку денег при выписке — 1 руб. 76 коп.
Итого: — 127 руб. 56 коп.

Пополнять библиотеку исключительно периодическими изданиями нерационально. Отражая в себе современную жизнь, журналы не могут заменить собою таких книг, значение которых остается неизменным на многие годы. Конечно, есть и в журналах статьи капитальные, никогда не утрачивающие своего достоинства; но дело в том, что выписанные журналы остались без переплета, и через год от них останутся одни остовы, по которым нельзя будет определить даже того, к какому году они принадлежат. От газет же, приказов и циркуляров не остается ничего. Издания эти потребовали от библиотеки, как мы видим из расчета, более одной третьей части всей суммы, употребленной на выписку, и не принесли обществу пользы. Газеты, как известно, имеют интерес дня: какую же пользу они могут приносить офицерам, квартирующим всю зиму по деревням, верстах в 20–50 от полкового штаба? Да и в самом полковом штабе они читаются только в небольшом кружке так называемых «чиновников полкового штаба». Приносятся газеты, большею частью, прямо с почты на дом к полковым командирам; там они читаются и лежат до следующей почты, потом отсылаются с прочими бумагами в полковые канцелярии… и исчезают. Впрочем, новый или старый номер газеты иногда можно еще встретить в полковой библиотеке; но приказов и циркуляров ни в одной из библиотек находить нам не случалось, хотя они, как мы видим по расходу библиотечной суммы, иными библиотеками и выписываются. Цель подобной выписки для нас непонятна… Мы знаем только то, что все вообще приказы высылаются войскам *бесплатно*. Желающие же получать приказы передовые, т. е. тотчас по отпечатании, выписывают другой экземпляр, но выписывают на счет суммы, отпускаемой *на канцелярские расходы*.

Выписывая одни периодические издания да приказы, библиотека, быть может, имела к тому основания. Её отделы научный, исторический и беллетристический полны и богаты?

Берем каталог и проверяем. В отделе военных наук и математики находим: «Курс элементарной геометрии», Винцента, 1832 г.; «О военных действиях», Жомини, 1809 г.; «Военно-энциклопедический лексикон», «Руководство к артиллерии», Силича; «Аналитику», Жомини; «Опыт фортификации», Бусмара, 1818 г.; «Теорию стратегии», Языкова; «Теорию партизанских действий» Давыдова; «О военной съемке», Дюиси-де-Монтесона, 1814 г.; «Тактику» Медема; «Историю военного искусства древних народов», Зедделера; «Фортификацию», Теляковского; «Военную историю государства российского до кончины Петра III»; «Записки маршала Сен-Сира»; «Артиллерийские записки», Резвого; «Математику», Лакроа, 1823 г.; «О крепостных работах», 1843 г.; «О продовольствии войск», Затлера, часть вторую. Итого 18 сочинений. Отдел истории заключает в себе 49 сочинений; между ними первое место принадлежит «Истории Карамзина», доведенной до 1612 года, издания 1833 г. Затем следуют: «Русская история», Глинки, 1825 г.; «Двадцатипятилетие Европы», Зотова, 1841 г., и в заключение «Всеобщая история», аббата Милота, 1820 г… тоже отдел богатый! В отделе естественных наук 20 сочинении; в отделе правоведения, политики и политической экономии 10 сочинений; в отделе словесности 42 сочинения. В том числе мы находим: «Учебник словесности», Греча; «Мазепу», Булгарина; «Аббаддонну», Полевого, и другие редкости. Вот и вся библиотека! Есть, кажется, о чём позаботиться, пополнить; но своеобразные взгляды библиотекаря решают дело иначе: деньги расходуются и библиотека богатеет лишь журнальными остовами.

Мы не восстаем безусловно против выписки в библиотеки журналов и газет, мы полагаем только, что всему должна быть мера, во всём должна преследоваться предвзятая идея… Мы замечаем, библиотеки не пополняются потому, что выписываемые периодические издания и книги гибнут без переплетов… Мы хотим сказать, что выписку газет полковые командиры могли бы принять на свой счет, а выписку приказов даже *обязаны*.

Мы не восстаем безусловно и против *субсидий*: содержание офицеров, вследствие повсеместной дороговизны на все почти предметы потребления, до того невелико, что каждый рубль, при получении ими третного жалованья, учитывается: лишних нет; следовательно, субсидии в деле возрождения и безотлагательного пополнения библиотек новыми сочинениями по всем отделам действительно необходимы… но необходимы, повторяем, в деле *безотлагательного пополнения* библиотек новыми сочинениями *по всем отделам*. Мы позволяем себе сказать, что благое дело реставрации и пополнения библиотек только тогда достигнет

предполагаемой цели, когда общество офицеров, которому принадлежат библиотеки, отрешившись от пагубного равнодушия к собственным интересам, приступит к делу с решительным намерением служить ему по мере сил и знаний. В противном случае, никакие субсидии не помогут: библиотеки наполнятся, но читать, по-прежнему, будет нечего.

Мы убеждены, что общество офицеров может восстановить библиотеки своими средствами. Пусть оно только изберет систему пополнения библиотек и распоряжения ими, пусть эта система будет основана на началах самоуправления и контроля действий библиотекаря обществом, библиотеки станут современны на ту степень благосостояния, о которой теперь еще немногие мечтают. С принятием системы явится доверие к учреждению и общество даст средства, которые теперь, видя бесполезную затрату жертвуемых им денег, давать не решается.

Не все офицерские библиотеки и теперь бедны средствами. В некоторых полках они имеют запасные капиталы, под именем «библиотечных сумм». Суммы эти представляют цифры от 200 до 500 и более рублей. Из этих денег общество может сделать прекрасное употребление. Кроме того, никто из офицеров, мы убеждены в том, не отказался бы, вместо одного рубля, которым он теперь жертвует ежетретно без убеждения в разумном его употреблении, взносить на библиотеку в продолжение трех или четырех лет по два рубля в треть. Затем взносы могли бы войти в обычную колею. На рациональный состав и пополнение библиотек потребуется от 9 до 12 рублей от каждого офицера. Внести эти деньги в течение трех или четырех лет никто не пожалеет, лишь бы. общество было уверено, что жертва не будет напрасною.

Возрождению офицерских библиотек, мы полагаем, будут содействовать также и некоторые из просвещенных наших книгопродавцев. Стоит только обратиться к ним с предложением, и они, конечно, не откажутся снабжать полковые библиотеки, по выбору, книгами в кредит, с тем, чтобы ежегодно уплачивалась им известная часть суммы.

Итак, но нашему мнению, обществу принадлежит честь инициативы дела. Пусть оно изберет из среды своей, с разрешения начальства, разумеется, нескольких членов и составит из них в полках комиссии для изыскания средств к улучшению состояния полковых офицерских библиотек. Пересмотреть каталоги и исключить из них хлам, напрасно занимающий место, избрать систему составления библиотек и управления ими, дать инструкцию библиотекарю и указать на средства, которые потребуются от общества для приведения

библиотек в цветущее состояние — такова будет обязанность комиссий. Выработанные комиссиями проекты, по рассмотрении обществом офицеров и утверждении начальством, скоро подвинут дело вперед. Заметим при этом, что, для усиления библиотечных сумм, было бы справедливо допустить к участию в подписке на библиотеки полковых врачей, капельмейстеров, священников, а также юнкеров и вольноопределяющихся. Теперь лица эти, не делая никаких взносов, пользуются однако книгами из полковых библиотек. Допущение их к участию в подписке доставляло бы полковым библиотекам лишнего сбора, при существовании теперешних рублевых только взносов, от 75 до 90 рублей ежегодно.

Как погибли мои «Беседы»



После крымской войны, когда правительство и интеллигентная часть русского общества пришли к убеждению в необходимости распространения в массе народа и солдат образования и, по мере сил, содействовали его осуществлению, — известный беллетрист, бытописатель и иллюстратор солдатско-крестьянской жизни, Александр Федорович Погосский, основал два небольшие, тождественные по содержанию, журнала, из которых один назывался «Народною», а другой «Солдатскою» беседой.

Благодаря таланту основателя, повести и рассказы которого читались нарасхват, предпринятое им издание сразу стало на твердую почву и в непродолжительное время достигло высокой степени развития: в начале шестидесятых годов оно имело уже до 14 000 подписчиков.

Но 1863 год оказался неблагосклонным к Александру Федоровичу. Он заболел и должен был отправиться, для излечения болезни, за границу на довольно продолжительное время, а любимое свое детище — маленькие журнальцы передать в другие руки, именно в руки своего приятеля, известного врача-гомеопата Василия Васильевича Дерикера.

Новый издатель-редактор в литературном мире был человек пришлый, скорее дилетант, чем писатель (друг и почитатель Сенковского, поместивший «нечто» или «что-то» в его «Библиотеке»); издательское дело он знал плохо; при том же, имея много занятий по своей профессии, не мог отдаться всецело приобретенным им случайно журналам. Иметь постоянных сотрудников, ответственных за отделы, — он не считал нужным, а случайные не могли иметь влияния на успех издания. Последствием подобного положения дела было полнейшее фиаско: в два, три года, число подписчиков, несмотря на отсутствие серьезных конкурентов изданию, упало до 6000.

Сознавая невозможность издавать свои «Беседы» при таком незначительном числе подписчиков[37], Дерикер попытался было поднять их значение помещением в них, в виде полезных статеек, разных своих врачебно-практических советов, обещанием давать подписчикам не по шести, а по двенадцати книжек в год и, наконец, изданием особого приложения: «Календарь Бесед». Но все эти издательские потуги не только не подняли подписки, но, напротив, уронили ее окончательно: на 1867 год, обе «Беседы» имели только 3129 подписчиков.

Такой печальный исход столь блистательно начатого дела окончательно обескуражил Дерикера. Он упал духом и стал задерживать выпуск книжек. В августе 1867 года, у него было выпущено, вместо восьми, только четыре книжки. Денежных средств на выдачу остальных восьми книжек в наличности не имелось. Издать эти книжки в кредит значило бы обременить издание 1868 года, значительным долгом, а на увеличение подписки рассчитывать едва ли было возможно, и вот Дерикер, по зрелом размышлении, решился продать свои «Беседы».

Я был знаком с Дерикером, печатался у него и, зайдя как-то к нему в конце лета 1867 года, нашел его в страшном горе от разных неудач, которых у него, кроме неудачи по изданию, как нарочно в то время скопилось довольно. Слово за слово, мы разговорились, посетовали, потужили о безвыходном положении наших первых пионеров в деле народного образования, и я уже сбирался было уходить, как вдруг Дерикер поднялся с места, прошелся медленно по кабинету и, остановись против меня, сказал: «я решился продать мои «Беседы» — не купите ли вы их, или не найдете ли мне покупателя»? Меня застигло врасплох подобное предложение, я не мог ничего ответить и сказал только, что об этом нужно подумать серьезно.

Спустя неделю, мы опять свиделись и говорили об условиях передачи журналов, но условия эти казались мне такими тяжелыми, что я расстался с Дерикером без всякой надежды на успех дела. Однако, разумные доводы восторжествовали, Дерикер пошел на уступки, и в одно прекрасное утро мы ударили по рукам. Он передавал мне свои редакторские и издательские права и старый хлам, т. е. журналы за прежние годы и отпечатанные особыми брошюрами некоторые статейки. Я же должен был удовлетворить подписчиков 1867 года, т. е. выдать в этом году восемь книжек «Бесед», уплатить ему при заключении условия 1000 руб. и затем, в продолжение трех лет, платить ему известный процент чистой прибыли, но в общем итоге за все годы не менее 3000 руб.

10-го сентября, утром, я отправился к помощнику начальника

Главного штаба, свиты его величества генерал-майору Мещеринову, просить разрешения на издание купленных мною «Бесед», так как я состоял на службе в Главном штабе, в его ведении. В 11 часов он меня принял.

— Что вы скажете?

— Осмеливаюсь беспокоить, ваше превосходительство, по собственному делу.

— По какому?

— Прошу вашего разрешения и покровительства в таком деле, которое может сделаться источником моего благосостояния.

— Объяснитесь.

— Вашему превосходительству небезызвестно, что у нас издается несколько журналов для народа и солдат. Дела издателя одного из этих журналов, именно «Солдатской Беседы», Дерикера, пришли в расстройство. Поэтому он предлагает мне принять издание.

— Что ж вы хотите? — перебил меня генерал — субсидии?… Откуда я вам ее возьму?

— Нет, ваше превосходительство, я не прошу субсидии, я прошу разрешения и нравственной поддержки.

— Я ничего не могу вам сделать — не в моей власти…

— Если Погосский был обязан многим генералу Обручеву, так позвольте мне быть обязанным вам всем…

— Я сделал Погосскому больше, чем Обручев — опять перебил меня генерал — да дело не в том… Его изданию нельзя было не сочувствовать: он — известный писатель и пользуется репутациею.

— Да, если его повести и составляли лучший отдел журнала, зато прочие отделы не соответствовали…

— Повести, — еще раз перебил меня генерал, — составляют лучшее средство для образования народа, он читает их и поучается.

— Позвольте, ваше превосходительство, доложить вам, что народу нужны не одни повести. Я предполагаю дать журналу более серьезное направление, печатать, например, объяснения значения новых мировых судов, земских учреждений, что необходимо знать крестьянину, затем…

Но живой, подвижный генерал снова перебил меня.

— Да, что народ поймет из ваших книжек! Он скорее поймет, если ему объяснят это на словах… Читать он не умеет, а писаря не захотят делиться с крестьянином теми сведениями, которые составляют их профессию… Впрочем, дело не мое, издавайте, что знаете, только я не могу понять, чем я то могу быть вам полезен?

— Мне нужно разрешение на право издания.

— Об этом нужно просить графа[38]. Только граф едва ли вам разрешит…

— Я надеюсь на вас, ваше превосходительство, быть может вы примете на себя труд доложить о моей просьбе графу.

— Да, конечно, я буду говорить с ним. Но я должен признаться, затрудняюсь… Вы займетесь своим журналом, а дела по должности будут лежать.

— Ваше превосходительство, я обещаю вам быть таким же исправным чиновником, как и теперь… Ведь я не буду один заниматься журналом, найдутся сотрудники.

— Всё же надо прочитывать, надо исправлять, надо, наконец, и направление дать журналу… как будто это пустяки…

— Ваше превосходительство, у вас, в штабе, и в настоящее время находятся на службе чиновники, которые известную часть времени посвящают казенному делу, а потом работают или для журналов, или для частных компаний…

Генерал не утерпел и горячо перебил меня:

— За то и дела лежат, бумаги накопляются, исполнения нет, граф недоволен… Нет! я с ними скоро принужден буду расстаться.

— Не все же таковы, ваше превосходительство: при известной добросовестности, я полагаю, можно быть и хорошим редактором, и хорошим чиновником вместе; впрочем, ваше превосходительство, вы увидите.

— Хорошо-с!.. Только вы должны просить графа, подайте ему докладную записку завтра утром, если он примет вас; впрочем, я дам вам знать.

В эту минуту вошел дежурный и доложил, что начальник Главного штаба просит его превосходительство к себе.

— Хорошо, скажи, что приду. — Затем, обратясь ко мне, продолжал, — но помните, субсидий — никаких! Что же касается до нравственной поддержки изданию, то она будет заключаться только в рекомендации журнала войскам циркуляром. Но и это зависит от Совещательного комитета, где я имею голос наравне с другими, следовательно, решение зависит не от меня. Я могу засвидетельствовать, что вы — человек способный, дельный… но относительно издания, я, не видев его, ничего сказать не могу. Да и комитет не может приступить к обсуждению не видя ну хоть первой вашей книжки.

— Представлением книжки я не замедлю, ваше превосходительство, но я не могу начать печатания, не получив разрешения от главного управления по делам печати, куда я еще не подавал прошения, не получив вашего дозволения.

— Ну, так просите завтра графа. Я же, с своей стороны,

обещаю вам мой голос в комитете, если издание будет того заслуживать, понимаете?..

— Дело будет говорить за себя.

— Ну, хорошо, прощайте, — сказал генерал и откланялся.

Я вышел с облегченным сердцем: кому из служивших в Главном штабе не было известно, что если генерал Мещеринов на что-нибудь согласится, препятствия к тому со стороны графа Гейдена не будет. Первое препятствие было мной устранено, и я, чтобы не терять времени, отправился к Евгению Александровичу Погожеву, моему сотоварищу и доброму другу, человеку состоятельному, служившему тогда в Главном инженерном управлении. Накануне я с ним переговаривался о совместном издании «Бесед», но он, барич по рождению и привычкам, не пожелал обременять себя излишним трудом, хотя от материальной поддержки не отказывался. Теперь я спешил к нему с хорошей вестью об удаче у начальства. День был воскресный, утро позднее, но Погожев, после какой-то субботней пирушки, еще спал; пришлось обождать. Наконец, он вышел, попенял, зачем я не велел его разбудить, расспросил обо всём, касающемся издания, и обещал внести от себя в дело пай в 1000 руб. и дать мне заимообразно, если будет нужно, на вексель, 1000 руб. Этого было более, чем достаточно. Дело подвигалось вперед.

На утро, придя пораньше в Главный штаб, я начернил докладную записку графу Гейдену и отдал писарю переписать. Между тем, генерал Мещеринов в 10 часов был уже в штабе и, подойдя ко мне, осведомился: «являлся ли я графу?»

— Нет еще, ваше превосходительство, докладная записка переписывается.

— А вы не могли приготовить ее заблаговременно, — сухо заметил генерал, — опоздаете и граф не примет вас.

Чрез несколько минут я входил в кабинет графа; он сидел за письменным столом и просматривал бумаги. Взглянув на меня, он быстро повернулся ко мне и сказал громко:

— А, здравствуйте, пожалуйте сюда, садитесь, пожалуйста, что вы?

— Позвольте представить вашему сиятельству докладную записку с просьбой о разрешении мне принять звание и обязанности редактора издателя «Солдатской Беседы».

— На каких условиях вы принимаете издание?

Я объяснил условия.

— Ваши сотрудники?

— Редакция еще не сформировалась, но я полагаю пригласить людей, горячо сочувствующих делу народного образования.

— Очень рад! Но это, надеюсь, не будет мешать исполнению ваших служебных обязанностей.

— Постараюсь, ваше сиятельство, не подавать повода к жалобам на себя. Вся моя жизнь была посвящена труду, не думаю, чтобы я мог измениться теперь.

— В таком случае с моей стороны нет препятствия.

Потом, прочитав поданную мною докладную записку, граф положил на ней резолюцию: «согласен» и, отдавая мне, сказал: «отнесите Григорию Васильевичу[39] и попросите его сделать что нужно».

— Могу ли, ваше сиятельство, просить вас о покровительстве моему журнальцу.

— Всё, что будет от меня зависеть — обещаю сделать, если издание ваше будет того заслуживать. Прощайте, желаю вам успеха.

Иду к генералу Мещеринову, передаю ему записку и приказание начальника штаба. Весело взглянул он на меня. Я понял этот взгляд и стал благодарить его за оказанную поддержку моему сирому приемышу. Он рассмеялся и сказал: «идите в канцелярию и скажите Колоколову (правителю канцелярии), чтобы приготовил что нужно.

На другой день мне выдали, за подписью графа Гейдена, для представления в Главное управление по делам печати, свидетельство следующего содержания: «К принятию на себя чиновником Главного штаба, поручиком Мартьяновым, звания и обязанностей редактора журналов «Народная Беседа» и «Солдатская Беседа» — со стороны начальства препятствия не имеется; в нравственном же и политическом отношениях он может быть аттестован как человек вполне благонадежный».

15-го сентября, я заключил с Дерикером нотариальное условие о передаче мне издательских и редакторских прав на «Беседы», и заплатил ему условленную тысячу рублей. В тот же день я обедал у моего приятеля, Порфирия Ассигкритовича Климова, служившего при статс-секретаре Буткове. Начальника Главного управления по делам печати, сенатора М. Н. Похвиснева, в то время в Петербурге не было, он находился в отпуску заграницей. Должность его исправлял сенатор Турунов. Находясь с ним в хороших отношениях, Климов вызвался поехать к нему со мною вместе и познакомить нас. Кроме того, водя хлеб-соль с известным книгопродавцем Иваном Ильичём Глазуновым, он обещал мне устроить печатание журналов в его типографии, на выгодных для меня условиях и, если будет нужно, открыть мне кредит.

Выбрав свободное утро, Климов поехал со мной к Турунову.

Он встретил Порфирия Ассигкритовича с распростертыми объятиями, без церемонии, по-домашнему. Усадив в кабинете на диване, Турунов спросил его: «какие ветры занесли вас ко мне?»

Я ожидал в приемной и слышал громкие раскаты его голоса. Когда меня пригласили в кабинет, Климов церемонно раскланялся и повел такую речь:

— Позвольте, ваше превосходительство, представить вам неофита прессы, только что слепленного из глины редактора Дерикеровских «Бесед»; он еще не обожжен, поэтому если милость ваша будет, поберегите, не сломайте его.

— О! хо, хо, хо! — засмеялся Турунов, — за кого вы нас принимаете? Разве мы ломаем, — мы бережем и лелеем детей мысли, не хуже всякой мамки.

— Знаю, знаю я вашу заботливость, — засмеялся в свою очередь Климов, — ваши мамки так затягивают свивальники, что бедным детям мысли куда как плохо приходится.

— Ну что вы! что вы! — отшучивался Турунов и, обратясь ко мне, спросил: — а ваши бумаги готовы?

— Готовы, ваше превосходительство.

— Ну и прекрасно! дайте их сюда, я их помечу, а вы отвезите и отдайте их в Главном управлении правителю дел Капнисту, пусть он исполнит их.

Я стал просить его принять участие в скорейшем разрешении моего ходатайства, так как сентябрь был во второй половине, а мне нужно было выдать восемь книжек.

— О, не беспокойтесь! Главное управление не задержит, всё вам сделает и скоро, и хорошо.

— А как это понять: скоро? — вмешался Климов: — у вас если говорят: «скоро» — то это значит: год, а «экстренно»— полгода.

— Не нападайте на нас, Порфирий Ассигкритович, — возразил Турунов, — Главное управление действует теперь энергично.

— Энергично! это сколько же потребует времени? — продолжал Климов: — по всей вероятности, никак не менее трех месяцев…

Турунов защищал Главное управление, устраняя свою личность, как будто он был совершенно непричастен к делам печати. Это, казалось мне, звучало как-то фальшиво, особенно в устах человека, управлявшего ведомством. Значит на него надеяться нечего, и с этими мыслями я направился к Капнисту.

Долго заставил дожидать себя в приемной Главного управления могущественный правитель канцелярии. Наконец, он соизволил выйти. Это был сам Юпитер громовержец. Его походка,

взгляды, интонация голоса — всё напоминало «человека белой кости», ничего общего с нами простыми смертными не имеющего. Он небрежно окинул меня взглядом и еще небрежнее спросил:

— А, это вы желали меня видеть? что вам угодно?

Я подал ему мое прошение, сказал, что представлялся генералу Турунову, что он прочитал мои бумаги и просил передать их ему для исполнения.

— Для исполнения! — повторил с саркастической улыбкой Капнист: — очень хорошо!.. будет исполнено… и, повернувшись на каблуках, направился к своему седалищу.

Я за ним — когда могу узнать о разрешении?

— Вам сообщат по месту жительства, чрез полицию, — буркнул он как-то через плечо на ходу и скрылся.

Такой прием не предвещал ничего доброго, но я тогда верил в силу слова начальства и, улыбнувшись ему вслед, вышел.

Дальнейшие мои хлопоты заключались в устройстве хозяйственной части журналов и сформировании редакции.

20-го сентября, я виделся с И. И. Глазуновым, типографию которого рекомендовал мне Климов. Почтенный коммерсант принял меня чрезвычайно вежливо, но не сердечно. Было видимо, что он брал мое дело неохотно; но, в виду рекомендации Климова, отказаться не хотел. Расспросив: какое число экземпляров я предполагаю печатать, сколько книжек думаю выпустить в этом году, какой сорт бумаги нужно употребить для них, он высчитал, что всё дело в 1867 году потребует до 5000 рублей. Потом, видя мое изумление, прибавил, что, во внимание просьбы Порфирия Ассигкритовича, мне будет сделан в типографии небольшой кредит до новой подписки. Я поблагодарил его, но сделанная им смета меня сильно обеспокоила; ведь, кроме печатания, нужно было еще много денег на редакцию и сотрудников. Я решился переговорить с другими типографщиками.

Образование редакции, вполне отвечающей целям издания, духу времени, потребностям цензуры и вкусами читателей, составляло одну из серьезных задач. На первое время я пригласил в число ближайших сотрудников моих приятелей двух братьев А. А. и С. А. Ольхиных, бывшего профессора Н. Ф. Павлова, недавно вернувшегося из какой-то дальней окраины, куда он был административно выслан за несколько фраз, сказанных им на одной публичной лекции и, Бог весть почему, найденных вредными, Е. П. Карновича, П. А. Зарубина и г. Кушакевича. Взгляд этих лиц на народное образование был мне, более или менее, известен и совпадал с моим. Так как я жил тогда в маленькой квартирке, нанимаемой у чиновника Сердюкова, в

Боровой улице, то мы собирались по воскресеньям у Ольхиных, которые занимали довольно большую квартиру недалеко от меня, у пяти углов, и там обсуждали программу и направление будущего журнала, отлагая, впрочем, окончательное решение всех вопросов до получения разрешения на издание «Беседы».

Но разрешение затянулось. Прошёл сентябрь, прошёл октябрь, никакого ответа не дают. Прихожу в Главное управление по делам печати, никто ничего не говорит мне; Капнист, под предлогом множества занятии, не выходит. Наконец, как-то ловлю его в приемной.

— Позвольте узнать: в каком положении мое дело? — обращаюсь к нему.

— Мы не получили еще о вас справки из III-го Отделения.

— На что вам справка, когда мое начальство, лучше знающее меня, чем кто-либо, выдало мне свидетельство о нравственной и политической благонадежности?

— Такие уж у нас порядки, — процедил он в ответ сквозь зубы и как-то бочком юркнул за дверь.

— Что делать! что делать! — восклицал я, сидя у Климова, — ведь это полнейшее разорение. Вот уже ноябрь, а выйдет разрешение будет декабрь — когда же я успею издать восемь книжек? когда я сделаю объявления на будущий год? Это, без сомнения, Капнист нарочно затянул, чтобы насолить мне!

— Успокойся, пожалуйста, — отшучивался Климов, — причём тут Капнист! копнись ты сам лучше в деле, тогда что-нибудь и выйдет. Сходи в III-е Отделение и узнай.

— Да я там никого не знаю.

— Постой, мы пошлем туда Родионова, он там кое с кем знаком и может разузнать в чём дело.

Родионов, Александр Николаевич, был его товарищ, человек знакомый со всеми и везде. Явясь, по зову Климова, и выслушав поручение, он отправился в III-е Отделение, но там случайно попал на самого статского советника Горемыкина, заведывавшего секретною частью, получил выговор и приказание: «прислать меня к нему для личных объяснений».

Являюсь в III-е Отделение, сижу между голубыми мундирами час и более, — зову нет. Прошу доложить — говорят, что занят. Посылаю г. Горемыкину мою визитную карточку, на которой написал, что я уволен моим начальством только на один час, сижу у него полтора часа, и если ему невозможно принять меня, то я явлюсь в другое время, а теперь должен отправиться на службу. Посланный возвратился с приглашением пожаловать в кабинет. Вхожу. Сидит господин довольно приличной наружности, с ленточкой Владимира в петлице. Кланяюсь.

— Здравствуйте! — обратился ко мне Горемыкин — это вы посылали чиновника Родионова за справкой?

— Я.

— Как же вы осмелились разведывать государственные тайны?

— Никаких государственных тайн я не посылал разведывать, а послал за справкой, почему III-е Отделение не отвечает на запрос лично обо мне Главного управления по делам печати, и послал с разрешения моего начальства, так как мне самому, как состоящему на службе, сходить было некогда.

— Кто вам сказал о сделанном нам запросе?

— Правитель дел главного управления по делам печати Капнист.

— Он не имел права вам этого говорить, а вы проверять его слова. Справка, о которой идет речь, составляет секрет.

— Для вас — да! для меня — нет! Ничего дурного сказать вы обо мне не можете: в политических демонстрациях я не участвовал, под надзором полиции не состою, к тайным обществам не принадлежу, образа мыслей, опасного для общества или для правительства, не придерживаюсь, по суду неопорочен, служба безупречна, поведение — вполне достойное офицера и гражданина. И всё это подтверждено в свидетельстве, выданном мне начальником Главного штаба и представленном мною в Главное управление по делам печати. Какие же, после этого, могут быть у вас секреты обо мне? Я не только к вам, но и к государю могу идти и просить, что мне нужно.

— Всё это очень хорошо, но вы затеваете издавать журнал, вы не одни будете издавать, у вас будут сотрудники?

— Да, будут.

— Кто именно, позвольте узнать?

— Мировой судья Ольхин, его брат, служащий в министерстве финансов, из литераторов: Павлов, Карнович, Кушакевич, Зарубин и другие.

— Это всё люди либерального образа мыслей, а Павлов даже был выслан. Вращаясь в среде подобных людей, вы легко могли проникнуться дурными идеями; нам нужно узнать это всё.

— Узнать было довольно времени, вы держите справку почти два месяца, а это меня разорить может.

— Позвольте, вы слишком себе позволяете… Только я один могу судить, сколько мне нужно времени для наведения справок о вас и ваших будущих сотрудниках… При таком образе мыслей, вы едва ли можете быть полезным руководителем народа и солдат.

— Предоставьте это знать моему начальству.

— Но!.. довольно!.. можете идти!..

Я отправился к начальнику Главного штаба и передал ему весь разговор мой с Горемыкиным. Он выслушал меня внимательно и сказал — «Михаил Николаевич Похвиснев кажется уже приехал, скажите в канцелярии, чтобы написали ему от меня письмо о вас».

16-го ноября, граф Гейден писал Похвисневу следующее:

> «Во вверенное вам управление поступило ходатайство состоящего при Главном штабе поручика Мартьянова об утверждении его в звании редактора журнала «Солдатская Беседа». Признавая необходимым, чтобы во главе издания, предназначенного для нижних чинов, стоял человек, хорошо знающий быт солдата и его потребности, энергический и способный, могущий придать журналу соответственное видам военного министерства направление, и причисляя к разряду таких лиц поручика Мартьянова, я долгом поставляю обратиться к вашему превосходительству с покорнейшей просьбой: не признаете ли возможным ускорить утверждением помянутого офицера в звании редактора и о последующем почтить меня уведомлением».

Вместе с тем, граф Гейден доложил о моем деле военному министру и, по приказанию последнего, было написано письмо к военному цензору, генерал-лейтенанту Штюрмеру, о содействии к скорейшему разрешению моего ходатайства.

Письмо к Похвисневу наутро я отвез и вручил Михаилу Николаевичу лично. Он вышел ко мне заспанный, в халате. Прочитав письмо, приложил руку ко лбу и, подумав немного, сказал:

— Не помню!.. кажется, такого представления у нас не было… впрочем, я прикажу справиться. Что окажется — уведомлю, или лучше, пойду гулять, сам зайду к графу Федору Логгиновичу, так и скажите ему.

Генерал Штюрмер, от 19-го ноября, отвечал: «Дело об утверждении редактором «Солдатской Беседы» известного и мне, по своим литературным способностям, поручика Мартьянова еще не решено, но начальник Главного управления цензуры принимает в просьбе г. Мартьянова живое участие и надеется устранить препятствия к удовлетворительному его решению».

Из письма этого оказалось, что возникли какие-то препятствия. Но какие? Откуда? Со стороны ли Горемыкина, или Капниста, — я не знал, как не знал и того, чем помочь делу, так неожиданно подорванному в самом начале. До конца года

оставался один месяц: сотрудники, ввиду затруднений со стороны цензуры, не знали, к какому времени нужен будет материал для журнала и один за другим отказывались. И. И. Глазунов нашел положительно невозможным отпечатать в декабре все восемь книжек. «Всё, что можно сделать, — прибавил он, — это напечатать две книжки, и то если нужный материал будет доставлен в начале декабря». Благоприятное для подписки время уходило. Объявления о подписке, обыкновенно, начинают делать с октября, дабы подписчики могли заблаговременно знать о выходе журналов и подписаться. Начать же подписку в декабре — значило бы потерпеть полнейшую неудачу, так как подписчики, в особенности части войск, на которые я более всего должен был рассчитывать, большею частью, подписку уже сделали. Положение становилось критическим; но я всё еще ждал, не теряя надежды, разрешения.

Но вот прошел ноябрь и наступил декабрь, а разрешения нет, как нет! Начальство, встречаясь со мной, осведомлялось и покачивало головой, товарищи подсмеивались. Единственной отрадой в это тяжелое для меня время было личное представление мое военному министру, генерал-адъютанту Милютину.

Дмитрий Алексеевич навещал иногда графа Гейдена, имевшего квартиру в здании главного штаба. Он прямо проходил к нему в кабинет, беседовал, а изредка поднимался на верх и посещал главный штаб.

Кстати, мне припомнился один курьезный случай.

В приемной графа дежурил молодой офицер, прикомандированный к штабу для зачисления на должность чиновника для поручений. Не знал ли он министра, или хотел выдвинуться особой пунктуальностью службы, только, когда генерал Милютин, войдя в приемную, направился прямо в кабинет графа, он загородил ему дорогу и внушительно проговорил: «Позвольте, ваше высокопревосходительство, к графу нельзя входить без доклада».

— Как нельзя! — возразил озадаченный министр: — да разве вы меня не знаете? я — военный министр…

Офицер сконфузился, но захотел выдержать характер до конца и отвечал: — «всё-таки, ваше высокопревосходительство, позвольте доложить».

Генерал-адъютанту Милютину пришлось отойти к окну и стать как бы в положение просителя. Но не прошло и двух минут, как двери кабинета распахнулись и граф Федор Логгинович, весь красный от волнения, бросился к министру с извинениями.

— Вот как, граф, — заметил ему Дмитрий Алексеевич, —

нынче ваши адъютанты меня уже не узнают.

Бедный поручик на другой же день был отчислен в полк.

Но возвратимся к моим «Беседам».

В одно из таких посещений министром главного штаба, когда он проходил чрез наше отделение в ученый комитет, он был остановлен графом у моего стола.

— Вот, ваше высокопревосходительство, тот офицер, — сказал граф, — о котором я вам докладывал. Он приобрел от Дерикера право на «Солдатскую Беседу» и теперь хлопочет об утверждении его в звании редактора.

Дмитрий Алексеевич подал мне руку и спросил:

— Ну, что же, как у вас идет дело?

Я было стал развивать картину возникших затруднений, но он перебил меня:

— Да, я знаю… но всё же есть надежда, что вы получите желаемое.

Я молчал.

— А я испросил, — продолжал министр, — по просьбе Дерикера, на удовлетворение ваших подписчиков пособие.

Не зная ничего о просьбе Дерикера, я счел долгом поблагодарить Дмитрия Алексеевича за его покровительство изданию и, когда он ушел, бросился в канцелярию за справкою. Оказалось, что Дерикер получил уже ассигнованное журналу пособие.

Перед праздником Рождества, в виде подарка на ёлку, я получил, чрез полицию, уведомление главного управления по делам печати, что ходатайство мое об утверждении меня в звании редактора «Бесед» уважено быть не может. Причин отказа не приведено.

На утро, граф Гейден, вероятно, получивший подобное же уведомление, пригласил меня к себе и с участием спросил:

— Вам отказали?

— Отказали, ваше сиятельство.

— Что же вы намерены предпринять?

— Выждать время… я так поражен отказом, что теперь ничего не могу сообразить.

— Очень жаль!.. но что делать!.. впрочем, если что-нибудь надумаете, обратитесь к Григорию Васильевичу, он мне доложит…

И искренно, с видимым сочувствием к моему горю, пожал мне руку.

Таков был финал злополучной попытки возобновить издание «Бесед». Но я не отчаивался поправить дело. Летом 1868 года, я думал возобновить мое ходатайство, с тем, чтобы начать издание

в 1869 году. Но человек предполагает, а Бог располагает. А. Ф. Погосский вернулся из-заграницы и основал, в 1868 году, новый журнал «Досуг и Дело». Издание это, в первый же год своего существования, приобрело более 5000 подписчиков. Конкурировать с таким талантливым издателем, как Погосский, при существовании еще журнала Гейрота, было трудно, и я счел за лучшее отложить возобновление «Бесед» до более благоприятных времен.

Но долго еще друзья-товарищи посмеивались над моим редакторством. Один остроумный карикатурист (Иевлев) нарисовал даже карикатуру «*Мартьяновские Беседы*». Представлена была аудитория, переполненная солдатами и народом. Я пробираюсь на кафедру, держа в руках «Беседы». На первой ступеньке меня останавливают жандармы. Один («жандарм права» с лицом Горемыкина) говорит мне — «позвольте, вы беседовать не можете, вы нарушаете государственные тайны». Другой же («жандарм мысли» с лицом Капниста) отбирает от меня «Беседы», говоря — «извините… я только исполняю, что приказано».

Сохранилась ли эта карикатура? Набросана она и зло, и метко.

Три дня в Севастополе



Древний Херсонес Таврический имеет для нас важное историческое значение в том отношении, что в нём совершилось крещение великого князя Владимира, а с ним вместе и всей Руси.

Принятие Владимиром христианства воспоследовало не вдруг, а по предварительном сравнении многих вероучений и по совершенном убеждении князя и собранных им бояр и старейшин в правоте и святости греческого вероисповедания. Событие это, по словам наших летописей, совершилось следующим образом. В 986 году приходили ко Владимиру послы из Волжской Болгарии, и предлагали ему принять магометанство. Приходили также миссионеры из Рима и проповедники от жидов хозарских, и был присланный греками философ. Но изо всех религиозных толкований их, Владимиру наиболее понравилось объяснение греческого философа, который и был одарен щедро и отпущен с великою честью. В следующем году, Владимир, по совету бояр и градских старцев, послал десять разумнейших мужей к болгарам, к католикам и в Цареград, для испытания предложенных вер на месте. По возвращении посланных, на собранном вновь совете бояр и старцев, было отдано предпочтение греческой вере. «Где примем крещение»? — спросил Владимир. «Где ти любо», — отвечали бояре. 988 год ознаменовался походом Владимира на Херсонес. Долго не мог он взять укрепленного города, несмотря на все свои усилия. Напрасно он угрожал херсонесцам держать их в осаде целые три лета, если они не сдадутся, — осажденные не соглашались. Наконец, один из корсунян, по имени Анастасий, пустил из города в стан русский стрелу с надписью: «за вами к востоку находятся колодези, откуда херсонцы получают воду чрез трубы; перекопайте водопроводы». Услышав это, Владимир воззрел на небо и воскликнул: «если это сбудется, я непременно крещусь». Указанное средство оказалось успешным, Владимир

овладел Херсонесом и, вступив в него с дружиною, послал сказать греческим императорам Василию и Константину: «ваш славный город я взял, так поступлю я и с вашей столицею, если не отдадите за меня сестры своей, еще незамужней, которая, как слышно, есть у вас». Императоры, с своей стороны, потребовали от него, чтобы он крестился, соглашаясь только под этим условием исполнить его желание. «Скажите царям своим, — отвечал Владимир послам греческим, — что я крещусь, что я еще прежде испытал закон ваш, чрез нарочитых своих мужей, и полюбил вашу веру и ваше богослужение». Чрез несколько времени прибыла в Херсонес на корабле царевна, сопутствуемая многими сановниками и пресвитерами, и крещение Владимира совершилось в церкви св. Василия, стоявшей посреди Херсонской городской площади, а затем последовало и бракосочетание его с греческою царевною. В память всего этого, великий князь построил в Херсонесе церковь и, возвративши завоеванный город царям греческим, как вено за руку сестры их Анны, отправился в свою столицу.

Вся историческая жизнь Херсонеса сложилась так, как будто его исконным призванием было — передать России неугасимый светильник православия и опочить затем навеки. Проследим его историю вкратце, чтобы удостовериться в истине вышесказанного.

Полуостров Крым в глубокой древности заселен был диким и невежественным народом таврами, отчего и получил название Таврического. Легенды о нём восходят к временам доисторическим. В греческих сказаниях о мифологических героях мы встречаем упоминовения: то о том, как Тезей афинский похитил с южного берега Понта-Эвксинского (Черного моря) прекрасную и храбрую королеву амазонок Антиону; то о том, как Ахиллес со своей дружиной совершает здесь воинские игры и показывает свое искусство в бегании; то, наконец, о том, как Ифигения, дочь Агамемнона, знаменитая жрица богини Артемиды, собирается заклать в Тавриде брата своего Ореста, а Пилад предлагает принести в жертву свою жизнь, чтобы только спасти жизнь друга своего. Историческая же известность о Тавриде начинается с заселением берегов Крыма греческими поселениями. По словам Страбона, Херсонес основан ираклеотами, в начале VI века до Р.Х. Известная предприимчивость, смелость и энергия греческих поселенцев способствовали развитию торговли как Херсонеса, так и других соседственных с ним колоний, и они скоро стали богатыми и могущественными. Построенный в углу Таврического полуострова, между заливом Ктенус (нынешний Севастопольский рейд) и заливом Символов (Балаклавская бухта), Херсонес был

защищен со стороны Тавроскифских владений высокою, со многими башнями и рвом, каменною стеною, имевшей протяжением по словам Страбона, около 50 стадий (8 верст). В течение многих веков он ведет более или менее успешную борьбу с соседственными тавро-скифскими племенами. Во времена владычества римлян, его подчиняют сперва вассальному царю Босфора, но потом зависимость его изменяется в непосредственное подчинение Риму и ему возвращено было отчасти прежнее республиканское самоуправление. При разделении Римской империи, Херсонес подчиняется Византии и зависимость его от неё продолжается до самого её падения. Как отдаленнейшая область Римской империи, он служит местом ссылки политических и других преступников. Так, здесь была заключена, за сочувствие к христианству, Флавия Домитилла, племянница императоров Тита и Домициана, здесь томились в заточении и папа римский Климент, и папа римский Мартин II-й, наконец, сюда же был сослан и император Юстиниан II-й, по низложении его Леонтием. Но несмотря на это, Херсонес имеет громадное значение, — он служит средоточием богатства, наук, искусств и греческой цивилизации в Тавриде. Занимая территорию до 40 верст в окружности, он ведет обширную торговлю и даже вмешивается в политику византийского двора. По словам Дюбиа-Монпере, в лучшую пору его развития, в нём насчитывалось до 5000 домов и до 50 000 жителей. В период великого переселения народов, Херсонес подвергается нападениям готов, угров, аваров, хазаров и гуннов, и отражает их собственными своими силами, так как Византия не имела уже возможности защищать свои отдаленные области. Но вот, под стенами знаменитого города появляется наш великий князь Владимир со своими дружинами и покоряет его. Событие знаменательное! Херсонес покоряется затем, чтобы дать великому князю, а с ним вместе и всей Руси, крещение. Это выдающееся из ряда других явление составляет самое важное, самое блестящее дело во всей его исторической жизни, эпопею его призвания, исполнив которую, он начинает склоняться к упадку. Его постоянные столкновения с печенегами и половцами в XI и XII, и с генуэзцами и татарами в XIII веке истощают его силы, а набег Ольгерда князя литовского в 1363 г. наносит ему самый жестокий удар, после которого он не мог уже поправиться: стены его были разрушены, жители перебиты или уведены в плен, а город сожжен или обращен в развалины. Окончательное же разрушение Херсонеса совершилось при завоевании Крыма турками в 1475 году. С этих пор город опустел совершенно, и только остатки стен, башен, храмов и дворцов, еще долго напоминали

путешественникам время прежнего его величия.

В последующие затем годы, близ развалин Херсонеса поселились татары. Построенная ими маленькая деревушка Ахтиар, с покорением Крыма русскими в 1783 году, по повелению императрицы Екатерины, переименована в Севастополь. Вновь возникший город поглотил остатки прежнего. Посланный Стефаном Баторием к крымскому хану в 1578 г. Максим Броневий, при посещении развалин Херсонеса, этого, по его выражению, «гордого, изящного и славного города», видел еще остатки стен и башен, построенных из огромных тесаных камней. Княжеский дворец, обширный, по его словам, как целый город, с великолепными входными воротами, продолжал еще существовать, как продолжали существовать и некоторые ограбленные и лишенные своих ценных мраморов церкви. При покорении Крыма русскими, многие из виденных Броневием остатков зданий, стен, башен и ворот были еще целы. Но, по приказанию князя Потемкина, их стали разрушать, а камни и мраморы употреблять на постройку Севастополя. И сколько мраморов, капителей, фресок, было положено в фундаменты казарм и других зданий! Стены же и ворота, по преданию, пошли на постройку Севастопольского карантина. Император Александр II-й приказал остановить разрушение, но было уже поздно. Новейшие путешественники: Паллас в 1793 г. и Муравьев в 1820 г. находят еще следы городской стены и водопровода. Но Терещенко, посетивший Крым в начале пятидесятых годов, пишет в своих «Очерках Новороссийского края» следующее: «Я спешил взглянуть на следы древнего Херсонеса, но каково было мое удивление, когда открылась предо мной лишь равнина, усыпанная щебнем, и только кое-где выказывались бугры — быть может, следы зданий. Время стерло с лица земли тот знаменитый Херсонес, который три раза падал и возрождался. С каким нетерпением ехал я из Балаклавы в Херсонес, отстоящий в двух верстах от Севастополя, с таким же негодованием смотрел на пустое место, без памятников, без малейших остатков его древнего величия».

Исчез с лица земли исполнивший свое назначение Херсонес Таврический, и мы только в раскопках, сделанных на месте его нахождения известным нашим археологом, графом А. С. Уваровым, можем видеть теперь следы его прежних богатств, его цивилизации и некоторых из его построек.

Из числа многих открытий, сделанных графом А. С. Уваровым, особенное внимание обратили на себя развалины церкви, в которой, как признано ныне, крестился великий князь Владимир. Покойный архиепископ Херсонский и Таврический

Иннокентий возымел счастливую мысль восстановить этот храм и, с благословения Святейшего Синода, устроил в 1853 г., близ остатков открытого храма общежительную киновию и при ней малую церковь во имя св. благоверной княгини Ольги. Во время осады Севастополя, церковь эта и кельи иноков были разрушены. На месте их французы построили батареи и громили оттуда Севастополь. В 1857 году, разрушенная киновия восстановлена, а в следующем затем году последовало Высочайшее повеление построить над остатками церкви, в которой крестился великий князь Владимир, большой соборный храм, во имя равноапостольного просветителя России, и от монарших щедрот были дарованы первоначальные средства для производства работ. 23 августа 1861 года, Государь Император соизволил лично совершить закладку храма. В этом же году и скромная херсонесская киновия была возведена на степень первоклассного монастыря. Работы по устройству монастыря двинулись вперед быстро. Двухэтажный архимандритский дом, с домовой церковью, во имя Корсунской Божией матери, был окончен постройкою в 1863 году. Вместе с тем построено и несколько братских келий. Но сооружение храма во имя равноапостольного князя Владимира долгое время ограничивалось возведением стен фундамента, и только в последние два года, благодаря энергическим усилиям архимандрита Евгения и ревности принявшего на себя постройку храма, известного нашего строителя П. И. Губонина, строительные работы производились с особенной заботливостью, так что стены храма к концу 1874 года были выведены под своды второго этажа[40].

В ноябре 1874 года мне пришлось совершить поездку в Крым. Тотчас по прибытии в Севастополь, мне захотелось исполнить свое давнишнее желание поклониться месту, откуда Русь восприняла свет христианского вероучения, и на утро, в обществе С. П. Губонина, сына строителя Херсонесского собора, приехавшего одновременно со мною в Севастополь для осмотра работ, произведенных в соборе в течении лета, я отправился в Херсонесский монастырь. День был теплый, тихий и ведренный, какой может только быть в глубокую осень на юге России. Извощичий экипаж рысцой потащил нас по улицам Севастополя, если только можно назвать улицами эти взрытые, как гряды, циклопические тропы, вьющиеся между руин разрушенного города. Двадцать лет прошло с тех пор, как разразившаяся так нежданно над Севастополем гроза превратила его в беспорядочную груду камней, но эта груда камней лежит и доныне почти в том же виде, в каком она осталась, когда гроза утихла. Это даже и не груда камней, но какая-то искалеченная,

безобразная масса скелетов без черепов, с провалами во впадинах глаз, с изломанными ребрами и пустыми внутренностями. Правда, кое-где встречаются поправленные для жилья дома, встречаются и небольшие новые постройки, но в общих чертах картина разрушения производит самое тяжелое впечатление. Вы видите не город, а какое-то громадное покинутое кладбище, с развалившимися памятниками, обрушившимися могилами и торчащими из-под земли углами гробов.

Тление и запустение царят в этом, забытом людьми жилище смерти и нескоро еще жизнь, как кажется, коснется его своим дыханием.

Выбравшись за город, мы поехали мимо бывших наших бастионов и неприятельских траншей и батарей. В ложбине между двумя возвышенностями, посылавшими друг другу смерть и разрушение из нескольких сот орудий, лежит городское кладбище с небольшой при нём церковью, сохранившейся и во время осады. Дорога, окрестные холмы и балки, усеяны небольшими белыми камнями. Кругом глухо и безлюдно — ни одного строения, ни одного деревца до самого монастыря.

Среди такой пустынной мертвенности, вид вновь строящейся обители производит самое отрадное впечатление. Жизнью и трудом веет от этих простых, незатейливых, деревянных святых ворот, у которых мы не нашли, однако, ни привратника, ни толпы нищих, ни толпы торговцев, — этих атрибутов каждого сколько-нибудь значительного русского монастыря. Отодвинув низенькую на колесцах рогатку, заставлявшую проход во святых воротах, мы вошли на двор монастыря и пройдя несколько шагов вперед по неширокой песчанистой дорожке, очутились перед новым, весьма красивым двухэтажным домом настоятеля. Налево, в некотором расстоянии от дорожки, виднеется небольшая монастырская церковь, построенная во имя семи священномучеников в Херсонессе епископствовавших, а за нею далее — братские кельи и другие монастырские постройки. Направо же высится закутанный в леса новый Владимирский собор. Монастырский двор не велик, но содержится чисто и опрятно. Перед домом настоятеля разведен маленький садик с клумбою цветов и небольшой беседкой. Труд, забота и попечение о развитии и благосостоянии обители выказываются на каждом шагу.

Узнав от одного из монастырских служек, что архимандрита Евгения нет дома, мы отправились ко вновь строящемуся храму. Храм сооружается по плану профессора Гримма, под наблюдением архитектора М. Ю. Арнольда, из громадных тесаных плит белого Инкерманского камня, с мраморными по фасаду колоннами[41]. Это будет здание простое, но вместе с тем

величественное и чисто в русском стиле; оно занимает площадь в 304 квадратных сажени, и будет состоять из двух этажей. Высота его с крестом около 19 сажен. Нижний этаж возведен над остатками стен церкви, в которой великий князь Владимир воспринял св. крещение, а верхний предназначается для богослужения. С чувством немого благоговения осматривал я остатки стен этой древней базилики. Внешняя форма их представляет образец византийского стиля. Алтарь церкви выдается наружу полукруглым выступом, стены сложены из грубо обтесанных желтоватого цвета, больших камней, между которыми местами виднеются обломки колон, вероятно, какого-либо еще более древнейшего храма. Вышина сохранившихся стен от полу: со стороны алтаря и входа достигает — семи, а в прочих местах — не более трех-четырех футов.

В небольшом расстоянии от вновь строящегося храма виднеются следы еще двух отрытых церквей, а вокруг их и несколько в сторону, между громадными глыбами камней, обтесываемых для нового собора, известочных творил, бревен, воротов и груд мусора, попадаются обломки древних колонн, карнизов, крестов — как будто с этого должно начаться объединение древнего мира с идущим к нему навстречу новым.

С высоты верхней площадки лесов я обозревал территорию «гордого, изящного и славного» Херсонеса. Мне хотелось определить положение: и главной его улицы — Аркаса, шедшей, как известно, от западных ворот по южному краю города и поворачивавшей потом на северо-восток, и главной городской площади с её храмами и дворцами, и дворца княжеского, «обширного как город», и знаменитой городской стены, с её башнями и рвами, начинавшейся у Черной речки и шедшей немного выше Инкермана до самой Балаклавской бухты, и не менее знаменитых водопроводов. Но исполнить этого, к сожалению, я не мог, так как на поверхности земли никаких следов их существования (кроме отрытых при раскопках следов церквей) уже не оказывалось. Время всё уничтожило и только одно вечно неизменное море также, как и прежде, во время славы и могущества Херсонеса, кипит и пенится у его крутых каменистых берегов. Всё также мерно и безустанно, одна вслед за другой, несутся волны на эти выдающиеся береговые выступы, мыски и крошечные каменные островки, и прядают высоко с шумом, покрытые пеной, как белоснежной пеленой, и дробятся и рассыпаются тысячами брызг. А там, вдалеке, где море как бы сливалось с густой яркой синью горизонта, прозрачная светло-зеленая масса волн, чуть-чуть колеблясь, вспыхивает под златисто-белесоватыми лучами осеннего солнца, и горит, и

блестит багрянцем, чернью и серебром.

* * *

В тот же день, под вечер, я совершил поездку по линии бывших севастопольских укреплений нашей стороны. На Малаховом кургане я пробыл довольно долго. Вот что занес я там, на память об этом достопамятном вечере, в дневник свой 20 ноября 1874 года.

На Малаховом кургане.

С благоговением склоняюсь пред тобою,
Холм исторический, священный, славный холм,
Свидетель мужества, геройства, чести, долга,
И памятник всех дел, свершенных ими здесь.
Земля вокруг тебя вся вспахана огнем
И пропиталася до недр людского кровью.
В надежде отстоять твердыню дорогую
И с него родину от вражьего вторженья,
Здесь пали легионы наших Леонидов,
Приняв на щит удары полчищ полумира
И грудью мощной отразив их ярый натиск,
Здесь русские костьми легли богатыри.
При залпах тысячи громаднейших орудий,
Под огненным дождем свинца и чугуна,
В дыму и пламени негаснувших пожаров,
Под смертный хрип и стон истерзанных людей,
Здесь триста сорок дней разыгрывалась драма,
Которой целый мир, дивясь, рукоплескал.
Герои Сарагоссы, Трои, Карфагена,
Вас, севастопольцы, едва ль не превзошли…
Здесь не был просто бой — боролися гиганты,
Тут рыцари дрались, сойдяся в поединке,
Тут крики слышались: «стреляйте вы, мы — после»…
Смерть проносилась, но не было победы:
Антей не побежден, когда его пята
Касается земли, как матери и силы…
Изуйте ж пози здесь, пришельцы-пилигримы.
Зане то место, где стоите вы, есть свято!
С каким волнением и трепетным желаньем,
Пришлец издалека, рвался я мыслью видеть
Тебя, мой дорогой и сердцу близкий холм,

И вот я, наконец, у твоего подножья.
Вокруг немая тишь, безлюдье и пустыня,
Известка, глина, грязь и глыбы плитняка —
Всё исковеркано, изрезано и взрыто,
Как будто волны здесь морские в бурном взмете
Окаменели вдруг под взглядом чародея.
Осенний теплый день склоняется к закату,
Последний солнца луч, луч поздний и холодный,
Под легким облачком, гонимым ветерком,
Как резвое дитя, играет и бежит
По ямам и буграм изборожденной почвы,
И где то там вдали теряется и гаснет…
Почтительно как сын, с главой непокровенной,
Я поднялся на холм, который силы вражьи
С таким неистовством громили день и ночь,
В который брошено так много бомб и ядер,
И на который глаз людских, дивясь, смотрело
Едва ль не более, чем смотрит с неба звезд…
Вот башня — памятник, где наши командиры,
Отцы седых дружин, как бы зеницу ока,
Блюли им вверенный самой судьбою пост.
Вот славный тот блиндаж, где старый лев Синопа,
Окончив свой обход по линиям огня,
Беседовал с детьми своими — моряками
И оживлял в них дух и веру в одоленье.
А вот — колодцы мин с их мрачным лабиринтом
Подземных галерей, воронок, душников,
Где русский наш Вобан с таким искусством вел
Подземную войну с противником достойным.
Вот место, где ядро Корнилова сразило,
Вот здесь Панфилов пал, а здесь Нахимов славный,
Смертельно раненый, окончил славно жизнь.
О! сколько горестных и жгучих вспоминаний
В нас будит этот холм своим живым рассказом.
Взволнованный, в слезах, всхожу на вал кургана,
Вокруг раскинулись в нестройном беспорядке
Ложбины узкие, овраги, балки, кручи,
Останки батарей, руины грозных верков,
Окопов всяческих, люнетов и траншей;
На западе заря сгорела, гаснет отблеск,
Земля оделась прозрачной серой дымкой,
И звездочки зажглись на синем склоне неба.
Пора бы и домой, но я еще стою,
Смотрю и думаю, о прошлом вспоминаю…

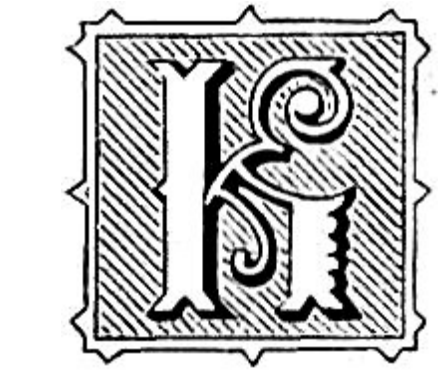
И вот передо мной как будто восстает
Не мертвый нынешний, но прежний Севастополь,
С его стальной стеной недремлющих штыков,
В огневом поясе грохочущих орудий.
Идет в разгаре бой, кровавый страшный бой,
Из-под густой зловещей черной тучи дыма,
Застлавшей горизонт, не видно даже света,
День превратился в ночь, ночь ужаса и страха,
Орудия, мортиры, ружья, штуцера,
Стреляя залпами и порознь, превзойти
В убийственной борьбе стараются друг друга.
Снаряды сыплются — как частый крупный град,
Чугун, свинец и медь валятся словно с неба,
И места нет вблизи, где б человек, укрывшись,
Спокойно мог сказать: «теперь я безопасен»…
Смерть носится как вихрь и косит жатву крови,
И бешеным её порывам нет конца.
Ей кажется, что мир ей отдан весь на жертву,
И мечется она безумно там и здесь,
И новых тысячи любимцев избирает,
Меж тем как раненый, истерзанный, избитый,
Напрасно ждет ее и молит, словно блага,
Перста холодного её прикосновенья.
Везде лежат тела — и лошади, и люди:
И трупы целые, и части, члены трупов
Смешалися с людьми, в которых тлеет жизнь,
И человек живой завидует умершим.
Один глоток воды дороже полумира,
Последняя мольба в борьбе за жизнь о нём;
Здесь бледные уста сомкнулися с молитвой,
Тут вопль проклятия колеблет жгучий воздух,
Страдалец чуть дыша, коснеющей рукой,
Чтоб жажду утолить, щепоточку травы,
От крови влажную, вокруг себя срывает…
Но бой колеблется, враги зовут резервы,
И вот они спешат, усиливая бег,
Им нужно во время прибыть, чтобы ворваться
В заветный бастион — венец их всех усилий;
Уже полк за полком, как вал завалом в море,
Несутся, буйные, вперед неудержимо, —
И вот ударились о каменный утес,
И вспять отпрянули, лишь брызги волн, да пена
Взлетели высоко и пали в те же волны,
Окала не дрогнула, утес не шевельнулся…

Еще удар, другой, и масса волн громадных
В напоре яростном уж хлещет чрез утес,
Но каменная грудь скалы не подалася…
Хвала тебе во век, бессмертный ваш Хрулев,
Ты к «благодетелям» о выручке воззвал,
И с ними бросился и выручил победу.
Но тени падают… и только Горчаков
Со свитою своей стоит еще у бухты,
Как в тот несчастный день, когда твердыня пала,
И перед ним войска, в молчании проходили.
Всю тяжесть этого жестокого паденья
Он вынес на себе, достойный наш стратег,
И, гордый правотой своей в дни тяжких бед,
Он лег вблизи своей разрушенной твердыни,
Как будто говоря: «за это я отвечу»…
Меж тем ночь южная спускается всё ниже
И кроет синей тьмой, как пологом, окрестность.
С душой, пополненной печали и тоски,
Я земно кланяюсь тебе, курган Малахов,
Вестминстер доблести и храбрости и славы, —
Угрюмый, как вокруг природа, — Партенон:
Твое бессмертное геройское паденье
К развитью нашего величья послужило…

На другой день утром я посетил севастопольский музей, устроенный в пожертвованном графом Тотлебеном доме, а вечером на четырехвесельном катере ездил на Братское кладбище. В день же отъезда из Севастополя осматривал городской собор, в котором погребены павшие при защите адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин. Но тетрадка, в которой были записаны впечатления виденного, утратилась, — и я не считаю себя вправе профанировать чувства, теснившие тогда грудь, на память. Поэтому, обрывая рассказ на половине, заношу для памяти оставшееся доныне непонятным впечатление погребения праха трех адмиралов отдельно от князя М. Д. Горчакова, генерала С. А. Хрулева и других достославных вождей, улегшихся запросто среди курганов и братских могил товарищей по защите падшей твердыни на «Братском кладбище» северной стороны. Ведь там преданы земле все убитые и умершие от ран и болезней воины-защитники, как пехотинцы, так и моряки. Зачем же выделены эти три героя? Зачем отчуждены они от тысяч других храбрых и храбрейших? Неужели в этом могло выразиться какое-либо особенное им отличие?.. Но, оставляя в

стороне суждение о том, не могу не заметить, что всякому русскому человеку горячо любящему свою родину и дорожащему её славой и справедливостью, гораздо приятнее было бы видеть нею тесную дружную родную семью защитников Севастополя — похороненною рядом на одном зеленом предгорье «великой нивы смерти».

Князь А. Дадиан, флигель-адъютант императора Николая I



Князь Александр Леонович Дадиан, известный своими несчастьями, как очистительная жертва тех традиционных порядков, которые в доброе старое время существовали в управлении полковою хозяйственною частью на Кавказе, родился в 1801 году, в наследственном имении симбирской губернии, сенгилеевского уезда, где у его родителей было до 1000 душ крестьян, и получил отличное по тому времени домашнее воспитание. По словам лиц, коротко знавших князя, это был человек высокого образования, характера мужественного и непреклонной силы воли.

Дадиан поступил на службу подпрапорщиком лейб-гвардии в Преображенский полк в 1817 году; в 1821 г. произведен в прапорщики, а в 1825 г., в чине поручика, назначен адъютантом к генерал-адъютанту Паскевичу[42].

Он участвовал в войнах: персидской 1826–1827 г. и турецкой 1828–1829 г. и экспедициях против горцев 1830, 1831 и 1832 годов. В 1827 году, граф Паскевич-Эриванский удостоил его поручения донести императору Николаю о взятии Тавриза, за что Дадиан произведен в капитаны, а в 1829 году он был послан в государю с донесением о сражении при Коинлы и взятии турецкого лагеря и трех-бунчужного паши в плен, за что произведен в полковники и назначен флигель-адъютантом его величества.

В конце того же 1829 года, он получил в командование эриванский карабинерный (ныне 13-й лейб-гренадерский его величества) полк.

Дадиан был женат на дочери командира отдельного кавказского корпуса, генерал-адъютанта барона Розена, Лидии Григорьевне Розен.

В 1837 году, во время посещения императором Николаем Кавказа, по донесению находившегося в Тифлисе для выработки положения об управлении закавказским краем, сенатора барона Гана о злоупотреблениях в Эриванском полку, князь Дадиан, лично государем, при разводе 24 сентября, в Тифлисе, на Мадатовской площади, был лишен флигель-адъютантского звания и отправлен в Бобруйск, где и находился под судом, с содержанием в каземате арестованным, до 1840 года.

Между тем, флигель-адъютанту Катенину[43], было повелено: сделать инспекторский смотр полку и произвести формальное следствие о действиях Дадиана, с тем, чтобы донесение Катенина служило основанием суждению военного суда. По суду оказалось следующее:

1. Войска кавказского корпуса были обязаны устраивать штаб-квартиры для себя собственными хозяйственными средствами, получая только без платы лес из владельческих дач и обывательские подводы для подвозки к месту построек разных материалов. Сверх того, с целью облегчения войск кавказского корпуса в устройстве полковых штабов, было разрешено им, кроме штатных подъемных лошадей, иметь еще рабочих волов, на покупку которых употреблялись деньги из отпускавшихся на устройство штаб-квартир, и иногда из экономических полковых сумм. На этом основании Эриванскому карабинерному полку были отведены частные земли около Тифлиса для рубки леса и сенокошения. Дадиан продовольствовал накошенным сеном не одних полковых лошадей и быков, но и собственный скот и конский завод свой, а зимою довольствовал скот полкового маркитанта и других лиц, не платя за излишнее сено денег владельцам земель; церковные же земли начал он распахивать и под посев хлеба.

2. Для надзора за конским заводом и скотоводством своим, Дадиан употреблял 8-мь унтер-офицеров и до 100 человек рядовых, а для прислуги в доме и при хозяйственных заведениях держал у себя 4-х унтер-офицеров и 36 человек рядовых, из которых одного (камердинера) произвел в унтер-офицеры за расторопность по фронту.

3. Дадиан, взяв на себя заготовление провианта для полка, постройку мельницы и возведение разных зданий, употреблял нижних чинов в работы и перевозки, частью без платы, частью за малое вознаграждение.

4. При постройке полковым маркитантом винокуренного завода, Дадиан назначил к нему нижних чинов для работ по 5-ти коп. в сутки, тогда как вольные люди в Тифлисе получали гораздо больше.

5. Кроме нижних чинов употреблял Дадиан на работы солдаток без платы и однажды за ослушание наказал их.

6. Обывательские подводы, назначенные в пособие для устройства полковой штаб-квартиры, употреблял Дадиан для подвозки материалов к другим казенным постройкам и оставлял их на работе долее назначенного срока.

Генерал-аудиториат, рассмотрев военно-судное дело и признав князя Дадиана виновным в противозаконных действиях, приговорил его к лишению чинов, орденов, княжеского и дворянского достоинств и к написанию в рядовые, но вместе с тем представил на высочайшее усмотрение прежнюю беспорочную службу Дадиана, бытность в походах и сражениях, трехлетнее содержание в каземате и раскаяние в проступках и испрашивал милосердия к участи его.

Император Николай Павлович, рассмотрев доклад генерал-аудиториата в Динабурге, 12-го мая 1840 года, изволил написать на нём собственноручно: «Полковник князь Дадиан совершенно достоин присужденного наказания, вина его сугубо тяжка тем, что он носил звание моего флигель-адъютанта и, быв близким родственником корпусного своего командира, как бы обязан был сим еще более удаляться от всего законопротивного, служа скорее другим примером строгого соблюдения порядка службы. Нарушив столь наглым образом свою обязанность, он недостоин никакого помилования. Желая, однако, и в сем случае оказать возможное внимание к службе генерал-адъютанта барона Розена, повелеваю: лишив полковника князя Дадиана чинов, орденов, княжеского и дворянского достоинств и вменив ему трехлетнее содержание в каземате в наказание, отправить на жительство безвыездно в Вятку».

В 1840 году, по ходатайству генерал-адъютанта барона Розена, Дадиану дозволено жить в имении барона Розена близ Москвы, а в 1844 г. разрешен ему временный въезд в Москву для свидания с матерью, и затем, по просьбе сей последней, ему позволено безвыездно жить в Москве.

В 1856 году, по случаю коронации государя императора Александра Николаевича, Дадиану были возвращены все права по службе, которые он приобрел до состояния о нём высочайшей конфирмации, т. е. чин полковника (в отставке), ордена, княжеское и дворянское достоинство.

Дадиан умер в Москве в начале шестидесятых годов.

Катастрофа, постигшая Дадиана в 1837 году, как громовой удар разразилась над Кавказом, и слухи о ней пронеслись по всей России, принимая разнообразную и иногда даже фантастическую форму. Легенду об этом событии в самом искаженном виде мне

пришлось слышать в Пятигорске в 1870 году. Несколько вариаций попали в печать.

И. И. Лорер, находившийся в 1837 году на Кавказе, в записках своих («Русский Архив» 1874 года, кн. 2, стр. 371) говорит о катастрофе 24 сентября следующее: «По обыкновению, Вревский[44] пришел к нам одним утром, и каким угрюмым показался он нам! Сейчас же причина разъяснилась. «Слышали вы, господа, что случилось с бедным князем Дадианом в Тифлисе? Вы знаете, что он командует полком и женат на дочери главнокомандующего Розена. Дорогою государь получил донос на князя Дадиана, которым его обвиняют в употреблении солдат на свои работы, недодаче жалованья рекрутам и прочих непозволительных поступках; можете себе представить, в каком расположении духа приехал государь в Тифлис. Ни Розен, ни начальник штаба не подозревали, что их ожидает. Развод назначен был от полка, которым командовал Дадиан, и князь перед строем ожидал прибытия государя. На площади собралось бесчисленное число народа, грузин, армян и мирных черкес. На балконе одного дома на площади сидели супруги главнокомандующего и князя Дадиана, разряженные, веселые. День был прекрасный. Наконец вышел государь. Барабаны загрохотали, музыка гремела, но царь махнул рукой и водворилась тишина. Государь скомандовал «к ноге» и велел составить ружья в козлы. Огромная свита не понимает этого маневра. Государь собрал к себе ротных командиров в кружок и долго с ними разговаривал о чём-то, потом созывает солдат и делает с ними тоже самое; потом командует: «становись!» Полк выстроился. Дадиан с опущенной саблей в руке, всё еще не понимал причины этих действий, но тут государь громко приказал коменданту снять с князя Дадиана флигель-адъютантские аксельбанты, как с недостойного носить это отличие. Но что происходило в это время с бедными дамами на балконе? Они лежали в обмороке. Тут же подъехала фельдъегерская тройка, посадили в нее оборванного, обесчещенного князя Дадиана и повезли в крепость Бобруйск».

«По другим рассказам — комментирует вышеприведенный факт издатель «Архива» г. Бартенев — преступления Дадиана, закрепостившего и грабившего солдат, открылись государю случайно. Когда государь приближался к Тифлису, загорелись от быстрой езды оси в его коляске. В числе людей сбежавшихся помогать беде, государь узнал одного солдата под крестьянскою одеждою, и тот доложил ему, что целые десятки и сотни солдат работают поблизости в имении Дадиана. Пока справляли коляску, государь на простой телеге съездил в указанное имение и лично

удостоверился в том, что его воины обращены в земледельцев».

Относительно отправки Дадиана в Бобруйск, г. Бартенев замечает, что он был предан суду на месте и отвезен в Бобруйск после того, как его изобличили в его действиях.

В действительности же, Дадиан не командовал разводом, государь не собирал в кружок ротных командиров и нижних чинов, не разговаривал с ними и не командовал: «становись»!

Всё это плоды досужей фантазии. Равномерно и рассказ о поездке государя в простой телеге в имение князя Дадиана и личном удостоверении его там об обращении воинов в земледельцев — чистейшая выдумка.

В истории Эриванского полка, г. Шабанова, об этом происшествии говорится следующее:

«22 сентября, в первый раз жители Тифлиса с восторженными криками и народною музыкою-зурной — встретили государя Николая Павловича. На другой день, 1-й батальон эриванцев, щегольски одетый, был выстроен с утра за Авладаром, на возвышенной равнине, вместе с другими войсками, для представления государю. Дадиан командовал одной из линий, причем сбивался в фронтовых построениях, за что получил замечание. Затем, в следующий день назначен был всем войскам церемониальный марш на александровской площади (ныне александровский сад). В этот день погода была ясная. На небе не было ни одной тучки. Сентябрьское южное солнце не легло, а лишь только грело. Толпа любопытных окружала площадь и соседние дома. По рядам эриванцев уже разносилось «смирно», при приезде разных начальствующих лиц. Наконец, заколыхался народ, показался государь со свитою. Раздалось еще раз: «смирно, на плечо, на-караул». и батальон, сделав приемы, замер, — только торжественные звуки музыки нарушали тишину. На приветствие Николая Павловича батальоны откликнулись «ура», толпа народа подхватила это радостное восклицание и долго оно раздавалось в воздухе. Государь остался чрезвычайно доволен смотром, за что пожаловал нижним чинам по рублю, по фунту мяса и по чарке водки. Но этот день произвел сильное впечатление на эриванцев, — на их полкового командира, князя Дадиана, о его злоупотреблениях был сделан государю донос. Отличительная черта покойного монарха, строгость и справедливость, выказалась и здесь. Он, в виду всего народа, приказал с полковника Дадиана снять эполеты и флигель-адъютантские аксельбанты за те злоупотребления, о коих государю было донесено».

Но и здесь факт разжалования передан неверно: с князя Дадиана был снят только аксельбант; эполет же он лишился по

приговору суда.

Факт этот не лишен исторического значения, и потому я позволяю себе восстановить его, пользуясь обязательно предложенными в мое распоряжение записками очевидца, подполковника А. В. Антонова, бывшего в 1837 году полковым адъютантом Эриванского полка.

Государь император Николай Павлович прибыл на Кавказ на пароходе «Звезда» и высадился в Поти, 17 сентября 1837 г.

Постоянные дожди и суровая осенняя погода испортили настолько дороги, что маршрут следования его величества был изменен.

Местами государь должен был ехать верхом на казачьих лошадях, от Кутаиси же совершил путь с бывшим в то время командиром отдельного кавказского корпуса, генерал-адъютантом бароном Розеном, в открытой коляске.

На Белогорской станции встретила государя, возле дороги, находившаяся тут на работе 7-я рота эриванского полка. Государь приказал остановиться и, не выходя из экипажа, поздоровался с солдатами и, поблагодарив их за усердную службу, проследовал далее[45].

Не доезжая 19 верст до Сурама, где приготовлен был для его величества ночлег, император, по усталости, изволил остановиться на Квирильском посту, где и заночевал с 19 на 20 сентября. Здесь, в 11 часов вечера, получено было донесение сенатора барона Гана о злоупотреблениях Дадиана.

Ночь на этой станции государь провел не покойно и, как рассказывали, утром был сильно взволнован.

20 сентября, в 8 часов утра, государь прибыл в Сурам, верхом, и остановился в доме князя Абашидзе. Не доезжая шагов 20 до почетного караула от 3-й карабинерной роты Эриванского полка, скомплектованной, на этот случай, из георгиевских кавалеров, сошел с лошади, и, сняв с себя бурку, подошел к караулу и поздоровался с солдатами. Представлявший караул батальонный командир эриванского полка, майор Антонов, увидев государя, так растерялся, что, вместо того, чтобы обойти фронт сзади, проломился через его середину и стал за почетным караулом, а командовавший караулом ротный командир штабс-капитан Савицкий, ошибся в командных словах; на лице государя выразилось неудовольствие: приказав отпустить роту на квартиры, он обратился к Розену с следующими словами: «и тут довольно дурно». Войдя в приготовленный для его величества дом и отведав несколько винограда из поднесенных фруктов, утомленный тяжелою дорогою, государь отдыхал до часов за полдень и затем, выйдя на крыльцо дома, долго любовался

окрестностями Сурама, по направлению к Боржомскому ущелью.

После обеда государь долго ходил по комнате, ни с кем не разговаривая. Прекрасная южная ночь вновь вызвала его на крыльцо, где сидели тогда Орлов[46] и Багратион[47]; но здесь государь пробыл не более получаса и возвратился в комнаты, где занимался делами до 2-х часов ночи, призывая к себе изредка Адлерберга и Орлова.

На другой день, около 7-ми часов утра, государь, совершенно готовый к отъезду, в белой фуражке и летней конногвардейской шинели, вышел на крыльцо занимаемого им дома, у подъезда которого стояла уже шестерней запряженная открытая коляска. Указав на Боржомское ущелье, его величество стал разговаривать с Розеном; между тем к дому подъехало верхами человек сорок карталинских князей и дворян. Они были одеты в богатые национальные разноцветные одежды, украшенные широкими, золотыми галунами, отлично вооружены и сидели на чистокровных казахских жеребцах, вся сбруя которых блестела серебром и золотом. Государь сошел с крыльца и, подойдя в всадникам, поздоровался с ними. Глядя на них не без удовольствия, между прочим, изволил им сказать: «Господа, таким молодцам нужно служить». После этого государь, пригласив барона Розена, сел в коляску и отправился в Ахалцых, куда, в качестве конвоя его величества, отправились и карталинцы.

Между тем Антонов, по приказанию Розена, отправился в Тифлис и передал князю Дадиану о поданном на него доносе. Князь отвечал: «да, мне сообщено об этом вчера», и, подумав, прибавил: «какая ложь! хорошего ждать теперь нечего; остается одно: надеяться на Бога и на великодушие царя; я — жертва низких интриг и гнусной клеветы; время откроет всё. С верою буду ожидать участи и с покорностью перенесу всё, что меня ожидает».

22 сентября, в 9 часов вечера, государь прибыл в Тифлис и тотчас же повелел флигель-адъютанту Катенину, приехавшему в Тифлис двумя неделями ранее государя, отправиться в Манглис (где была полковая штаб-квартира Эриванского полка), и поверить справедливость доноса. Катенин возвратился на другой день в 8 часов вечера и представил собранные им наскоро сведения. Затем, когда, по заведенному порядку, его величеству представлен был именной список состоящих на лицо флигель-адъютантов для исполнения дежурств при его особе, государь собственноручно изволил отметить против фамилии Дадиана: «флигель-адъютанта полковника князя Дадиана у меня нет». Подобное решение в ту же минуту разнеслось по городу, и князь

Дадиан был так поражен этим, что в тот же вечер заболел.

На 24 число был назначен развод от 1-го батальона Эриванского полка. Батальон, под командою подполковника Далена, выстроился на Мадатовской площади, в 11 часов. Государь с бароном Розеном прибыл к разводу ровно в час и, поздоровавшись с людьми, медленно прошел по фронту, пристально вглядываясь в лица солдат, подобранных молодец к молодцу. Затем, отойдя на средину батальона, скомандовал вполголоса: «повзводно направо»; люди исполнили это движение довольно стройно. Но проходя мимо государя церемониальным маршем, по плацу, покрытому вследствие бывшего накануне дождя грязью, люди скользили, от чего в строю происходило некоторое волнение. Государь заметил барону Розену: «солдаты хороши, но дурно выправлены и ведут короткий шаг»; затем его величество спросил: «а где полковник Дадиан»? на что было доложено, что он болен. «Послать его ко мне», сказал государь.

Начальник штаба, генерал-майор Вальховский, тотчас отправился за князем, квартировавшим на той же площади, в доме Шамир-Хана, и не прошло 10-ти минут, как Вальховский с Дадианом, одетым в полковой мундир, при аксельбанте, показались перед фронтом строя.

Не доходя шагов 15-ти до государя, они остановились. Вальховский отошел за свиту, а Дадиан остался на месте. Государь взглянул на него с неудовольствием и, повернувшись к присутствовавшим на разводе генералам, штаб и обер-офицерам, произнес громко и грозно: «торги, барыши ненавижу; мои адъютанты сделались здесь извощиками[48] и маркитантами. За хорошую, усердную службу я достойно награждаю, за зло же и противозаконные поступки примерно наказываю, и примером этого будет полковник князь Дадиан». Потом, указав на него рукою, произнес гневно: «Брайко[49], снять аксельбанты»!

Грозные слова государя произвели сильное впечатление; все присутствовавшие при разводе как будто окаменели. Массы же народа, окружавшего площадь и занимавшего окна, балконы и крыши соседних домов, заколыхались и в воздухе послышался какой-то неясный гул; затем мгновенно всё стихло и водворилась мертвая тишина.

Брайко, подойдя к Дадиану, никак не мог отстегнуть аксельбанта: заметно было, как у старика тряслись руки. Дадиан, сохранивший присутствие духа, расстегнул борт мундира и, отвязав аксельбант, передал его Брайко, который поднес его государю.

Государь, приняв аксельбанты и, как будто взвешивая их, громко кликнул: «Розен, адъютант Вельяминова!» Подбежал

капитан Розен[50], и государь, не допустив его шага на три, бросил ему аксельбанты со словами: «на! но смотри, умей их оправдать»[51]. Потом, обратясь к Дадиану, произнес: «В Бобруйск!» В это время старик Розен, преклонив немного колено и целуя в правое плечо государя, сказал: «Государь, я служил вашему отцу, вашему брату и вам более 42-х лет, пощадите мою службу, простите князя Дадиана». Сцена была в высшей степени трогательная. С напряженным вниманием свита и массы народа следили за каждым движением государя, но государь, положа руку на плечо Розена, произнес: «Владимир Григорьевич, чтобы показать тебе, что я уважаю тебя и твою службу, я оставляю на полковнике князе Дадиане эполеты и предоставляю лишение их закону». Затем повторил еще раз: «в Бобруйск!» После развода государь с бароном Розеном изволил отправиться в военный госпиталь, откуда менее чем через полчаса прислал флигель-адъютанта князя Васильчикова с дозволением воспользоваться князю Дадиану одним часом, для прощания с своим семейством и родными.

26 числа, часов в 5 утра, государь, не предваряя никого о намерении своем оставить Грузию, выехал из Тифлиса по тракту на Владикавказ. Следуя по крутому спуску к повороту на реке Вере, у отвесного обрыва реки Куры, едва не подвергся несчастью. Экипаж его, по неосторожности форейтора, повалился на бок, но его величество с графом Орловым успели благополучно соскочить на дорогу. Узнав, что почтовую станцию содержит тифлисский полицмейстер, майор Ляхов, его величество тотчас потребовал его к себе и пока устанавливали экипаж и перекладывали лошадей, явился Ляхов. Государь, сделав несколько внушительных замечании за грязную спекуляцию, несовместную с царскою службой, повелел сейчас же отрешить его от должности и исключить из службы, с тем, чтобы впредь никуда не принимать.

Вскоре после того, корпусный командир Розен был назначен сенатором, а на его место прислан генерал Головин.

Нет сомнения, что Дадиан был виноват и что в примерном наказании его выразилась отличительные черты характера покойного государя — строгость и справедливость. Но не подлежит также сомнению и то, что злоупотребления, за которые он понес наказание, были, так сказать, продуктом времени, и что они существовали не в одном только Эриванском полку, но и в других частях войск и считались у современников не иначе, как «порождением обстоятельств». Войска занимали полупокоренный, полувраждебный край. Размещая их в наиболее нужных, по военным соображениям, пунктах, кроме всегдашней боевой

готовности, от них требовали устройства полковых штаб-квартир и солдатских поселков, проложения дорог, расчистки лесов и других работ, способствующих колонизации края, не давая для того никаких других средств, кроме предоставляемых соседственною природою или случаем. Поневоле приходилось употреблять везде и во всём нижних чинов и экономические суммы, иди же изыскивать другие, не всегда позволительные источники. Дадиан заявлял об этом военно-судной комиссии, но на запрос её по сему предмету, генерал Головин отозвался уклончиво, что положительных сведений о подобных беспорядках в корпусном штабе не имеется.

В доказательство же сказанного считаю нелишним привести следующий факт. В том же 1837 году и тем же сенатором бароном Ганом был представлен государю доклад о злоупотреблениях командира грузинского пешего полка, полковника князя Андронникова. Император Николай Павлович повелел исследовать их и если окажутся справедливыми, то сделать над князем Андронниковым строжайший пример. Генерал-аудиториат, рассмотрев следственное дело о князе Андронникове, нашел следствие неудовлетворительным, но усмотрев, что Андронников сам сознался в противозаконной отдаче состоявших в полку на службе милиционеров офицерам в частные услуги и для производства работ, в сделке с жителями, которые, вместо требовавшихся от них в полк милиционеров, представляли ему условленное число рабочих для работ, а он, как сам объяснил, заменял их собственными средствами, ставя в полк своих людей; сверх того, по собственному же его сознанию, оказался он виновным в самовольном сборе с жителей денег для обмундирования сотни милиционеров, представленной государю императору при посещении его величеством в 1837 году закавказского края, — генерал-аудиториат полагал: князя Андронникова за означенные злоупотребления предать военному суду при отдельном кавказском корпусе, вменив суду в обязанность все объявленные на Андронникова жалобы исследовать во всех отношениях с предписанною законом строгостью. Государь император изволил рассматривать этот доклад в Варшаве, 19 мая 1840 года, и, приняв во внимание ходатайство главнокомандовавшего действующею армиею графа Паскевича-Эриванского о прежней отличной службе и ранах князя Андронникова, высочайше повелеть соизволил: «Дело оставить без дальнейших следствий и полагать конченным; полковника князя Андронникова вновь на службу не определять; издержки же, бывшие по производству исследования на прогоны и прочее, принять на счет казны».

Самое донесение барона Гана о Дадиане, как видно из записок А. В. Антонова, вызвано не одним только желанием блага стране, но и совершенно иными побуждениями. Присланный для водворения в Закавказском крае гражданского управления, барон Ган стремился провести такие предположения, которые были противны убеждениям барона Розена. Отсюда произошли первоначально их натянутые, а потом совершенно враждебные отношения, окончившиеся лишением Дадиана чина и званий, а Розена — места главнокомандующего. Недаром в записках И. И. Лорера и в истории Эриванского полка донесения Гана названы «доносами», — в названии этом сказался приговор современников.

Княгиня Л. Г. Дадиан, в прошении об облегчении участи мужа, между прочим, излагает, что Дадиан не по вине понес наказание, так как исследование по поданному на него доносу произведено было Катениным в отсутствие Дадиана, без соблюдения законных форм, поверхностно и пристрастно, и военный суд, имевший поведение принять это исследование основанием к суждению Дадиана, постановил приговор не на основании фактов. А. В. Антонов в записках своих говорит, что действия Катенина, во время производства следствия в полку, были действительно далеко не безупречны: все его усилия были направлены к тому, чтобы добиться показаний не в пользу Дадиана. А. П. Ермолов, которого встретил Антонов у Дадиана в Москве в 1849 году, коснувшись в разговоре катастрофы 24 сентября 1837 года, сказал, указав на Дадиана: «его погубило что? Не донос и не следствие, но ответ Катенина государю. На вопрос государя: «всё ли правда, что написано в доносе на Дадиана?» Катенин отвечал, что, к сожалению, всё правда и всё подтвердилось; «но не смею не сознаться пред вашим величеством — прибавил ловкий следователь — что из участия к Дадиану, как к товарищу, я многое скрыл». Этих слов было достаточно, чтобы погубить Дадиана».

Не эти ли слова и побудили государя императора повелеть судить Дадиана на основании фактов, собранных следствием.

Из всего вышеизложенного явствует, что Катенин сумел дать делу Дадиана особый колорит; но причины, побудившие его так действовать, остались не разъясненными. А. В. Антонов, ссылаясь на некоторые факты, полагает, что они были прямым последствием увольнения в 1836 году в отставку из Эриванского полка родного брата Катенина, о дурном поведении которого и крайне безнравственных поступках Дадиан вынужден был довести до сведения корпусного командира. Предположение это не лишено некоторой доли вероятия. В Пятигорске, в 1870 г., я

слышал от одного из жителей Тифлиса, свидетеля события, что самое донесение Гана сделано было по внушению Катенина, и хотя об умерших, по известной поговорке «de mortuis aut bene, aut nihil», принято говорить только хорошее, или ничего не говорить, но я в настоящем деле предпочитаю придержаться перифраза этой поговорки князя В. Ф. Одоевского: «de mortuis seu veritas, seu nihil».

Николай I на саперных работах

По объявлении войны Франции и Англии в 1854 году, признано было необходимым, на случай высадки неприятеля, впереди кронштадских укреплений возвести еще несколько полевых укреплений, и с этой целью на косе, близ купеческой стенки, стали возводить батарею на 60 орудий, люнет на два батальона и редут. Для производства работ выслали учебный саперный батальон и, кроме того, нарядили офицеров от прочих саперных батальонов. Работы начались 20-го марта. Император Николай Павлович приезжал часто и лично наблюдал за производством работ.

Встретив однажды солдата с георгиевским крестом, государь спросил его.

— Где получил крест?

— Под Силистрией, ваше императорское величество, в 1829 году, — отвечал солдат.

— Теперь под Силистрией ваши товарищи, — заметил государь: — а вам выпала честь защищать Петербург, а это стоит Силистрии. Чего бы не дал другой солдат, чтобы сказать впоследствии: я защищал Петербург. Не так ли?

— Так точно, ваше императорское величество, — отвечал солдат — мы это чувствуем; останемся живы, — и детям, и внукам передадим.

Когда батарея была готова и вооружена, Николай Павлович осмотрел ее подробно, нашел в исправности и остался доволен. Обратясь к командовавшему обороной, генерал-лейтенанту Граббе, государь сказал: — а ведь было бы во что, а то есть чем!

Осмотрев редут, император сказал окружавшим его офицерам:

— Если высадка будет, то мы здесь и умереть должны! — Оставляя укрепление, государь сказал солдатам: — смотрите, ребята, не робейте! первая бомба к вам — и я с вами!

Император Николай I в адмиралтействе

В 1838 году, в новом адмиралтействе строился новый корабль «Россия». Император Николай Павлович интересовался работами, и заезжал иногда в адмиралтейство. Однажды летом, он приехал часа в четыре пополудни. Строитель корабля, полковник Александр Андреевич Попов, отправился пообедать, его помощник и другие начальствующие лица тоже разошлись, так что императора встретил один только прапорщик корпуса корабельных инженеров Албенский. Государь поднялся на работы, прошёл и спросил сопровождавшего его офицера:

— Какие идут работы?

— Бимсы кладут, ваше императорское величество.

— Сколько положено бимсов?

Офицер, застигнутый врасплох вопросом, замялся и ответил неуверенно. Это не понравилось государю и он сошел вниз. Параллельно эллингу строился тогда большой каменный сарай для хранения корабельных лесов, под наблюдением штабс-капитана корабельных инженеров Посыпкина. Постройка только что была начата и выведена немного выше фундамента. Государь, проходя мимо, зашел на работы и, окинув их быстрым взглядом, спросил:

— А где же Посыпкин?

— Его нет, ваше императорское величество.

— А помощник его здесь?

— Тоже нет еще, ваше императорское величество.

— А кондуктор?

— Не пришел еще, ваше императорское величество.

— Кто же тут распоряжается работами?

— Я, ваше императорское величество, — раздался сзади государя голос десятника.

Государь обернулся, десятник стоял в позе ефрейтора с откинутой в роде ружейного приема саженью. Недовольство императора быстро сменилось улыбкой. Но он ничего не сказал десятнику, прошел по линии работ и направился к выходу. Когда же садился в экипаж, приказал прапорщику Албенскому передать штабс-капитану Посыпкину, что он арестуется на две недели за оставление работ без надлежащего надзора.

Кадеты морского корпуса в Александрии

Однажды летом 1844 года, кадеты морского кадетского корпуса, находившиеся на учебной кадетской эскадре, состоявшей из 4 фрегатов и находившейся на якоре в Маркизовой луже близ Петергофа, по случаю какого-то праздничного дня, были отпущены на берег. Кадеты были распределены на кучки, в числе 10-ти человек каждая, и под командою старших отправились на прогулку в сады Петергофа и другие ближайшие окрестности. Одна из таких кучек, погуляв в нижнем Петергофском саду, вышла из сада и направилась по берегу. Не успела она сделать и ста шагов, послышался стук проезжавшего экипажа и вслед за сим показалась императорская линейка, в которой ехал государь император Николай Павлович с своей августейшей супругой и дочерьми, великими княжнами Ольгой и Александрой Николаевнами.

— Здорово, моряки! — приветствовал кадет государь.

— Здравия желаем, ваше императорское величество! — отвечали дружно кадеты.

— Марш за мной в Александрию! — крикнул государь, объезжая кучку кадет.

Кадеты ринулись вслед за экипажем бегом.

— Не бежать! — обратился к ним государь, — идите шагом, а то устанете.

Через несколько минут моряки появились у дворца в Александрии. Государь в расстегнутом сюртуке, стоял на балконе. Увидя подходящих кадет, он показал им рукой на стоявшую в саду близ балкона мачту с веревочными лестницами, штагами и подвязанной внизу сеткой, и скомандовал: «к вантам! на марс»!

Моряки, как пчелы, облепили мачту и полезли на вершину. Не успели они подняться на марс, как из дворца, по приказанию государя, выбежали великие князья Николай и Михаил Николаевичи с несколькими пажами и приняли участие в играх моряков.

Возле государя, между тем, собралась вся царская семья. Великая княжна Александра Николаевна в особенности интересовалась эволюциями моряков кадетов, лазивших по снастям и прыгавших с высоты в сетку с изумительной ловкостью, и радостными восклицаниями поощряла молодых людей в повторению наиболее трудных эволюций.

— Что же ты не угостишь ничем кадет? — обратился к ней

августейший её родитель, заметя её радостное настроение.

— Сейчас, папа! — отвечала весело великая княжна, и быстро повернувшись, исчезла за дверями балкона.

Через несколько минут камер-лакеи подали морякам мороженое, а затем вышла и сама великая княжна с большою коробкою конфет.

Кадеты были позваны к балкону и получили по нескольку конфет лично из её рук. Когда же конфет осталось немного и для всех 10-ти недоставало, некоторые кадеты стали просить этот остаток отдать им. Но великая княжна не согласилась, находя это несправедливостью. Тогда кто-то из кадет попросил ее бросить оставшиеся конфеты *«на шарап»*.

— Что это такое значит: на шарап? — спросила великая княжна, улыбнувшись, — и как это сделать?

Великий князь Николай Николаевич объяснил ей значение «шарапа» и она с удовольствием изъявила желание исполнить просьбу кадет. Высыпав конфеты на тарелку, она бросила их вверх, но тарелка выскользнула из рук и разбилась.

Произошла свалка, каждый кадетик хотел поймать хоть одну конфету и, конечно, сталкивался с другими — и многие падали.

— Ну, вот видите, как это нехорошо вышло, — опечалилась великая княжна, — смотрите, смотрите они ушибутся, да и тарелка разбилась.

— Успокойтесь, ваше императорское высочество, мы не ушиблись, — отвечали вскочившие на ноги кадеты, — а что тарелка разбилась, то это к нашему благополучию, мы соберем её черепки и будем хранить их на память нынешнего счастливого для нас вечера.

И кадеты, действительно, собрали черепки и разделили их поровну между собою.

Николай Павлович, смотря на сцену «шарапа», смеялся от души, когда же заметил, что два кадетика стали пререкаться из-за спорного черепка, погрозил и сказал: «дети, не ссориться!»

Спустя несколько времени, когда кадеты играли и резвились с великими князьями на площадке близ балкона, государь подозвал старшего и, посмотрев на часы, спросил:

— Когда и где приказано им собираться?

Моряки столпились все около балкона и отвечали:

— За полчаса до зари, ваше императорское величество, на угловом плашкоуте казенной пристани.

— Однако не время ли вам собираться, а то, пожалуй, опоздаете.

Моряки отвечали наперебой:

— «Нет, ваше величество, не опоздаем», говорил один. «Мы

теперь живо долетим до плашкоута», добавил другой, «мы еще и выкупаться успеем…» перебивал третий; «а когда сядем в катер, чтобы согреться, будем усиленно гресть», добавлял четвертый.

— Ну, а как приедете, тотчас спать ляжете?

— Нет, государь, какой же тут сон! нам спать не дадут товарищи, будут расспрашивать, что мы видели, что нас спрашивали, как мы отвечали. Нас целую неделю будут расспрашивать о сегодняшнем дне.

— Ну, дети, прощайте, кланяйтесь товарищам, — сказал ласково государь и поклонился морякам.

— Ваше величество, позвольте нам опять прийти сюда, — заговорил было один из самых младших кадет.

— Ну, это не от меня зависит, — перебил его Николай Павлович смеясь, — просите разрешения своего начальства, а то, пожалуй, мне и за сегодняшнее достанется, если вы явитесь не вовремя, или не в порядке.

Великий князь Михаил Павлович и подпоручик Симанский

Однажды, в начале сороковых годов, на Морской портовой гауптвахте стоял в карауле подпоручик финляндского полка Симанский. Так как в течении дня у него в карауле всё обстояло благополучно, происшествий и перемен никаких не было, то традиционный вечерний рапорт, составленный, по обыкновению, старшим унтер-офицером, он подписал и отослал в комендантское управление, не читая. Обстоятельство это прошло бы, как всегда, без всяких последствий, если бы великий князь Михаил Павлович, вследствие какой-то неточности в комендантском рапорте, не потребовал к себе в тот вечер всех подлинных вечерних рапортов караульных начальников. Безграмотность и неразборчивость рапорта подпоручика Симанского поразила его и он приказал представить ему «этого — как он выразился, — автора клинописи», по смене его с караула.

— Это твой рапорт? — обратился великий князь к явившемуся к нему утром подпоручику.

— Мой, ваше императорское высочество, — отвечал офицер.

— Прочитай!

Подпоручик Симанский развернул рапорт и, к ужасу своему, не мог разобрать написанного.

— Ты где учился?

— В школе гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, ваше императорское высочество.

— Кто преподавал русскую словесность?

— Профессор Плаксин, ваше императорское высочество.

— А каллиграфию?

— Преподаватель Шлезингер, ваше императорское высочество.

— И у таких учителей ты не мог научиться как следует писать по-русски!.. отправляйся под арест!..

И великий князь Михаил Павлович приказал коменданту арестовать подпоручика Симанского на две недели, а профессора Плаксина и преподавателя Шлезингера каждого на три дня.

Великий князь Михаил Павлович и коннопионеры

Однажды во время лагерного сбора под Красным Селом, великий князь Михаил Павлович, перед маневрами, приехал в лагерь и остановился в красносельском дворце. Тотчас по приезде, он потребовал от всех частей войск, в лагере находившихся, полковых адъютантов, для отдачи им приказаний. Первым прискакал адъютант коннопионерного дивизиона, подпоручик Борщов. День был жаркий и великий князь в расстегнутом сюртуке сидел на эстраде с двумя-тремя генералами за столом и пил какой-то прохладительный напиток.

— А, Борщов! Это ты! — встретил ласково Михаил Павлович молодого офицера. — Что, жарко? Не хочешь ли прохладиться?

— Жарко-то — жарко, ваше императорское высочество, — отвечал бойко офицер, — только этим питьем не прохладишься. Вот если бы выпить бутылочку шампанского со льдом, тогда, действительно, душа немножко бы остудилась.

— Бутылку шампанского! — воскликнул в изумлении великий князь, — да разве ты можешь выпить бутылку шампанского? Ведь ты должен получить приказание и передать его для исполнения.

— Могу уверить, ваше императорское высочество, честью, что коннопионеры и пить, и служить умеют.

— Посмотрим! — улыбнулся Михаил Павлович, и велел подать шампанского.

Между тем собирались адъютанты прочих частей войск; подпоручик Борщов, как бы в отличие получив в свое распоряжение бутылку шампанского, вылил ее в большой серебряный ковш, пожелал великому князю здоровья и выпил залпом.

Михаил Павлович только пожал плечами и, когда адъютанты все собрались, отдал им приказание о занятиях на утро и отпустил их.

В полночь, когда лагерь спал крепким сном, на переднем редуте взвилась сигнальная ракета и дежурный барабанщик ударил тревогу. На поданный сигнал откликнулись барабаны по всей линии лагеря и войска, устраиваясь на марше, ринулись на место сбора. Великий князь ожидал уже выхода войск в поле, и к величайшему его удивлению первым на позицию явился коннопионерный дивизион и адъютант Борщов в полной форме ехал сзади его командира.

— Молодцы, коннопионеры! — приветствовал великий князь проходивший дивизион.

— Рады стараться, ваше императорское высочество, — отвечали с энтузиазмом солдаты.

— Теперь я окончательно убедился, — улыбнулся великий князь, обращаясь к подъехавшему к нему после салюта командиру дивизиона, — что коннопионеры умеют пить, умеют и служить.

Генерал Дрентельн

В военном собрании одного из полков киевского военного округа, во время игры на бильярде, поссорились офицеры, причем один из поручиков оскорбил на словах своего ротного командира. Оскорбленный подал рапорт, поручика предали суду, но суд, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, оправдал его. Генерал-адъютант Дрентельн, командовавший в то время войсками округа, узнав об этом, вызвал к себе всех членов суда для личного объяснения. На сделанный вопрос председатель доложил, что суд принял во внимание, что оскорбление офицером начальника вызвано им самим и что оно сделано после игры в клубе.

— Я — Дрентельн, — сказал на это начальник края: — и в бане — командующий войсками. Так вы, ваше превосходительство, и знайте.

И с этими словами откланялся и отпустил членов суда.

* * *

Представлялся генералу Дрентельну на весеннем смотру кавалерийский полк. Лошади были мохнаты и худы. Проходит эскадрон, другой, третий — генерал молчит, что было знаком его недовольства. Прошли остальные эскадроны, генерал ни слова. Наконец, махнул рукой и повернул лошадь. Полковой командир, чуя грозу, подъехал, взял под козырек и начал объяснять, что ремонты за последние годы были очень плохи, что он принимает все меры, чтобы их исправить, даже приказал давать им сечку с мукою…

— Вы бы, полковник, попробовали их овсом покормить, — улыбнулся в ответ командующий войсками и уехал с плаца.

Однажды генерал Дрентельн приехал в казармы одного из батальонов, расположенных в киевской крепости, осмотрел помещения, прошел на кухни и потребовал пробу солдатской пищи. Кашевар, как ни старался зачерпнуть щей со дна погуще, пища оказалась без навара и очень жидкой.

— Ваше высокопревосходительство, ваше высокопревосходительство… лепетал перетрусивший батальонный командир, стараясь найти предлог для оправданья.

— А вы вот что, полковник, — перебил его генерал, — титул мой употребляйте пореже, а щи варите погуще.

Генерал, граф Никитин

Инспектор всей резервной кавалерии, генерал от кавалерии граф Никитин, посещая находившийся в месте квартирования его штаба госпиталь, требовал от смотрителя, чтобы в палатах госпиталя была температура не менее 15°. Смотритель принимал все меры, чтобы исполнить приказание начальника, но достигнуть успеха не мог: при каждом новом посещении грозный инспектор удостоверялся, что в одной палате температура 12°, в другой 14°, в третьей 18° и т. д. Терпение его истощилось и он приказал сменить смотрителя. Вновь назначенный смотритель Иванов, желая угодить графу, приказал слесарю все термометры переделать, поставив в них вместо ртути оловянные палочки, которые бы постоянно показывали 15°. Проделка эта удалась, граф Никитин остался доволен и в первую же очередь представил Иванова к награде.

Генерал, граф Евдокимов

Известный кавказский герой, генерал, граф И. И. Евдокимов, прочитав полученный приказ о присвоении генералам новой формы обмундирования и, между прочим, красных штанов при парадной форме, сказал окружающим: «прежде генералов узнавали *по головам*, а теперь будут узнавать *по ногам*».

Генерал Мещеринов и полковник Кюхельбекер

Помощник начальника главного штаба, генерал-адъютант Мещеринов, прочитывая поданные ему к подписи полковником М. В. Кюхельбекером (сыном известного декабриста) бумаги, нашел их составленными неудовлетворительно и долго распекал его. Он требовал, чтобы бумаги писались кратко, сжато и понятно, и закончил свое длинное наставление словами: «во многом писании несть спасения».

— Позвольте, ваше превосходительство, — возразил Кюхельбекер, — мне помнится, что святые отцы заповедали нам, «что во многом глаголании несть спасения».

Директор полиции исполнительной Оржевский

В начале пятидесятых годов, директор департамента полиции исполнительной, Оржевский, купил на Фонтанке, близ Семионовского моста дом, выходивший двором и на Моховую улицу, отстроил его и переехал в него на жительство. Справив, по обычаю, новоселье, новый хозяин отправился на покой в устроенную для него опочивальню, и там, покончив с дневными занятиями, на новом ложе сладко заснул. Вдруг ночью он слышит как будто за окном иль за стеною какое-то шипенье и вслед затем закуковала кукушка. Почтенный сановник перепугался, вообразив себе, что кукушка накуковала ему близость смерти, и потребовал управляющего Клавдия Андреевича Шубина, известного впоследствии начальника адресного стола. Рассказав ему о случившемся, он отдал ему приказание о переезде на старую квартиру, но почтенный управитель успокоил встревоженного директора уверением, что. это кукуют стенные часы у живущего в соседней квартире купца-дровяника Петра Петровича Гвоздева. Казалось бы всякие страхи должны были исчезнуть, но мнительный домовладелец потребовал от Гвоздева или перемещения часов или выезда с квартиры. А так как у Гвоздева был заключен с прежним домовладельцем контракт на несколько лет, то он отказался исполнить требование Оржевского. Тогда последний приказал его выселить, заплатив ему все расходы по нарушению контракта.

Министр финансов Канкрин

В конце тридцатых годов, министр финансов Канкрин, желая приступить к замене русского ассигнационного рубля — серебряным рублем, обратился к содействию тогдашнего петербургского головы, известного табачного фабриканта Василия Григорьевича Жукова и просил его возбудить в городской шестигласной думе вопрос о неотложной необходимости и пользе подобной замены.

— Ви, патушка, — говорил Егор Францевич В. Г. Жукову, — пусть только немножко ополфанит этот фопрос, а выстругать его путед немецкий мастер.

— Оболванить — почему и не оболванить, — отвечал Василий Григорьевич, — только будет ли это, ваше превосходительство, хорошо для нас?

— О, конешно, ошень корошо путед! — улыбался Егор Францевич, — ви полюшит серепряный рюпь!

Но собранная городским головою в экстренном заседании дума, состоявшая тогда исключительно из купцов, отнеслась к сделанному ей предложению скептически и поднятый вопрос был забаллотирован. Пришлось прибегнуть к помощи немцев; собрали в общее заседание биржевой комитет, иностранных негоциантов, выборных от купечества, мещан и ремесленников и вопрос о замене ассигнационного рубля серебряным — получил одобрение.

— Ну, фот и отлишно! — говорил Егор Францевич, принимая депутацию собрания, — ви полюшаит серепряный рюпь, и путед, я рюшаю, ошень покат.

А. Н. Муравьев

Известный святоша, Андрей Николаевич Муравьев, в бытность свою в Петербурге в начале шестидесятых годов, перед каждой отправкой арестантов в Сибирь, являлся в пересыльную тюрьму, беседовал с ними и оделял их религиозно-нравственными книжками. В одно из таких посещений, в 1863 году, когда в тюрьме находилось много поляков из повстанцев, шедших в каторгу и на поселение, Андрей Николаевич, подойдя к повстанцу Домонтовичу, обратился к нему с теплым словом христианского утешения и предложил экземпляр «Нового Завета». Но Домонтович, вскочив быстро с нар, бросился на него и хотел ударить его кандалами. Остановленный вовремя надзирателями, он был взят в контору и подвергнут спросу: за что он хотел убить человека, который заботится о его нравственном преуспеянии.

— О моем нравственном преуспеянии я позабочусь сам, — отвечал Домонтович, — и это не его дело. Он лучше бы сделал, если бы вместо забот о моей душе, позаботился о моем теле. На мне вот истлела рубашка и я больше году в бане не был. На это он не обращает внимания.

— Он прав, — сказал тогда А. Н. Муравьев и, вынув из бумажника пять рублей, упросил смотрителя не только простить арестанта, но купить ему две рубахи с подштанниками и выпарить его в бане.

Генерал, граф Тотлебен

В 1880 году, на одном из вечеров у одесского генерал-губернатора, графа Э. Т. Тотлебена, управляющий гражданскою частью края, статс-секретарь С. Ф. Панютин, отозвался с похвалой о музыкантском хоре с.-петербургской пожарной команды и высказал мысль, что было бы очень недурно, если бы и Одесса завела у себя такой же хор.

— Ну, — отозвался на это граф Эдуард Трофимович, — петербургские пожарные прошли огнь и воду и дошли до медных труб, а наши проходят только первую стихию, следовательно, до труб им еще далеко.

Статс-секретарь Панютин

19 февраля 1880 года исполнилось 25-тилетие со дня восшествия на прародительский престол государя императора Александра Николаевича. Я написал тогда по этому поводу следующую патриотическую песнь:

19 февраля 1880 года.

Могучий властелин, наш Кесарь именитый,
Отец отечества, Верховный вождь дружин,
Освободитель-Царь, Царь мудрый, родовитый,
Боярин первый наш и первый гражданин
Всей Руси и Литвы, и Грузии, и Крыма,
Финляндии, Сибири, Польши и иных,
Приветствуем тебя во всех делах Твоих,
Старейшина Ты наш, глава Богохранимый!..
Твой ныне юбилей — и все Твои народы,
Надежды на Тебе совокупив одном,
В Твоих деяньях зря свет правды и свободы,
Тебя приветствуют с великим этим днем!..
Родился Ты в Москве, в благословенный век,
Воспет поэтами, поэтом и воспитан,
Героем-рыцарем Родителем испытан,
И на престол воссел как царь и человек.
Деяния Твои, о Царь, могу ль воспеть я…
Велик Ты в них, велик, как Твой велик народ!
Пройдут года, века, пройдут тысячелетья, —
Они останутся, прейдут из рода в род!..
Когда, и где, и кто подумать только мог,
Что слово лишь одно освободит мильоны
Несчастных тех существ, кого сковал сам Рок,
Чья жизнь была позор, проклятия и стоны?…
Когда, и где, и кто смел думать, чтоб рабы,
С которых только что оковы были сняты,
Могли быть призваны решить свои судьбы,
Воссесть в судебные и земские палаты?
Когда, и где, и кто смел мысль питать о том,
Чтоб равноправие в сословьях водворилось,
Чтоб тягость воинскую несли все с мужиком,
Чтоб милость на суде и правда воцарилась?..
Но Ты так восхотел, изрек Ты только: «бысть»!
И всё создалося… окрепло… вознеслося…

Какое тут перо, какую нужно кисть
Чтоб описать всё то, что на Руси сбылося
За четверть века лишь, по слову одному,
Без потрясения, без шума и тревоги!..
Пошли ж, о Господи, за то Ты лета многи,
И радость, и покой, и здравие Тому,
Кого ты Сам избрал для счастья России,
Кого за кротость Ты всех боле возлюбил,
И в исполнении Его земной миссии,
Сам умудрял, и вел, и от беды хранил!..
Да царствует еще Он долго над своим
Великим, преданным, испытанным народом
И сыплет на него, Тобой руководим,
Благодеяния свободы год за годом!..

Песнь эту я предполагал отпечатать в небольшом числе экземпляров на почтовой бумаге и преподнести в день юбилея своему начальству и некоторым друзьям и знакомым. Переписав ее набело, я представил ее в одесский цензурный комитет; но, к величайшему моему удивлению, разрешения на напечатание не последовало. Бегу — справляюсь, говорят, что песнь представлена управляющему гражданскою частью края и им задержана. Иду к статс-секретарю Панютину, спрашиваю: почему песнь остановлена? он отвечает, что боится пропустить, чтобы нигилисты не воспользовались её появлением и не стали под видом этой песни рассылать своих ругательных листков. Таким образом моя патриотическая песнь ко дню юбилея в свет и не вышла. Но в это время печатался в С.-Петербурге «Сборник моих стихотворений», я послал копию к издателю и песнь вошла в «Сборник». Получив несколько экземпляров «Сборника» в Одессе, я представил один из них Степану Федоровичу и указал на отпечатанную песню. Он только развел руками и сказал:

— Петербург — дело великое, там всё можно сделать, но мы находимся совершенно в других условиях: чтобы не сделать ошибки, мы во многом должны себя сдерживать. Впрочем, теперь, если вы хотите, я могу разрешить вам отпечатать отдельные экземпляры вашей песни.

Но это уже было, по пословице, — после ужина горчица.

Генерал Шлосман

Гатчинский второй комендант, генерал-майор Шлосман, гуляя в Гатчинском парке с графом Адлербергом и чиновником Ивановским, объяснял им историю дворца. Граф Адлерберг зевал и, смотря на звездное небо, спросил его: «а не знаете ли вы, Александр Карлович, как это астрономы определили, где какие звезды находятся»?

— Это неудивительно, граф, — отвечал генерал Шлосман, — что астрономы знают, где звезды на небе находятся, а удивительно то, что они узнали, как их зовут.

Генерал Алопеус

Генерал Алопеус командовал в пятидесятых годах одною из бригад 1-й пехотной дивизии. В лагере под Динабургом, он часто производил ученья полкам бригады, а тотчас, по окончании ученья, возвращался в свою палатку и садился завтракать.

Хороший моцион дает хороший аппетит. Окончив однажды ученье ранее обыкновенного, генерал вернулся в лагерь, бросил повода лошади дневальному и, не доходя еще палатки, закричал своему денщику: «эй, Чепурной, завтракать».

Но вместо Чепурнова отмахнул полу палатки ординарец и, вытянувши руки по швам, ответил скороговоркою: «Их нет, ваше превосходительство».

— Как нет?! Где же он?

— Ушомши, ваше превосходительство.

— Куда?

— За пропитомством, ваше превосходительство (за своим обедом в роту).

— Сказать ему, чтобы без меня не ходил, — вспылил генерал и, повернувшись, отправился завтракать к полковому командиру.

Конец первого тома.

notes

Примечания

1

Для земляных работ, добывания материалов и постройки храма, куплено было комиссией для постройки храма 23 234 души помещичьих крестьян, которые и давали храму ежегодно 6000 работников.

2

Намек на недостойность его быть в царской свите и на какие-то денежные захваты.

3

В Московской губернии, Владимирском, Костромском, Пензенском и Новгородском наместничествах, по сведениям за 1785 год, было у него 2626 души, в Кобринском имении 7000 душ, дававших дохода до 50 тыс. руб. в год

4

Письма и заметки Суворова, 2, 3, 12-го января 1797 года.

5

Высочайшие повеления, 20, 22 и 26-го ноября 1797 года (Полное Собр. Зак., т. XXIV). Рескрипты, 2, 14 и 23-го января 1797 года.

6

В прошении этом писал он: «Мои многие раны и увечья убеждают Ваше Имп. Вел. всеподданнейше просить для исправления ото дня в день ослабевающих моих сил о Всемилостивейшем увольнении меня в мои здешние Кобринские деревни на сей текущий год».

7

Растопчин писал: «Государь император, получа донесение вашего сиятельства, от 3-го февраля, соизволил указать мне доставить к сведению вашему, что желание ваше предупреждено было, и что вы оставлены еще 6-го февраля».

8

Словарь достопамятных людей русской земли, Бантыш-Каменского, т. III, стр. 338–339.

9

В 1761 г., новгородские вотчины, Сопинская и Кривинская, где находится село Кончанское, принадлежали императрице Елизавете Петровне. После её смерти, они пожалованы гофмейстерине Анне Карловне Воронцовой, урожденной Скавронской, которая продала их генерал-поручику И. И. Шувалову, а сей последний — В. И. Суворову, отцу фельдмаршала.

10

Дубиха, самая возвышенная местность близ села Кончанского, доселе хранит хижину отшельника, опоясанную балконом и окруженную старыми елями — свидетельницами занятий и дум героя. Что же касается большого дома, то он внуком фельдмаршала сломан и на месте его выстроен другой из бревен, заготовленных по приказу его великого деда еще в 1789 году.

11

Поводом к усилению надзора за Суворовым, нужно думать, послужило следующее обстоятельство. Однажды в Кончанское прибыл курьер с рескриптом от императора, застал Суворова парящимся на полке и немедленно был принят в той же бане. Прочитав на конверте надпись: «генерал-фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому», Суворов хладнокровно возвратил конверт курьеру и сказал: «это не ко мне: фельдмаршал при армии, а я в деревне». Удивленный курьер напрасно старался уверить Суворова в действительном назначении конверта и, порядочно пропотев в бане, возвратился в Петербург с тем же, с чем приехал. Император не обнаружил досады на эту проделку старого героя и только велел усилить за ним надзор. (М. Д. Хмыров, в статье: «Последнее четырехлетие жизни Суворова»).

12

Доставлен Суворов к Кончанское коллежским асессором Юрием Николевым, в предписании которому было сказано: «по высочайшему повелению ехать вам в Кобрин или другое местопребывание фельдмаршала Суворова, оттуда привесть его в боровицкие его деревни, где и препоручить городничему Вындомскому; в случае же надобности требовать помощи от всякого начальства». (Рапорт новгородского губернатора к князю Куракину, от 17-го июня 1797 г.).

13

Н. Рыбкин, в книге «Генералиссимус Суворов, жизнь его в своих вотчинах и хозяйственная деятельность», говорит, что переезд Суворова в село Кончанское, в 1797 году, исполнен был вдруг, так что фельдмаршал, как следует, не мог собраться в дорогу и многих вещей с собой из Кобрина не взял. У подполковника Корицкого, по сообщенному Рыбкиным регистру, оставлены были следующие вещи: эполет бриллиантовый, жезл фельдмаршальский, андреевский крест и звезда, портрет римского императора, бриллиантовый бант к шляпе, перо к каске, большая шпага и малая шпага, табакерка с портретом Александра Македонского, табакерка с вензелем её величества, табакерка с вензелем римского императора, табакерка с гербом польской короны, крест шейный и звезда Александра Невского, тоже два креста 1-й степени, крест шейный св. Анны, тоже два креста 1-й степени, Черного Орла 1-й степени крест, Красного Орла 1-й степени два креста, крест св. Георгия 2-й степени, перстень золотой от её величества без каменьев, трость камышовая с золотым набалдашником.

14

Все чины штаба Суворова, до 20 человек, при исключении фельдмаршала из службы, одновременно с ним также были отставлены.

15

Вероятно, Император Павел, называя Суворова бывшим фельдмаршалом, не считал его состоящим в этом звании, что и могло подать повод старому воину, при приеме в бане посланного к нему курьера с конвертом на имя фельдмаршала, не принять этого конверта.

16

Камердинер Прохор Иванов, от 11-го августа, писал *первому*, что с графа взыскивает казна 3000 рублей по провиантским расчётам, а вместе с тем и казна должна была графу по провианту же до 12 000 рублей, *второму*: «граф ни Бочевал, ни Корыолан, ни Нарбег. Алексей Львович Вындомский, здешний городничий, по Архарову приказанию, при его особе; судите же мучительство судьбы в невинности его. Чем ему ехать в Петербург, лучше бы отпустили в чужие края. Еще известно ли вам, присланы были от Николая Алексеевича полковника Дьякова два жида приказчики подрядчика Эмина, якобы из Кобринских деревень поставляли в комиссию провиант, который ныне возвращается назад, и для получения за оный просят от графа 20 500 рублей.

17

Донесение от 23-го августа, где, между прочим, Митусов писал: «так как многие собираются ехать к графу, то куда их отправлять и откуда брать прогоны». Из этого можно заключить, что тюремщики Суворова смотрели на него, как на опасного заговорщика.

18

Инструкция эта следующего содержания: «По Высочайшему Его Императорского Величества повелению, определяется генерал-фельдмаршал граф А. В. Суворов-Рымникский на житье в деревнях его, состоящих в Новгородской губернии, в Боровичском уезде. На каковой конец, вследствие Его Императорского Величества соизволения, и имеете вы отправиться в оный город Боровичи, и жить там для надзирания об образе его жизни, поведении и вообще всякого рода поступках, о коих уведомлять меня еженедельно, со всякою подробностью. Правила при сем надзирании предписываются вам следующие: 1) Сколько возможно скрывать от него самого и его окружающих, что предмет пребывания вашего там есть порученное вам надзирание, а также не давать знать о том никому, отводя всякую догадку собственными своими делами, имеющимися якобы по судебным местам, или каковым-либо торговлям, или посторонними препоручениями. 2) Всемерно стараться ведать, от кого будет он иметь посещения, с каким намерением, в чём он с посещателями, или порознь, будет упражняться, какие разговоры произнесены будут, и не произойдет ли каковых-либо рассылок, от кого, куда, чрез кого, когда и зачем? Исключенным же из службы майорам Антингу и Грессеру, ротмистру князю Четвертинскому и подобным свиты графа Суворова сношение и свидание запрещается, кроме майора Сиона, при сыне его находящегося. 3) О письменном его самого и находящихся при нём производстве наблюдать наистрожайше, в чём оно состоять будет, через кого именно и где, а особливо иметь в неусыпной бдительности переписку писем, в дом его присылаемых, какими бы то путями не было. Для лучшего в сем случае успеха предписано от начальства, с одной стороны, почтмейстеру Боровичской почтовой конторы из дому его приносимые и по почте приходящие в ту контору, в дом к нему следующие, письмы присылать, чрез городничего, к вам, а с другой — тамошнему земскому исправнику, в небытность вашу в уезде, наблюдать и извещать вас, чрез того же городничего, как о письмах, с нарочными присылаемых и отсылаемых, так и о посещениях и упражнениях, для чего и нужно наперед свидеться вам с исправником лично и объясниться обо всём. Вы же, получая известия, должны стараться достигнуть о том ближайших сведений, и всё доставлять ко мне в означенное об уведомлениях время. Из сего исключается переписка дочери его и её приближенных, которая, по Высочайшему повелению, есть

свободная. 4) Если же бы вы, противу всякого чаяния и ожидания, приметили и подлинно удостоверились хотя о некоторых обстоятельствах, ваше замечание заслуживающих, и подозрение возбуждающих словах, деяниях, переписках, рассылках и посторонних приездах, то, не теряя времени, присылать ко мне уведомление с нарочным, или со штафетою, и объяснить тот случай, или приключение, с такой подробностью и доводами, чтобы никакого узко тут не было сомнения и затруднительности. 5) А дабы преподать вам и способ к самому точному сего предписания исполнению, то поручено от меня боровичскому городничему делать вам всевозможные пособия там, где вам настоять будет невозможность и препоны к исправлению повеленного. 6) Впрочем, будучи вы с некоторого времени ему самому знакомым, должны стараться всевозможным образом сохранить к нему должное почтение, и не подать ни малейшего повода ни ему, ни приближенным его, или домашним людям, к неудовольствию, но паче оказывать ласку и доброхотство. А потому, когда бы он, граф Суворов, вознамерился куда-нибудь поехать в гости, или на посещение кого-либо, то представлять ему учтивым образом что, по теперешнему положению его, того делать не можно; если же бы он оказал тут свое усиление, то объявить ему о сем Высочайшую Его Императорского Величества волю, и потом отказать наотрез, и меня уведомить».

19

Донесения от 1-го октября, 10-го ноября, 28-го декабря 1797 года и 11-го января 1798 года.

20

Письмо это следующего содержания: «Милостивый государь мой, граф Александр Васильевич. Крайность моя принудила беспокоить вас моею просьбою; тридцать лет я ничем вас не беспокоила, воспитывая нашего сына в страхе Божием, внушала ему почтение, повиновение, послушание, привязанность и все сердечные чувства, которыми он обязан к родителям, надеясь, что Бог столь милосерд, преклонит ваше к добру расположенное сердце к вашему рождению; вы, видя детей, да и детей ваших вспомните и несчастную их мать, в каком она недостатке, получая в разные годы и разную малую пенсию, воспитывала сына, вошла в долг до 22 000 рублей, об которых прошу сделать милость заплатить. Не имею дому, экипажу, услуги и к тому принадлежащее к домашней всей генеральной надобности, живу у брата и у благодетеля и отца моего, который подкрепляет мою жизнь своими благодеяниями и добродетелями. Но уже, милостивый государь мой, пора мне его оставить от оной тягости с покоем, ибо он человек должной, хотя я и виду от него не имею никакого противного, однако, чувствую сама каково долг иметь на себе. А государю императору угодно, чтобы все долги платили, то брат мой и продает свой дом, и так рассуди милостиво при дряхлости и старости, каково мне прискорбно, не имев себе пристанища верного и скитаться по чужим углам; войдите, милостивый государь мой, в мое состояние, не оставьте мою просьбу, снабдите всем вышеписанным моим прошением. Еще скажу вам, милостивый государь, развяжите мою душу, прикажите дочери нашей меня несчастную мать знать, как Богом узаконено, в чём надеюсь, что великодушно поступите во всём моем прошении, о чём я всеискренне прошу вас, милостивый государь мой, остаюсь в надежде неоставления твоей ко мне милости.

Милостивый государь мой, всепокорная жена ваша графиня Варвара Суворова Рымникская.

Октября 1-го дня 1797 года.

21

Донесение от 14-го октября.

22

По сему сведению у Суворова находилось: имений родовых 2080 душ, пожалованных 7000 душ, всего 9080 душ, оброку с них 50 000 рублей, каменный дом в Москве стоит 12 000 р. Пожалованных алмазных вещей на 100 000 рублей. Долгу на графе Суворове: в Воспитательном Доме 10 000 рублей, графу Апраксину 2000 рублей, князя Шаховскому 1900 рублей, Обрезкову 3300 рублей, всего 17 200 рублей. Графине Суворовой выдавалось ежегодно по 3000 рублей. Предназначено в подарок: графу Зубову 60 000 рублей, Арсеньевой — 30 000 рублей.

23

«Суворов», ст. гр. Д. А. Милютина «Русский Вестник» 1856 года, книга 6.

24

Лицам, на которых государь гневался, он говорил уже не «ты», а «вы».

25

Очерки Беломорского и Приамурского краев вышли отдельными изданиями, под заглавиями: «Год на Севере» и «На Востоке».

26

Указы 1669 и 1679 годов.

27

Летом 1857 г. в тюрьмах карийских гнездилась повальная и смертная цинга. Люди заболевали от великих усиленных работ ради исторических ста пудов золота, когда все ссыльные каторжные сгруппированы были здесь и размещены в тесных и сырых помещениях. В результате было то, что свыше тысячи человек умерло, да в архивах осталось свидетельство местного лекаря, где он писал, что причина тому больше всего обветшалость острожных зданий, в особенности же зависящая от того сырость внутри оных…

28

Кн. Исход. XXI, 23.

Скончался в 1864 году.

Брат его Василий Дмитриевич Комовский редактировал тогда «Академические ведомости».

31

Князя Семена Михайловича, сына фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова, бывшего в двадцатых и тридцатых годах новороссийским генерал-губернатором и сделавшего так много для развития благосостояния крымских татар.

32

Сочинения А. С. Пушкина, т. V, стр. 260, 262, 263, 264.

33

Известный газетный репортер того времени, не дававший покою москвичам; в настоящее время издает газету «Московский Листок».

34

Дмитрий Дмитриевич Минаев — известный талантливый и остроумный поэт-сатирик скончался в г. Самаре 10 июля 1889 года и до сих пор еще не оценен, по достоинству, нашей партийной критикой, с которой у покойного были свои счеты.

Почти двадцать пять лет я был знаком с ним, бывал у него, принимал у себя, водил, по русскому обычаю, хлеб-соль, дружил и ссорился, вновь сходился и расходился, жил одно лето вместе с ним на даче, и встречался с ним на последних днях перед отъездом его на родину. При таких условиях, я имел возможность видеть его жизнь и его работу, каторжную работу для наполнения бездонной бочки Данаид житейских потребностей, имел возможность узнать его характер, личные достоинства, способности, средства и, наконец, увлечения и слабости, и, поэтому, смею думать, что на мне лежит обязанность сообщить для будущего его биографа некоторые характерные черты из его жизни.

Сын даровитого отца, тоже известного в свое время поэта, автора «Волжских дум» и переводчика «Слова о полку Игореве», Дмитрия Ивановича Минаева, Дмитрий Дмитриевич принадлежал к числу дворян помещиков Симбирской губернии. Родился он 21 октября 1835 года, получил воспитание в доме отца, который предназначал его к военной службе и в 1850 году поместил в бывший Дворянский полк. Молодой юнкер учился хорошо, но ни как не мог освоиться со строгой военной дисциплиной. Не чувствуя в себе призвания, как он выражался сам, к созданию себе карьеры посредством обращения живой человеческой личности в картонного манекена на проволоках, он окончил курс в 1852 году и вышел из полка для определения к статским делам, с чином XIV класса. Отец его был очень не доволен подобным самовольным поступком сына, но поправить сделанного было невозможно и огорченный родитель, после нескольких чувствительных домашних внушений, должен был, скрепя сердце, поместить молодого упрямца на службу в Симбирскую казенную палату. Гражданская служба тоже не удовлетворяла кипучую натуру поэта. После Севастопольской войны, Россия встрепенулась, ее охватила жажда реформ и свободы, молодое поколение горячо сочувствовало подобным стремлениям и, поэтому, нет ничего удивительного, что Дмитрия Дмитриевича потянула разгоравшаяся ширь столичной жизни, он оставил службу в провинции и перешел в Петербург, где и причислился к земскому отделу министерства внутренних дел. Служба его, однако,

продолжалась недолго. Он предался литературе — и вышел в отставку. В 1858 году он дебютировал в некоторых мелких Петербургских периодических изданиях. В 1860 году издал под псевдонимом Д. Свияжского «В. Г. Белинский», первый опыт биографии знаменитого критика, с 1861 года делается сотрудником «Современника» и «Русского слова», потом «Искры», «Дела», «Отечественных Записок», «Вестника Европы» и многих других ежемесячников и еженедельников либерального направления. По своей талантливости и трудолюбию — это был русский Бальзак, писавший без перерыва слишком тридцать лет. Он писал всё и обо всём с такой легкостью и плодовитостью, что самые ожесточенные враги его должны были признать за ним несомненный талант. Преобладающим элементом его разностороннего таланта была прирожденная способность схватывать моментально юмористическую сторону известного лица, типа, характера или события и факта и передавать схваченное впечатление в остроумной, сильной и оригинальной форме сатирического или шутливого стихотворения. Поэтому главнейшею его специальностью был фельетон. В ряду талантливейших фельетонистов того времени, какими были А. С. Суворин, Л. К. Панютин, Ж. Ф. Василевский и др., он занимал одно из выдающихся мест, которое, за смертью его, и по настоящее время не замещено и, может быть, еще долго будет вакантным. Его легкий остроумный фельетонный жанр многим не нравился, потому что задевал и осмеивал часто личные недостатки, стремления или увлечения известных деятелей, по это было нужно для того времени, когда никакой иной узды для рыцарей и джентльменов-дельцов тогдашнего времени не было, и они сами, со скрежетом зубов, порой сознавали меткость и правдивость «Минаевской», как они презрительно выражались, «сатиры». С течением же времени, когда все эти господа улягутся в сырой земле, отзывам и вообще «бичу его» будет сделана надлежащая оценка. Покойный сатирик весьма удачно писал литературные пародии на великие произведения лучших наших поэтов, как, напр., на «Евгения Онегина» А. С. Пушкина и «Демона» М. Ю. Лермонтова. Ни до него, ни после него, в нашей отечественной литературе, мы ничего подобного не знаем. Он владел необыкновенной бойкостью, ловкостью и легкостью стиха и законченностью рифмы, отличавшейся особенной, ему только одному свойственною, виртуозностью. Как великосветская красавица, знающая цену своей очаровательной улыбке, поэт-юморист знал цену звонкости и закругленности рифмы и доводил ее, как он сам выражался, «до трехсаженности». Но независимо этого легкого специально-фельетонного творчества, ему не чужда

была также и область серьезной лирики. Он переводил Ювенала, Байрона, Шелли, Виктора Гюго, Альфреда де-Виньи, Барбье, Гейне и многих других старых и новых иностранных поэтов. Его упрекали, что он переводит, не зная языков, с которых переводит. Но это не вполне верно. Он не знал языков в совершенстве, для бонтонной речи и изящных великосветских козери, но изучил их, как многие наши литераторы, начиная с Н. А. Полевого и кончая А. Н. Островским и С. А. Юрьевым, книжно, т. е. значение слов, управление и смысл речи, и руководился этим при переводе классиков или английских поэтов, французский же и немецкий языки знал как разговорные. Все его переводы, не говоря уже о необыкновенной легкости и гладкости стихотворной формы, отличаются строгим литературным вкусом, в особенности при замене не переводимых латинизмов, галлицизмов и британизмов соответственными русскими словами. У него никто не может указать на такие наивности перевода, какими блещут современные переводчики, как, например, П. П. Гнедич, при переводе «Гамлета», маленький кинжал преобразил в сапожницкое «шило». Единственным исключением в данном случае может быть перевод «Божественной Комедии» Данте, сделанный с подстрочного перевода, но и он, как все прочие Минаевские переводы иностранных поэтов, чрезвычайно изящен и легок и оставляет далеко за собою быть может более близкие к подлиннику, но тяжеловесные и прозаичные переводы прочих наших переводчиков, вроде Мина и других. Переводами этими, однако, не исчерпывается серьезная литературная деятельность поэта-сатирика. Он написал также несколько пьес: «Либерал», «Спетая песня», «Не в бровь, а в глаз», «Разоренное гнездо». Насколько они удовлетворяли литературному вкусу — можно судить потому, что одна из них была увенчана Академией наук Уваровскою премией. Он писал много, работал усидчиво и с любовью к труду. Его не пугал никакой труд, и чем он был больше и серьезней, тем легче он справлялся с ним, принимался за него с удвоенной энергий и не оставлял, пока не одолевал той части, которая была нужда к известному времени. Особенный успех в работе ему давало то, что он писал почти без помарок, так что у него не оставалось даже черновых. Из всех русских поэтов Дмитрий Дмитриевич был самый плодовитый. Если собрать всё им написанное, то одних стихов, мне кажется, наберется более двадцати томов. Такого количества стихов нет даже у Виктора Гюго, прожившего 80-ть лет и считавшегося феноменом по стихотворной плодовитости. В 1883 году друзья и почитатели таланта отпраздновали 25-ти летний юбилей литературной деятельности поэта-сатирика. С этого времени, по

обстоятельствам, о которых мы скажем в своем месте, и по приключившейся болезни, деятельность его значительно ограничилась, он должен был уехать из Петербурга для лечения на юг, а незадолго перед кончиной ему удалось исполнить свое давнишнее желание — перебраться на родину, в Симбирск, где прожил несколько месяцев и угас в таком возрасте (ему было всего 54 года), когда отчизна могла ожидать от него более крупного, серьезно-обдуманного и вполне интересного творчества. Он умер почти одиноким, семья его оставалась в Петербурге, и похоронен, по его собственному желанию, выраженному еще задолго перед смертью, на оставленном и давно заброшенном Симбирском кладбище «у Сошествия», на самом берегу любимой им Волги, рядом с могилою отца, поэта Д. И. Минаева.

35

Необходимо пояснить, что редактор «Искры» был человек строгих правил, твердый и решительный. Его положительность и неуклонность в принятых решениях была известна. Но во всем, касавшемся лично его и семейных дел, он находился под влиянием этой простой и необразованной женщины. Во всех его домашних столкновениях с нею, ей стоило только нахмуриться, возвысить голос, прикрикнуть, — и бедный Василий Степанович, по меткому его выражению «старался устраниться», стушевывался, умолкал или уходил прочь. Наталья Романовна знала это очень хорошо и, при каждом удобном случае, пользовалась этим, пуская в ход все женские уловки и, конечно, достигала желанной цели. В данном случае она, узнав от рассыльного редакции, что Василий Степанович задумал устроить у Излера вечер, бросилась и, под видом болезни ребенка, увлекла его домой.

36

Конечно, все это осталось в области прекрасных мечтаний и суетных надежд. «Искра», как известно, в скорости зачахла, и, несмотря на все усилия ее властителя, должна была прекратить свое существование. Здесь не место распространяться об этом тяжелом событии в жизни Василия Степановича, тем более, что в своем месте я сообщу о нем известные мне факты. Но при всем том, мне кажется вполне уместным, именно здесь указать на тот факт, что «Искра» прекратилась не потому, что — как заявил г. Чуйко в «Очерках современной русской поэзии», — прошла пора обличений и обличительная литература приелась публике, но вследствие того, что издатель «Искры» жил выше своих средств, к чему его вынуждали многие обстоятельства, а главное — постоянные столкновения его с Натальей Романовной, которую он ненавидел и презирал, но терпел ради ребенка, и от которой он, при каждом удобном случае, убегал и бросался в водоворот столичных развлечений, стоящих, как известно, больших денег. Я думаю даже, что «Искра», будь у ней не 9–10 000, а 30–40 000 подписчиков — и тогда не могла бы долго существовать при главенстве В. С. Курочкина, так как увеличение средств послужило бы только к увеличению его случайных трат, а результаты, в конце концов, получились бы одни и те же.

Подписная цена за экземпляр — 2 р. в год.

38

Графа Федора Логгиновича Гейдена, тогдашнего начальника главного штаба.

39

Генералу Мещеринову.

Для постройки храма был образован особый строительный комитет, существовавший до 1873 г., т. е. до того времени, когда работы по постройке были переданы г. Губонину. Медленность постройки храма за прежнее время происходила вследствие незначительности имевшихся в распоряжении комитета сумм, так как только на 1873 г. для постройки был испрошен кредит в 250 000 руб.

Первоначально предполагалось облицевать храм порфиром и мрамором; но так как эта мера требовала расходу до 700 000 р., то и решили, впоследствии, ограничиться только постановкою по фасаду мраморных колон.

42

Впоследствии генерал-фельдмаршал, князь Варшавский.

43

Впоследствии генерал-адъютант и оренбургский генерал-губернатор.

44

Адъютант военного министра, лейб-гвардии гусарского полка штаб-ротмистр, находившийся в то время при генерале Вельяминове. Убит в деле под Черной, в чине генерала свиты его величества.

45

Государь во время следования от Поти до Квирильскаго поста изволил находиться в отличном расположении духа.

46

Бывший шеф корпуса жандармов.

47

Зять владетеля Мингрелии.

48

Выражение «извощиками», относилось до командира грузинского гренадерского полка, полковника графа Опермана, содержавшего по дороге в Тифлис почтовые станции.

49

Тифлисский военный губернатор.

50

Сын корпусного командира.

51

Назначив сына барона Розена флигель-адъютантом, ввечеру того же дня государь, видимо желая хоть несколько утешить старика, пожаловал во фрейлины ее величества и дочь его (впоследствии известная игуменья Митрофания).